

ГРАНИ

GRANI

64

1967

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Juni 1967

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXII

№ 64

1967 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

* * * — Дворник Лашков. Повесть	3
ВАЛЕРИЙ ТАРСИС — Из книги «Ночь разводится с днем».	
Искатели жемчуга. Баллада	79
ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГ — Крутой маршрут	81
Поэты из журнала «Феникс 1966»: Аида Ясколка, В. Алейников, В. Ковшин	102

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. БЛАГОВ — А. Солженицын и духовная миссия писателя	116
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Г. ПОМЕРАНЦ — Квадрильон	150
Ю. ГАЛАНСКОВ — Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире	167
И. КУРГАНОВ — Коммунистические методы перестройки общества	175

НАУКА И РЕЛИГИЯ

А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ — Взаимоотношение знания и веры. Апологетический опыт Алексея Добровольского	194
--	-----

ОБЩЕСТВО И НАУКА

В. ПОРЕМСКИЙ — Советская социология глазами западных ученых	202
---	-----

ИНФОРМАЦИЯ РЕДАКЦИИ

Мировая печать о «Фениксе 1966» и арестах молодых литераторов в Москве	235
---	-----

ЗАМЕТКИ. ПИСЬМА. ОТКЛИКИ

Из переписки с Россией

248

Дорогой читатель!

254

**ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ» К ЛИТЕРАТУРНОЙ
МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ, К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ, К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И
НАУКИ**

255

**В КОМПЕНСАЦИЮ СОКРАЩЕННОГО № 62 «ГРАНЕЙ», ЭТОТ
НОМЕР НАШЕГО ЖУРНАЛА ВЫХОДИТ В УВЕЛИЧЕННОМ
ОБЪЕМЕ.**

© 1967, Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

Издательство «Посев»

Дворник Лашков

Повесть

«Если будут говорить: «иди с нами...
сын мой! не ходи в путь с ними...»

Притчи Соломона. Глава 1, 11-15.

I

С утра до вечера Лашков сидел, сгорбившись, перед лестничным окном второго этажа во флигеле и оттуда — как бы с высоты птичьего полета — печально и трезво оглядывал двор. За вычетом ежемесячной недели запоя Лашков просиживал там ежедневно — зимой и летом. Лашков подводил итог. Лашков знал, что он скоро умрет.

По кирпичу, по малому сухарику карниза, по форточной раме он, кажется, мог бы разобрать дом, стоящий напротив, а потом, без единой ошибки, собрать его вновь. Подноготная каждого жильца была известна Лашкову, как своя собственная. С ними вместе он въезжал в этот дом, с ними кого-то крестил, кого-то провожал на кладбище. Реки вина были выпиты и разведены морями пьяных слез, а вот нынче не то что слово молвить, поднести некому. И поэтому сейчас Лашков страшился не смерти, нет, — с мыслью о ней как бы пообвык, что ли, — а вот этой давящей отчужденности, общего и молчаливого одиночества. Казалось, какая-то жуткая сила отдирает людей друг от друга, и он, — Лашков, — подчиняясь ей, тоже с каждым днем уходит в себя, в свою тоску. Порой к горлу его подкатывало дикое, почти звериное желание сопротивляться неизбежному, орать благим матом, колотиться в паду-

Публикуемая нами талантливая повесть «Дворник Лашков» принадлежит перу российского автора. По известным соображениям эта рукопись, переданная из СССР в редакцию «Г Р А Н Е Й», печатается без имени автора.

Р е д.

чей, кусать землю, но тут же истомное оцепенение наваливалось ему на плечи, и он только надрывно сипел больным горлом:

— На троих бы, что ли?

Водка как бы пропитывала душу, наполняла ее теплом гулкой праздничности, и все кругом вдруг становилось добрым и необыкновенным. В такие дни Лашков стаскивал себя во двор, и там — на лавочке, лавочке, врытой еще им — возвращался к нему тот покой, то состояние слитности с прошлым, которого ему день ото дня все более не доставало. Пенсия сразу обращалась в миллионное состояние, и отставной дворник с трезвой щедростью вываливал — рубль за рублем — на опохмеление сотоварищей.

Но и в эти вырванные у повседневной тоски дни, время от времени, хмельная радужная завеса вдруг неожиданно разверзалась, и перед ним, как видение, как черная метина на голубизне минувшего, возникала щуплая фигурка старухи Шоколинист. Все такая же юркая, в темной панамке, надвинутой почти по самые брови, она пробегала мимо него своей утиной походочкой, неизменно бормоча что-то себе под нос. Она собирала просроченные книжки для местной библиотеки. Вот уже двадцать лет она собирала книжки. Из дома в дом, из квартиры в квартиру, по-мышьи, стремительными бросками петляла старуха, и всякий раз, когда они сталкивались, в нем вздрагивала и мгновенно замирала какая-то струна, какая-то короткая боль, и ему становилось не по себе. С годами в нем нарастало предчувствие близкого открытия, даже прозрения, и, главное, Лашков все более укреплялся в мысли, что оно — это открытие — связано со старухой Шоколинист.

Разве тогда — тридцать лет назад — мог кто-нибудь в доме думать, что, уже и в те времена похожая скорее на тень, чем на живое существо, она — его основательница и хозяйка — столько переживет? К тому же Лашков определенно знал, что ей дано преемство и его, если не самый дом. И во всем этом заключался для старика какой-то почти нездешний смысл.

Последнее время он постоянно думал, думал, пытаясь найти в спутанном клубке событий ту самую нить, от которой все потянулось.

Лашков начал с самого начала.

II

Первым в пятую этажную вселился Иван Лёвушкин — молодой еще совсем, крепкощекий рязанец — со своей, уже беременной Любой. Чуть навеселе, с расстегнутым на темной от пота

груди воротом, он посверкивал озорными глазами в сторону уплотненного еврея — дантиста Меклера и, ступая прямо по его барахлу, смеялся:

— По Богу надо, по Богу. Не все одним, а другим как жа, а? Вот у mine жана на сносях, так что ей, значит, так вот в трухлявом бараке дитю пролетария и на свет выносить?.. Это не потому, что — власть — а по Богу, по Богу... Ничего — сживемся, я — смиренный, а жана у mine так вроде и нету ее вовсе... И чистая...

Меклер, в одном пиджаке поверх майки-сетки, стоял на пороге отведенной ему комнаты и, заложив руки за спину, пружинисто покачивался из стороны в сторону:

— Пожалуйста, — говорил он, и низкий голос его слегка подрагивал, — пожалуйста. Разве я возражаю, тем более, что по Богу. — Когда еврей произносил это самое «по Богу», ему даже перехватило дыхание, и у него получилось не «по Богу», а «Бохху». — Ваши дети — мои дети. Вот, так сказать, фронт.

Из-за плеча и из-под рук дантиста смотрело на странных гостей несколько пар совершенно одинаковых глаз: коричневых со светлыми ядрами внутри. Глаза качались в такт покачиванию Меклера, и, наверное, никогда еще беззаботный Лёвушкин не вызывал к себе так много неприязни разом.

— Я — дантист, — сказал Меклер, и светлые ядра в его глазах вдруг утонули в темной ярости коричневых яблок, — дантист, понимаете? — И по тому, как круто поджал он вдруг задрожавший подбородок и как судоржно дернулись желваки под смуглой кожей, было ясно, что ему доставляет удовольствие произнести слово, которого новый сосед не знает и знать не может. — Но мне думается, молодой человек, я вам еще долго не пригожусь.

Глаза, несколько пар глаз, немного покачались, обволакивая всех густой неприязнью, потом дверь захлопнулась, и Лёвушкин погас, неопределенно вздохнув:

— Белая кость.

Лашков, помогая Ивану втаскивать его нехитрый скарб в освобожденную угловую, с окнами во двор, и до того видел, что хоть и озорует слегка Лёвушкин, хоть и похохатывает залихватски, не чувствуется в этом его веселом мельтешении хозяйской полноты, удовлетворения, нету радости, которая от сердца. То и дело прорывалась в нем — в его движениях, словах, смехе — еще неосознанная им самим тревога или, вернее, недовольство.

Уже потом, за полбутылкой, Иван, среди разговора, внезапно протрезвев, сказал печально:

— Вот вроде рад, а скусу — нет. Нет его, скусу, и хоть ты волком вой.

Лашков про себя подумал: «Для куражу ломается». А вслух сказал:

— Обживешься, браток. Это всегда так — на новом месте.

— Оно, конечно, — вздохнул тот и задумчиво хрустнул огурцом, — в чужом овине и своя жена слаще, а вот поди ж...

Во время их разговора Люба — бесшумная и улыбчивая — скользила от стола к буфету и от буфета к столу, приправляя свою стряпню певучим московским говорком:

— Кушайте, кушайте, не стесняйтесь.

Было в ней что-то по-кошачьи умиротворяющее. Привлекая жену к себе, Иван любовно гладил ее по устойчиво округленному животу:

— Любонька мне девку родит. Люблю девок. Девка — она покладистой. Девку да девку, да еще девку. — Здесь он неожиданно помрачнел, сжал зубы, и в нем сразу определился мужик. — А теперь и сына. Чтоб на дантиста обучился... Сына, Люба, чтоб. — Он замолчал и одним махом опрокинул стопку. — Давай, мил друг, «Хазбулата»!

Когда они вышли во двор, было за полночь. Крупные в середине чаши летние звезды, оплывая книзу, мельчали, становились острее и невесомей и отсюда — с земли — походили на чутко прикурнувших птиц. Время от времени то одна, то другая из них испуганно вспархивали со своего места и, перечеркнув пылающим крылом аспидную темень, скрывались где-то за ближними крышами. В соседнем дворе яростно захлебывался граммофон: «Прощай, мой табор, пою в последний раз», и чей-то пьяный тенор тщетно пытался подтянуть: «...дний-и-и рра-аз».

Друзья сели на лавочку во дворе. Внезапно Иван боднул головой ночь и простонал со сладкой тоской:

— Нынче у нас в Лебедяни гречиха зацветает...

И хотя Лашков ни разу в жизни не видел, как цветет гречиха, и едва ли смог бы отличить ее от проса, душе его передалась эта вот сладостная левушкинская истома, и он почти любовно вздохнул, вторя другу:

— Зацветает...

— И гармонь...

— И трава парным молоком пахнет...

— Пахнет.

Они говорили, а звезды все вспархивали и, обжигая темь, падали за ближними крышами. Вспархивали и падали.

Слова, на первый взгляд, были самыми незначительными — о погоде, о житейском, о мелочах разных, — но откровение общности коснулось их, и Лашкову вдруг показалось, сидят они с Иваном вот так уже много-много лет: вспархивают со своего места звезды, сгорают в пути и падают вниз, а они сидят; цветет и опадает гречиха, а они сидят; Люба, дочери Любы, дочери дочерей Любы рожают других дочерей, а они сидят под самым куполом неба — в самой середине.

— Одиноко тут в городе...

— Привыкнешь...

— Тесно...

— Оботрешься.

— Махорка нынче пошла — ботва.

— Да...

Лунная тень рассекла флигель надвое, поползла по стене, и, будто от ее прикосновения, вспыхнула в крайнем угловом окне лампада, выхватившая из темноты почти бестелесый силуэт старухи Шоколинист. Снизу она проглядывалась до мучительных подробностей: шевелящийся беззубый рот, яростно заломленные руки и даже, казалось, самые ее зябкие глаза, подернутые испуганием.

— Что за ведьма? — глухо спросил Лёвушкин и встал, перекрестился и сделал шаг в сторону, — ишь, изголяется... Пойду я... Любка там...

— Хозяйка бывшая... Грехи замаливает. — Лашков тоже встал. — Ладно, покеда. Мне ведь спозаранку.

Он шагнул к себе — в темь флигельных сеней — и впервые в эту минуту почувствовал томительное, словно от удушья, стеснение под сердцем, и тихая тревога вошла в него, чтобы уже срастись с ним навсегда.

III

Старуха Храмова из одиннадцатой добровольно уплотняться отказалась наотрез. Большая, грузная, в засаленном капоте стояла она на пороге кухни и, глядя, как Лашков с водопроводчиком Штабелем перетаскивают мебель из столовой в дочернюю светелку, яростно причитала:

— Ведь папа, — у нее это выходило смешно и жалко, — папа, ты же знаешь, Лашков, много раз сидел в участке... Да, да, — за убеждения... Разве там, — старуха ткнула склерозным пальцем в потолок, — там забыли об этом?.. Разве можно грабить семью

знаменитого артиста?.. А Лёва, где будет репетировать Лёва? Нет, я вас спрашиваю — где? А моя девочка? У девочки такие способности... Пальцы, разве это никому не нужно? Скажите, — она бросилась к участковому Калинин, окаменело замершему на лестничной площадке, — разве это никому не нужно — пальцы? Я вас спрашиваю, где она будет заниматься, где? Конечно, в пивной тишина ни к чему и, простите, в борделе тоже...

Тот лишь поморщился в ответ и заиграл острыми чахоточными скулами. И видно было, что все это ему давным-давно смертельно надоело, что сам он — Калинин — здесь не при чем, и что наконец поскорее бы развязаться со всем этим и уйти домой.

За его спиной, подпирая собой гору узлов и укладок, стояли две Царевы: жена — тихая, бесцветная, в мешковатом сером костюме и в парусиновых туфлях на босу ногу, и ее золовка, туго сбитая девка, усмешливо глядящая в мир глазами, подернутыми угарной поволокой.

Сам Алексей Царев — щербатый парень лет тридцати, — скрипя выходными штиблетами, растерянно утаптывался вокруг участкового и все зачем-то совал ему в его тяжелые руки свой ордер:

— Так ведь я не по своей воле. Мне все равно, где жить, лишь бы — крыша. Я ведь в законном порядке. — Калинин утрюмо отмахивался от него, тогда Царев бросался к жене. — Что же это она, Феня? Мы же по ордеру! — Феня жалобно взглядывала на мужа и молчала, а он уже искал сочувствия у сестры. — Груша, ну утихомирь ты ее, утихомирь! Вот тебе и справили новосельице!.. Гражданочка, мы же в законном порядке... Вот и печать...

Но Храмовой было не до него: старуха расставалась с чем-то таким, с чем ей невозможно было расстаться ни в коем случае, иначе ее жизнь теряла всякий смысл и значение. Она то отрешенно застывала у кухонного окна и потухшими глазами глядела во двор, то кружилась по квартире, таская из столовой и складывая кучей на кухонной плите всякую мелочь — подстаканники, фарфоровые безделушки, семейные альбомы, — то вдруг начинала умолять сына:

— Лёвушка, — он стоял к ней спиной, болезненно морщился и потирал виски, а она тянула его за фалду пиджака, — Лёвушка! Ты же артист! Ты должен пойти и рассказать обо всем, туда! — ее палец снова взмывал к потолку. — Во имя деда! Здесь ему дорога каждая вещь!.. Они не имеют права!.. Подумай об Ольге!.. Что будет с ней!.. С ее пальцами!.. Вспомни, что говорил о ней Танеев!..

Она искала его взгляда, но его глаза ускользали от нее, глаза смотрели куда-то поверх, сквозь стену, сквозь двор и дальше. Сын отдирает ее руки от себя и тихо, словно бы боясь, что его могут услышать, уговаривал:

— Мама, мама, подумай, что ты говоришь? Что случилось? Ничего не случилось. И потом я согласен спать в коридоре. Пусть Оля живет в моей комнате. Ей там будет покойнее... Мама, ну что ты с собой делаешь?.. Мама же, наконец!

Храмова вновь сникала, чтобы уже через минуту повиснуть на дочери:

— Вы посмотрите на эти пальцы! — старуха бережно оглаживала ее почти невесомые ладони. — Нет, вы только посмотрите! Сам Танеев любовался ее пальцами! Оленька, только не надо так улыбаться! Оленька, ну я прошу тебя, не надо так улыбаться!

Ольга не слышала ее. Опершись о косяк входной двери, Ольга медленно раскачивалась из стороны в сторону и улыбалась тихо и празднично. Она стояла прямо против Калинина. Участковый морщился и поигрывал чахоточными скулами, а девушка улыбалась. Он морщился, а девушка улыбалась, Она, конечно, не видела ни самого Калинина, ни того, что стояло за ним, она просто жила, существовала там, где, видно, еще можно было улыбаться, тихо и празднично, но сейчас, при взгляде на них, Лашкову становилось не по себе. В их вызывающей разительности ощущалось какое-то почти жуткое сходство: злость одного и блаженность другой определили недуг, и некуда им было деться, бежать от его жестокого родства. Так и стояли они, сведенные случаем, друг против друга, на одной лестничной площадке, оставаясь в то же время каждый в своем мире, со своей правдой.

Штабель работал с чисто немецкой уважительностью к вещам. Прежде чем взяться за какой-нибудь предмет, он осторожно опробовал его — выдержит ли? — потом бережно поднимал и размеренно, как бы ступая по льду, переносился в светелку, где все и устанавливалось им по лучшим правилам симметрии. Но старуху Храмову даже эта вот его старательность выводила из себя:

— Кто же ставит стулья на стол, Штабель? Кто же ставит стулья на стол? Твоя мама-немка ставит? Твой папа-немец ставит? Может, дядя-немец ставит? Это же из Гамбурга мебель! Тебе жалованья твоего за всю жизнь не хватит на такой стол! Два не хватит! Три! А ты ставишь стулья. — Она ходила за ним по пятам, серая от бессильного гнева, трясущаяся, и все старалась уколоть его побольней, почувствительней. — Разумеется, что тебе чужие вещи! У тебя ни кола, ни двора, ни родины! Так в котельной, на тря-

пье и отдашь душу Богу... Ах, Штабель, а я считала тебя порядочным человеком. Все-таки — немец.

Штабель молчал. Штабель умел молчать. Зачем ей — этой потертой московской барыне с ватными щеками — знать, какая дорога пролегла между ним и его родиной. Аккуратно определив на место очередной стул, он вынул из брючного кармана платок и вдумчиво протер им руки. Затем водопроводчик сложил платок вчетверо, сунул его снова в карман и только после этого заговорил:

— Я, мадам, — Штабель взял старуху за плечи, почти без усилия повернул к себе спиной и легонько, но настойчиво стал подталкивать ее ближе к комнате сына, — австриец, мадам. Австриец. Я слюшал вас, теперь ви слюшай меня. Я не знаю, что хочет ваша власть, но я привык уважать всякий власть. Мне говорят: «Штабель, эта нада». И я делаю. Но я не хощу, чтобы рабёшие люди подыхали в котельные. Простите меня, мадам. — Он подвел ее к стулу, повернул снова к себе лицом, тихонько надавил на плечи, и она села, а сев, как-то сразу стихла и вся — будто то оплывающая опара — сосунулась книзу. А водопроводчик, вернувшись, дотронулся до левого плеча. — Лёва, уведите сестра себе. Её нельзя так. Отчень, отчень нельзя.

Лёва, испуганно встрепенувшись, неожиданно засуетился, схватил сестру за руку и стал так же тихо, как и прежде старуху, убеждать ее:

— Пойдем, Оля, ты должна пойти. Тебе уже пора отдыхать. И потом мы здесь мешаем.

Улыбаясь, она удивилась:

— Лёвушка, зачем. Еще рано. А здесь столько солнца. Смотри, сколько. Оно звучит. Слушай — звучит. А у нас эти занавеси. Эти ужасные занавеси. И здесь столько людей. Они будут жить у нас? Что маме нужно от них... И потом эти занавеси. Неужели их нельзя снять?

— Я сниму их. Я выброшу их и открою окна настежь. Пойдем, Оля. Вот так.

Брат потянул ее с собой, и она вяло подалась, не переставая улыбаться и всё порываясь с кем-нибудь заговорить. Коридор опустел, и Царевы стали молча и бесшумно вселяться. Алексей и Феня переносили вещи, ступая так, словно в квартире находился покойник. Они как бы стыдились собственной удачи, и только Груша сразу определила себя на новом месте как хозяйка и стала всем своим видом и поведением выказывать, что все здесь принадлежит ей давным-давно, и что нужно лишь еще немного подождать.

дать, чтобы справедливость окончательно восторжествовала. Она двигалась уверенно, шумно, властно командуя своей бессловесной свояченицей и братом:

— Да отодвинь ты, Федосья, стол ихний вот в тот угол. У окна свой поставим. Что тебя, Алексей, пыльным мешком из-за угла втянули, что ли-ча, двигай его, окаянного. Ишь, расставились...

Лашкову сразу понравилась эта крепкогрудая, кержацкого вида деваха с сильными, совсем неженскими руками. От нее исходил хозяйственный запах еще неустоявшегося пота и стирки. Парень обнял было ее в простенке между кухней и чердачным ходом, но она только повела плечами, только повела, но так при этом посмотрела, что он сразу же густо покраснел и смешался. Но, однако, что-то вдруг оттаяло в его душе, встрепенулось, и уже потом, когда Царев поил их — Лашкова, Штабеля и уполномоченного — в ближней пивной теплым кисловатым пивом, он не выдержал-таки, сказал задумчиво:

— А сеструха у тебя, Алексей Михалыч, надо сказать, стоящая. Первый сорт, можно сказать, девка. Одним словом, как говорят, люкас.

Царев поскрипел, утаптываясь на месте, торгсиновскими штиблетами и хмыкнул в кружку:

— Наших — царевских кровей.

Штабель подумал, подтвердил:

— Такой хозяйка в доме, — при этом он многозначительно поднял указательный палец вверх и сделал большие глаза, — о!

Калинин промолчал. Ему, в его положении, давно было не до девок. Участковый тоскливо скучал и от дикой, не по-вешнему устойчивой жары, и от этого теплого кислого пива, и от нудного разговора, которому может не быть конца. Он с упрямой внимательностью вслушивался только в себя, даже вернее, не в себя, а в свою болезнь. Калинин чувствовал, как она разрастается в нем, вплетая пору за порой, нерв за нервом, и ему иногда казалось, что он слышит даже самое ее движение — шелестящую мелодию постепенной гибели. И поэтому все остальное в мире по сравнению с ней — с этой мелодией — вызывало в нем только скуку, вязкую, будто смола для асфальта. Почти черными зубами участковый лениво отодрал кусок воблы, пожевал, допил кружку и коротко подвел итог встрече:

— По домам.

Ночью хмельному Лашкову снился сон...

Он идет по Сокольникам с Грушей под руку. И оба они — сплошное сукно и крепдешин. А деревья, будто летя куда-то, гу-

дят над их головами, пронизанные огнями, и все люди, оборачиваясь, улыбаются им вслед: пара! Лица, лица, они улыбаются им вслед. Сколько лиц! И вдруг его словно обжигает: все, все они, как две капли, схожи с лицом блажной дурочки Оли Храмовой из одиннадцатой квартиры. Лашков что-то хочет крикнуть им, крикнуть сердито, вызываяще... Но сон смешался...

Пробуждаясь, дворник со злым недоумением подумал: «К чему бы это?» Потом рассудил куда для себя приятственнее: «Может, сон-то в руку?» И еще, но уже не без кокетливого сожаления: «Вроде, на ущербе жизнь твоя холостяцкая, Лашков?»

IV

В лабиринте бельевых веревок, словно мышь в сетке из-под яиц, металась по двору Сима Цыганкова. Облаву вели два ее брата, оба низколобые с аспидными челками над кустистой бровью, вели с пьяной непоследовательностью, и оттого уже добрая половина белья лежала полувтоптанная в дождевую грязь, а Сима все еще ухитрялась ускользать от них, то и дело пытаясь прорваться к воротам. Но всякий раз кто-то из братьев перехватывал ее на полпути, и все повторялось сначала. Братья обкладывали Симу с молчаливым остервенением, как зверя, в полной тишине. Слышен был только их прерывистый хрип да протяжный треск лопающихся веревок.

Лашков по опыту знал, что с Цыганковыми лучше самому не связываться. Они переехали недавно в девятую, и первый же их день во дворе ознаменовался устойчивым, чисто вологодским мордобоем со скорой помощью и милицией в заключение. Семейство изуродовало своего соседа старика-филолога Валова, а заодно и непрошеного воителя за всех обиженных Ваню Левушкина. Уже на другой день сам Цыганков, взяв всю вину на себя, уехал в домзак отсиживать установленный кодексом год, филолог, дав объявление насчет обмена, ночевал у Меклера, а Иван гордо носил по двору свой пробитый череп, наскоро забинтованный ему в неотложке и, горячась, возмущенно жаловался каждому встречному-поперечному:

— Это разве по Богу над стариком среди бела дня измывать-ся? За такое по головке не погладят. Совесть-то надо иметь, а? Под Богом ходим, а совести — кот наплакал...

Среди Цыганковых Сима выглядела белой вороной. Тоненькая, хрупкая, почти девочка, в застиранном ситчике — белый го-

рошек по голубому фону — она семенила двором, потупив глаза, так, будто ступала по битому стеклу, и как бы не пробегала вовсе, а извинялась за все свое непутевое семейство. Но стоило видеть, какими глазами смотрели на нее все холостяки дома, да и женатые тоже: Сима была проституткой с лицом иконостасного херувима.

Лашков еще натягивал пиджак, чтобы бежать за уполномоченным, а кто-то уже кричал сверху:

— Ироды! Куда по подзору сапожищами-то! И зачем только принесло вас на нашу голову! Креста на вас нету! По подзору-то, по подзору как, а?

Во дворе Лашков застал уже конец облавы. Тихон все-таки загнал сестру в угол котельной и флигеля. Сима упала, свернулась в клубок, обеими руками прикрыв голову. Обляпанная грязью подошва уже занеслась над ее крапленным ситчиком, но здесь между нею и братом неожиданно вырос Лёва Храмов:

— Не смейте ее трогать! Как вам не стыдно бить женщину! — Он махал перед носом Цыганкова бледным тонкопалым кулаком. — Не подходите к ней! Да!

Конечно, это выглядело смешно. Звероподобному Тихону стоило даже не ударить, а просто толкнуть худосочного актера, и без кареты скорой помощи тут бы не обойтись. Тихон остолбенел на минуту, раздумывая, как слон над зайцем: давить или пройти мимо? А когда он все же решил давить и угрюмой глыбой подвинулся к Храмову, на плечо ему легла тяжелая штабелевская рука:

— Слюшай сюда, парень. Ты видишь это. — Отто чуть приподнял сжатый свободной рукою кусок водопроводной трубы. — Ти хошешь получайт пенсия, бей его, не хошешь получайт пенсия, иди домой.

Тихон исподлобья окинул Штабеля с ног до головы, как бы прикидывая, во сколько обойдется ему драка с дюжим австрийцем, потом коротко переглянулся с братом, тот хмуро кивнул, и они двинулись прочь, и лишь с порога парадного Тихон пьяно прозил:

— Я тебе, немецкая морда, еще загну салазки!

Штабель лишь усмехнулся одними глазами и, полуобняв за плечи актера и Симу, подтолкнул их к котельной:

— Иди, посидайт у меня. У вас есть многай разговои. Мы, — он указал на Лашкова, — будем курить здесь. Мы будем думайт, — он снова кивнул на Лашкова, — многа думайт. И говорьит, говорьит.

Лашков терпеливо молчал, пока друг его, попыхивая глиняной трубкой, изучал густеющее небо. Лашков знал Отто Штабеля: чем дольше тот думает, тем серьезней будет речь.

Дворник встретил австрийца случайно на бирже труда, куда зашел, чтобы найти, по просьбе домоуправа, дельного истопника-водопроводчика. Штабель приглянулся ему сразу: степенный, обстоятельный — прежде чем сказать, десять раз подумает — он подкупил дворника именно этой своей обстоятельностью. Казалось бы, не от сладкой жизни идти на биржу, и все-таки, прежде чем согласиться, Отто, мешая русские слова с немецкими, дотошно, врасстяжку выпрашивал его о месте (каков транспорт?), об условиях (как с выходными?), о спецодежде (надолго ли?), и даже о жильцах (что за народ?). И Лашков, вопреки всем традициям того — скудного для рабочих рук времени — расхваливал свой то-вар, старался вовсю.

Видел дворник: поставит ему домоуправ за такого водопроводчика, и не одну. Транспорт? Под самым носом. Зарплата? Не обидим. Спецодежда? Не поступимся. Жильцы? Ангелы, а не жильцы.

Вскоре новый истопник занял лашковскую каморку в котельной, а сам дворник вселился в светелку уплотненной модистки Низовцевой во втором этаже флигеля...

Вечер повис над крышами первой, еще неуверенной звездой. Звезда набухла, наливаясь мерцающей голубизной, и в шелест тополей за воротами вплелись два голоса — из глубины котельной:

— Мать не просыпается. И эти тоже. И все — денег. А я и так им все отдаю... Эх, и зачем только принесло нас сюда — в прорву эту... Отобрали кузню, так что в ней, в кузне-то, и свету только? И так прожили бы. Все здоровые... Там у нас на Волге хорошо, просторно... Завод, завод!.. Вот тебе и завод!..

— Какой ужас, какой ужас!.. Ужас... Ужас... Ужас... Милая, милая девочка... Какой ужас! Откуда это, за что это на нас такое!.. Говорите, говорите...

— Для вас ужас, а нам — век жить... Старые люди говорят: за грехи.

— Да кто ж и когда у нас так согрешил, чтоб за это — такое?

— В роду, говорят.

— Боже мой, Боже мой, да в каком же это роду и в каком же это столетии. Девочка, девочка, милая девочка... Да поверь мне, нет такого рода, племени такого нет и столетия

такого не было. Да если бы и все роды и века мы страшно, чудовищно грешили, нас нужно было бы наказать самое большое — смертью. А ведь это ужас!

Тихо:

— Не надо так. Всех не пожалеешь. Вот и за меня, к чему было?.. Ведь прибить могли. И — насмерть прибить. Это от доброты... И тихий... от доброты... Добрые — они все слабые.

— Совсем, совсем нет, милая. Это только так кажется... Я всегда буду вас защищать.

Тихо-тихо:

— Защитник.

— Служить вам... Будем жить вместе... Не подумайте плохо... Как брат и сестра...

— Коли вы захотите такого, это я вам рабой буду... И вовсе не надо, чтобы как сестра...

— Девочка, девочка, милая девочка...

— Волосы у вас, как лен, мягкие и ласковые...

Тополя шелестели за воротами, а над миром плыла голубая звезда и эти вот два голоса.

V

Сима сидела на лавочке, болтала ногой и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью. Наверное, это было куда слаще даровых ресторанных пирогов. Иначе бы она не болтала ногой, сидя на дворовой лавочке, и не смеялась бездумно вот так: поднимая лицо к солнцу, давась едой и почти задыхаясь.

Штабель-таки недаром больше обычного молчал в тот вечер. Отто не любил слов пустых и необязательных, а потому лишь перед расставанием сказал Лашкову:

— Слюшай сюда, Вася. У твоего модистка есть шулян. Скажи мне, Вася, зашем модистка шулян. Два шеловека — один шулян. Карашо. Храмова все равно не пускаит их к себе.

Сказал и сошел вниз, в говорящую темноту. Лашков лишь головой покачал ему вслед: чудак-человек. Об этом чулане шли у них разговоры еще с зимы. Дворник сам присмотрел его для друга у своей соседки. Чуланчик был так себе, не очень, в общем, — три на два, но удобство его состояло в том, что одной своей стеной туда выпирала чуть ли не на треть квартирная печь. Оборудовать чулан под жилье было делом плевым, ждали только лета, но Штабель взял и перевернул все по-своему. И Лашков, в конце концов, согласился с ним.

Вот почему сегодня Сима и сидела на лавочке, и болтала ногой, и ела хлеб с горчицей, круто посыпанной солью, и бездумно смеялась, поднимая лицо к солнцу, давясь едой и почти задыхаясь. Симу ожидала комната. Конечно, не Бог весть какая комната могла получиться из бывшего чулана, но да разве в хоромах дело? Тем более, что над будущим ее жилищем колдовало сразу столько народу: трое Царевых, двое Левушкиных, Штабель с Лашковым и ее, теперь собственный супруг — Лев Арнольдович Храмов. Правда, он только растерянно и ненужно суетился, не зная, за что ухватиться, но какое это могло иметь сейчас для Симы значение: Симе готовилась комната.

В углу двора, прямо против своего окна, Иван соорудил верстак, и терпкая свежей смолой стружка пела и струилась под его рубанком. И сам он, работая, улыбался чему-то своему, тайному. Казалось, дерево рассказывало плотнику некие удивительные и веселые истории. И желтые филенки для симиного счастья — одна за одной — строились вдоль стены. И из окна левушкинской комнаты несло за квартал пирогами, и Люба, орумяненная жаром и оттого вдруг похорошевшая, то и дело сновала между домом и флигелем и при этом каждый раз переглядывалась с мужем, и он подмигивал ей, и они не без озорства улыбались друг другу.

Алексей Царев с засученными до локтей рукавами ловко и споро оклеивал бывший чулан васильковым цветом весны, и бессловесная Феня его смотрела на волшебника-мужа снизу вверх, почти с благоговением, и клейстерная кисть под ее рукой выписывала диковинные кренделя.

Груша, по-деревенски высоко подоткнув юбку, выгребала последний мусор, и когда она слишком сильно сгибалась, упругие икры ее начинали едва заметно подрагивать, и сердце Лашкова учащенно дергалось и сладостно замирало где-то под самым горлом.

Работая, они с водопроводчиком стаскивали с чердака бросовую мебель, отдавая ее на поправку в добрые левушкинские руки. Лашков держался ближе к Груше. Та вроде бы и не замечала парня, вроде бы и давала понять, что отношение у нее к нему — со всеми наравне, но сама нет-нет да и отличала его — то полувзглядом, то легкой улыбочкой — от других. Он чувствовал себя на седьмом небе. Солнце заливало двор светом чистой июньской пробы, и в его невесомой благодати все вокруг виделось ему исполненным какого-то особенного замысла.

«Мамочка моя дорогая, что человеку нужно? Самую малость, сущий пустяк. А какая от этого пустяка легкость на душе! Все дадено, все есть, живи!»

Вечером за столом царила великосветская предупредительность. Каждый из гостей хотел показать, что и он не лыком шит и знает толк в правилах хорошего тона, и что уж коли и без образования, то с образованными людьми тоже умеют в обществе держаться.

Пили красное и по неполной рюмке, губы вытирали чистыми платками, закусывая, оставляли на тарелке малость: не из голодного края, мол. И в довершение всего, в неопикуемой тесноте, ухитрились станцевать под «Амурские волны». А перед разгонной Иван Левушкин даже произнес небольшую речь:

— Всегда бы вот так-то, братцы. — Голос его дрогнул. — Живем, как зверье. А все — люди. Я вот думал — сосед. А дантисты они, выходит, тоже — люди.

Прощаясь, гости со значением переглядывались и степенно пожимали молодым руки. Растроганный до слез Лева Храмов, от самого порога, кричал им в темноту:

— Заходите, непременно заходите, будем очень, очень рады. Всегда запросто. Здесь все ваше!

Лашков пригласил Грушу прогуляться, и та пошла, и сама взяла его под руку, и все было точь-в-точь как в недавнем его сне: пронизанные огнями сокольнические деревья гудели над их головой, и многие оборачивались им вслед.

Они сели на скамью в темной аллее, и Лашков обнял Грушу и поцеловал. И она не сопротивлялась. И лишь слегка оправив после этого волосы, спокойно молвила:

— Только сначала, как у людей — в загс.

Он сказал:

— Конечно. — И еще. — А как же!

И деревья сверху над ними плыли куда-то. А может быть, это плыли вовсе не деревья, а они сами — Лашков и Груша. И скорее всего, что так.

VI

Никифоров въезжал в седьмую, что на втором этаже, к бывшему полковнику и военспецу Козлову поздно вечером под седьмое ноября. Новый жилец был мал ростом, сложение имел суб-

тильное, но мужиком оказался въедливым и настырным. Еще поднимаясь по лестнице, он дышал норовистым бычком и, в предчувствии скандала, сладострастно потирал руки:

— А мы тебе пощупаем жабры, господин генерал. — Чин будущему соседу Никифоров накидывал явно куражу ради. — Ты у нас, белый ворон, враз кенарем запоешь. Отжили свое, высосали рабочей кровушки. Вы, товарищ, — теребил он Калинина, — в случае чего, свидетелем будете. Не отвертится, не старый режим.

Уполномоченный и ухом не повел. Только этак искоса взглянул на него, и под его серой кожей вздулись и снова обмякли желваки.

Дверь открыл сам хозяин. Несмотря на поздний час, Козлов встретил их не в халате, а в тщательно отутюженной паре военспеца, и меловые усы его, выдержанные в лучших гвардейских традициях, были вызывающе нафабрены.

— Прощу вас, гос... — хозяин осекся, но тут же вышел из положения — ...тям здесь всегда рады. Я знаю, — предупредил он взявшегося было за свой планшет Калинина, — вы привели мне соседа. Очень приятно, молодой человек. — Старик учтиво поклонился в сторону Никифорова. — Мне уже сообщил управляющий. Так что, Василий, — он пожал узкими плечами, обращаясь к Лашкову, — тебя напрасно потревожили, дружок.

Едва ли дока, и куда въедливей, чем Никифоров, выудил бы из всей этой безукоризненности хотя бы одну фальшивую ноту, но в том, с какой подчеркнутой вежливостью округлялась хозяином каждая фраза, и в том, какая учтивость исполняла каждый его жест, сквозило такое высочайшее презрение к новому соседу, даже брезгливость, что и ко всему равнодушный Калинин позволил себе одобрительно усмехнуться.

Обескураженный Никифоров пустился было в амбицию, но старик, устало опустив белые веки, подсек его суету на корню.

— Мне предложили освободить столовую. Но я старик, а старику нужно минимум места, чтобы дожить свое. К тому же, я считал домработницу. Поэтому, с позволения властей, — он отвесил полупоклон участковому, — я оставляю за собою только кабинет. Остальное — ваше, вместе с мебелировкой... В моем возрасте человеку нужно совсем немного дерева. — Здесь Козлов повернулся к Никифорову, и впервые в его блеклых глазах заплясали насмешливые чертики. — Не так ли, молодой человек?

Тот, казалось, почувствовал издевку, но перспектива занять лишнюю жилплощадь, да еще с полной мебелировкой, подействовала на него убагабляюще:

— Я покуда без семейства, так сказать, для регонсценировки. — Он мельком взглянул в сторону соседа, как бы проверяя, какое впечатление произвело на того знание им военной терминологии, и, убедившись, что понят правильно, продолжил, и в Никифоровском голосе ощущалось теперь эдакое примирительное размягчение. — Вот, можете проверить. Все в полном ажуре... Нет уж, вы обяжите посмотреть.

— Что вы, что вы, молодой человек, — вяло отвел Козлов от себя протянутые гостем документы, — милости прошу. Располагайтесь, это теперь ваш дом.

Слово «ваш» он произнес с тем особым ударением, от которого всем вдруг стало немного не по себе, и Лашков подумал, что при других обстоятельствах Никифорову с бывшим полковником лучше бы не встречаться.

Козлов гостеприимно открыл дверь в столовую и включил свет:

— Прошу вас.

И если новый жилец и насторожился еще минуту назад, если и собрался снова в щетинистый комок, то здесь, при виде гарнитура резного дерева и почти нетоптанного ковра на паркете, все в нем пришло в прежнее равновесие и даже вызвало жест ответного великодушия:

— Что ж, — как бы в знак классового примирения он протянул Козлову руку, — тогда с праздничком вас, уважаемый гражданин военспец.

— Молодой человек, — сказал старик и, уже откровенно издеваясь, убрал руки за спину. — Я — человек глубоко верующий и отмечаю лишь христианские праздники, а также день рождения престолонаследника Алексея Николаевича Романова... Прошу простить.

Развернувшись чисто по-воински, через левое плечо, Козлов показал гостям спину, скрылся в кабинете и в два оборота ключа отгородил себя от своего будущего соседа раз и навсегда.

— Ишь, гусь. — Никифоров после короткого столбняка снова вошел в раж и вроде даже вознамерился было броситься вслед старику, — тебя еще, видно, жареный петух в задницу не клевал, господин генерал, тебя...

Участковый устало и зло оборвал его:

— Хватит, не мельтеши. Пошли.

Двор, обрамленный первым снегом и звездами, казался до игрушечности маленьким, затерянным. Лишь разноцветные прямоугольники окон отогревали студеную тишину, и потому сама она казалась разноцветной: у каждого окна своя особенная тишина.

Новый жилец кипятился еще и во дворе:

— Как же, товарищ начальник, ведь сообщить надо. Можно сказать, открытый враг на свободе. Сегодня он мне, а завтра при всем народе скажет.

— И скажет, между прочим, — Калинин прикурил и яростно затянулся. — И, между прочим, при всем народе... А теперь топай...

— Я чтой-то в толк не возьму, — угрожающе попятился тот, — представитель власти и...

— Топай, говорю... И, смотри, жену береги — сразу все не выкладывай.

— Я...

— Топай.

Это было сказано кратко, тихо, сквозь зубы, но и у Лашкова, вроде попривыкшего к редким вспышкам своего участкового, вдруг засосало под ложечкой, и его осенило наконец, почему с такую неохотой вспоминает тот свою работу в особом отделе фронта.

Никифоров не посмел оговориться, но даже и в том, как он уходил, будто вбивая каблуками гвозди в снег, чувствовалась угроза и предостережение.

Лашков неопределенно вздохнул:

— Загнул старик себе на шею. Этот не спустит.

Красный глазок окурка описал в темноте дугу, упал в снег и погас.

— Я бы его, конечно, за такие слова сам в расход пустил, — проговорил Калинин, и в голосе его еще дрожало недавнее зло, — но такие хоть подыхать умеют по-людски, такому хоть руку подать несовестно... Ладно, пока.

Он шагнул в ночь — высокий, сгорбленный — и снег оглушительно заскрипел под его сапогами, и душу Лашкова неожиданно, впервые, пожалуй, в жизни обожгла до жути мысль: «Почему всё так? Зачем?»

VII

Где-то под Новый год Калинин снова постучался к дворнику. Вошел, снял шапку, прижался грудью к голландке и долго надрывно кашлял. Потом сказал, не оборачиваясь:

— Глотнуть не найдется чего?

Залпом опорожнив граненый стакан, он только искоса взглянул на предложенный огурец и сел, опустив голову:

— Вот что, Лашков, — с мороза, еще заостренной обычного, лицо его оплывало текучими пятнами, — Цыганкову брать будем. Санкция есть. Родня сработала.

Лашков ждал подвоха: не те люди Цыганковы, чтобы так просто отступить от даровых денег, — не раз замечал он, как братья злорадно переглядывались, сталкиваясь с Храмовым и сестрой, — но такого ему не предвиделось.

— Да за что? — почти крикнул он. — За что?

— Сто пятьдесят пятая статья уголовно-процессуального кодекса, пункт «а»: профессиональная проституция... И, главное, собаки, — стукнул участковый кулаком по столу, — свидетелей нашли! Нашли же! Сучьи дети, попользовались, а теперь капать будут!

— Так ведь замужем она!

— Вот то-то и оно, что не расписаны.

— Может, уехать ей куда?

— На панель? — Он поднял глаза и тут же опустил их. — Это можно, в любом городе спрос есть.

— Да...

Разговор угас. Лашков налил себе и тоже выпил. Совсем нечеловеческая тяжесть навалилась ему на плечи, и он не мог, не хотел сейчас встать первым, чтобы пойти туда — к храмовскому чулану. До чулана было всего несколько шагов, но каким намеренно тяжким стало вдруг это расстояние для него. Дорого бы заплатил Лашков за то, чтобы избавиться от необходимости видеть их сегодня, смотреть им в глаза, разговаривать с ними. И от неизбежности предстоящего становилось в душе еще тяжелее и нестерпимее.

Жилистый калининский кулак еще раз поднялся и с силой опустил на клеенку:

— Пошли.

На стук откликнулась Сима.

— Кто?

— Открывай, Цыганкова, — глухо выговорил уполномоченный, — дело есть. Это я — Калинин.

Послышался шёпот: тревожный, стремительный, в разных оттенках, затем, перебитый волнением, полужрик, полустон:

— Сейчас.

Звякнула щеколда, и на пороге, запахнувшись в храмовское пальто, со скорбной вопросительностью замерла перед неурочными гостями Сима Цыганкова: уж кому-кому, а ей не приходилось втолковывать, что ранние визиты участковые наносят не от избытка вежливости.

— Да? — выдохнула она и опять, как эхо, повторила. — Да?

— Вот что, Серафима Цыганкова, — Калинин зачем-то снял шапку и, опустив глаза, начал приглаживать волосы, — придется тебе пройти со мной в отделение. Есть санкция. Вот что.

— Да? — упало у нее сердце, и еще раз, но уже без вопроса, а утвердительно: — Да.

— В чем дело, Александр Петрович? — Из-за симиного плеча выглянул Лев Храмов. Он лихорадочно натягивал рубаху. — В чем дело?

Сима повернулась к нему, взяла его руку в обе ладони и начала, как больному, гладить ее:

— Я скоро вернусь, Лева. — Голос ее звучал тихо-тихо, и если бы у нее не дрожал подбородок, можно было подумать, что она совершенно спокойна. — Вот увидишь, я скоро вернусь. Ты ложись, тебе же на репетицию. Только не забудь сходить за батоном... Не надо, Левчик, я только туда и обратно.

Сима попробовала улыбнуться, но вместо улыбки у нее получилась гримаса кривая и жалкая.

Но тот был уже не в себе.

— Объясните же наконец за что, Александр Петрович? — стонал он, шаря руками по отворотам калининской шинели. — Кому она опять помешала? Разве можно вот так брать человека неизвестно за что?

— Известно. — Калинин упорно изучал носки своих сапог. — Но тебе, Храмов, я объяснять не буду. Иди к следователю и узнавай сам. Мое дело доставить.

— Тогда я вам ее не отдам! — Лева закрыл Симу собой и раскинул трясущиеся руки. — Не отдам и всё, вы слышите, Александр Петрович!.. Да что же это такое, Господи!.. Ну, дайте мне день или два... Я пойду... Я буду хлопотать... Я все узнаю!..

Участковый надел шапку и, отходя от храмовского порога, устало и хрипло сказал дворнику:

— Иди, зови двух постовых, не драться же мне с ними, в самом деле.

Лашков топтался на месте, не желая перечить, но и не спеша: «Кто знает, может, все еще и обернется по-хорошему?»

— Иди! — повторил уполномоченный, но уж жестче и упрямей. — Ордер не я подписывал. Бесполезно, Храмов, — бросил он через плечо Леше, — это — закон.

Он вышел во двор, а вслед ему неслось исступленное храмовское:

— Да будь они прокляты, такие законы! Будь прокляты люди, которые их написали! Прокляты, прокляты, прокляты!..

Когда Лашков вернулся, флигель был окружен тесным полукольцом жильцов. Чуткий утренний снег скрипел под десятками подошв, а легкий шелест тревожного полусшёпота плавал над головами:

— Эх-хо-хо, жизнь наша бекова... Не думали! Девка только-только на ноги встала.

— Хе, хе, хе... За грехи-то отвечать надо. Не перед Богом, так перед нарсудом.

— Родня, говорят, удружила.

— Одно слово — ироды.

— Дела-а.

Между жильцами кружился Иван Левушкин в калошах на босу ногу и пальто, накинутом прямо на исподнюю рубаху. Из-под штанин у него торчали тесемки от кальсон и тянулись по снегу.

— Что ж это, граждане? Что же это за смертоубийство такое? Рази это по Богу?.. Мы же всем миром можем вступиться... Выше можем пойти. Жили люди тихо-мирно, никому не мешали... Что ж это, братцы?

Люба тянула его за рукав к дому, он, досадуя, вырывался и снова начинал искать поддержки у соседей.

— Леша, — уцепился плотник за Царева, — ты-то на свадьбе у них гулял. Рази кому мешали? Их и нет на дворе словно. Ты — партейный, тебе и книги в руки — вступишь. Вступишь, Леша, поимей совесть.

Но тот, зябко поеживаясь и отводя глаза в сторону, невнятно пробормотал:

— Так ведь разберутся, Ваня, не в лесу живем. Ты бы пошел домой, оделся бы... Просквозит...

— А-а-а... — с горькой безнадежностью махнул на него рукой Левушкин и бросился к Штабелю. — Штабель, чего же ты молчишь, Штабель. Трубы винтом гнешь, а здесь нет тебя, а? Как же это, Штабель? Им жить, а их так, а?

Но Штабель молчал: Штабель гнул винтом трубы, власть могла согнуть винтом его — Штабеля.

Цыганковы скучковались особняком ото всех и со злорадным торжеством поглядывали в сторону флигеля в ожидании развязки, а мать их — худая жилистая баба — обшаривая, в поисках сочувствия, толпу тусклыми щучьими глазами, время от времени взвизгивала пропитым голосом:

— Узнает, стерва, почем кусок ситного! Это ей не с хахалями в ресторане.

У самого входа в сени с деловитым видом топтался Никифоров и, ни к кому в отдельности не обращаясь, но, однако же, явно желая оставаться, покуда это возможно, в центре внимания, громкой скороговоркой провозглашал:

— Пресекать надо. Пресекать в корне. Попусти только, на всех домах красные фонари навесят.

А флигель исходил криком. Пока Сима собиралась, Лева стоял на коленях, цеплялся за оборки симиного платья, судорожно гладил ей ноги, прижимался щекою к ее ладони и говорил, говорил, говорил:

— Девочка, все против нас... Но пойду... Я все равно пойду... Я скажу им... Я все скажу... мне наплевать на их варварские законы... Вот увидишь, они не посмеют... Не посмеют!..

Свободной рукой она ворошила его волосы, и слезы мелкие-мелкие — одна за одной — сбегали по ее щекам и собирались на подбородке.

Постовой осторожно потянул Симу за рукав:

— Хватит.

Сима вздрогнула, напряглась вся, как бы припоминая что-то очень важное для себя, очень обязательное, а потом сложила синими непослушными губами:

— Простите меня, Лев Арнольдович, за все. А ко мне после вас никакая грязь не пристанет. Я теперь чистая. Чистая, и всё тут. Но уж, — и лицо ее заострилось, стало чужим и страшным, -- отольются мои слезы кое-кому.

Храмов рванулся к ней, но уполномоченный, опередив актера, взяв его «на хомут», и он забился пойманной рыбой, захрипел. Постовые подхватили Симу, но она выскользнула у них из рук и вцепилась в Калинина:

— Не трогай его, холуйская морда, не трогай! Меня бей, измывайся, а его не трогай. Он — больной! Сукой ты, Калинин, был, сукой и остался. Не трогай его!..

Симу потащили к выходу. Сима упиралась, ее волокли, отрывали от косяков и подоконников, пока наконец не втолкнули в подогнанную для этой цели к самому порогу легковушку, но и там она еще продолжала сопротивляться.

Перед машиной народ раздался, а когда «эмка» выехала за ворота, полукольцо сомкнулось вокруг лежащего на снегу Храмова. Лева утюжил головой снег и стонал, и плакал, и мутные слезы его уходили в снег, не оставляя следов:

— Сима, Сима, девочка, что они сделают с тобой! Что они с тобой сделают... Я люблю тебя, девочка!.. Я люблю!.. Я люблю ее, люблю, люблю!

Он дернулся в последний раз и затих, неловко откинув руку за спину. Штабель молча сгреб Леву в охапку и через расступившуюся толпу понес к себе в котельную. А спустя минуту, никого, кроме дворника, участкового и Левушкина, во дворе не осталось.

— Ну-ка, вот, — Калинин расстегнул планшет, вынул оттуда четвертную и протянул Ивану, — пошли свою за литровкой, а мы покуда посидим с Лашковым, погреемся.

Сказал и зашелся гулким устойчивым кашлем.

VIII

У этой весны, казалось Лашкову, был какой-то особый запах, особая легкость и цвет. Все вокруг него выглядело необыкновенно трепетным и словно лишенным веса. И сам себе он представлялся со стороны как никогда молодым и удивительно легким. Если бы нынче ему, Василию Лашкову, — час за часом, минута за минутой — вспомнили то, что осталось у него позади, он бы не поверил или, во всяком случае, постарался тут же забыть об этом. Его переполняло острое ощущение новизны происходящего. Какой тиф? Какие окопы? Какая там еще голодуха? Сон! Пригрезилось душной ночью! Но даже и не будь это сном, он согласен трижды повторить свою судьбу ради такой весны, да что весны — дня, одного такого дня!

Сидя друг против друга за столиком летнего кафе в Сокольниках, они с Грушей пили пиво и улыбочиво молчали. Где-то за березами, густо обрызганными первой листвой, оркестр тосковал по далеким маньчжурским сопкам, и под его стонущие всплески птицы, с криком взмывая к небу, мгновенно растворялись в пронзительной голубизне.

Пиво упруго пенилось, и сквозь пену, где-то у самых лашковских глаз, плавали грушины руки, схожие с двумя большими белыми рыбами. Он пытался коснуться их, но они ускользали — гибкие и почти неосязаемые. Чуть раскосые глаза ее зовуще мерцали, рассыпаясь в пузырчатой пене на множество голубых капелек.

Груша увещевала его:

— Ну, не балуй, дурачок, ну, не балуй же!

Лашков только смеялся в ответ и молчал. Да и о чем ему оставалось говорить. Все, чем живо было сейчас его сердце, он, сколько ни бейся, не сумел бы облечь в слова. Тридцать три года — это, конечно, не первая молодость, но ведь и ей не восемнадцать, а если еще и впервые, то всегда кажется, что впереди — вечность. У него, как, наверное, и у нее, не обошлось без историй в прошлом. Но разве это имело сейчас какое-нибудь значение. Горький дым удовлетворенного желания лишь слегка опалил их, но не сжег, и, может, только потому они и сберегли себя друг для друга.

Потом он вел ее лесом, лес обступал их все теснее и теснее, пока наконец березовый молодняк не отрезал им пути, и тогда Лашков сказал Груше свои первые, не придуманные заранее слова:

— Пойдем туда, — он неопределенно махнул в сторону узенькой просеки в березняке, — туда, где самое небо.

— Дурачок, неба нету.

— А если пойти?

— Дурачок, ты много выпил.

— Я ни капельки не пьяный. Просто я хочу пойти туда. И — с тобой.

— Ну пошли, дурачок.

— Будем идти, идти, чтобы лес не кончался. Так и пройдем все сто верст до небес и все лесом, лесом...

— А вот он и весь, лес-то, дурачок.

Они вышли к неглубокому оврагу, за которым тянулась пар-

ковая изгородь. Лашков снял свой новый коверкотовый пиджак и постелил его на траву:

— Давай, Груша, посидим здесь до ночи, а то и до утра.

— Простудимся, дурачок.

Груша все-таки села, а он лег рядом и положил ей голову в колени и стал глядеть над собой. И ему вдруг показалось, будто небо приблизилось к нему настолько, что до него можно дотронуться рукой и написать по нему пальцем, как по запотелому стеклу, любое слово. И он дотронулся и написал, и вышло: «Груша».

— У тебя коленки теплые-теплые... И сердце слышно.

— Дурачок...

— Нет, правда.

— Дурачок...

— Груша, что нам жилья ждять? Хватит нам покуда и моих восьми метров, уместимся.

— А дети пойдут?

— До детей-то, эх, сколько времени.

— И года хватит...

— Груша...

— Что, дурачок?

Она наклонилась над ним. И небо исчезло. И он утонул в ее глазах, а она растворилась в нем. И мир вокруг них перестал существовать.

Вставая, она со снисходительной ласковостью сказала:

— А ты говоришь — дети. — И, немного погодя, строго добавила: — Только ты не надсмейся надо мной, я — злая.

— Что ты, Груша!

— Все вы так-то поначалу.

— Что ты, Груша!

— Дурачок... Подымайся, домой пора.

— Ко мне?

— К тебе...

— Правда?

— Правда...

В этот день Груша впервые вошла в лашковскую комнату. Вошла, хозяйственно осмотрелась и сразу же засучила рукава:

— Эх вы, холостяки сычевские. По колено в грязи, а нос — к потолку.

Она хлопотала ухватисто, быстро, со вкусом, но, в то же время, без суеты. Вещам и предметам как бы передавалась ее

собственная жизненная устойчивость, и комната под легкой грушиной рукой постепенно приобретала домовитую осмысленность. Работая, Груша словно любовалась сама собой со стороны, словно чувствовала, как приятно Лашкову смотреть на нее сейчас, до того каждое ее движение отмечала царственная законченность. А Лашков действительно с деликатной робостью новобрачного следил за ней и улыбался счастливо и виновато.

Ночью они лежали бок о бок, и Груша, мечтательно глядя в потолок, говорила ему:

— Жизнь прожила вроде короткую, а приснись она кому, седым проснется. Одиннадцати лет бабой стала... Господи, каким только горем меня не пытало... И так-то я теперь своего угла хочу, так хочу, что уж коли и ты в душу наплюешь, по рукам пойду, ни в жизнь больше никому не поверю.

— Не надо, Груша.

— Это я так, чтобы знал.

— Хочешь, и — оставайся.

— Нет уж, лучше как по уговору. Лешка у меня серьезный, баловства не потерпит. Для меня ж и старается... А ты потерпи. У нас в деревне-то больше ждут.

— Я потерплю.

— Дурачок, нешто я не хочу, только — порядок. Блюсти надо... иди-кось сюда, дурачок...

Лунная полоса скользила по комнате — от двери к печи, а в открытую форточку текла музыка. Лашков слышал ее всякий раз, когда Храмовы оставляли свои окна открытыми, но если раньше она звучала для него диковинно и непонятно и вызывала лишь досаду и раздражение, то теперь ему почему-то хотелось заплакать, заплакать просто так, беспричинно.

Груша ушла под утро. После нее остался неистребимый запах стирки и тихие отзвуки ночной музыки.

IX

Они пришли среди ночи в конце мая. Их было трое: бритоголовый в штатском, безликий, молчаливый майор и красноармеец с расплывчатым, будто навсегда заспанным лицом. Бритоголовый бегло окинул лашковскую комнату и, не здороваясь, приказал:

— Пойдем сначала в восьмую — к Козлову, будешь за понятого. Там второй найдется?

Двор и раньше не обходили арестами, но обычно их производила милиция и, чаще всего, сам Калинин, а здесь дело явно пахло Лубянкой. Штатский смотрел на хозяина в упор, не мигая, и сквозило в его чуть насмешливом и едва ли не дружелюбном взгляде что-то такое, от чего Лашков вдруг показался себе маленьким, ничтожным, со всех сторон уязвимым, как в плохоньком окопике в момент снарядного свиста.

Объяснять — что к чему — Никифорову не пришлось. Едва взглянув на гостей, он напряженно потемнел и соответственным образом весь подобрался, чем сразу как бы приобщи́л себя к тому, что должно сейчас совершиться.

— Сюда, — кивнул Никифоров в глубь коридора. — Спит, голубок.

Он сообщнически скосил глаза в сторону бритоголового, однако тот, проходя вперед, даже не удостоил его взглядом. Но не успел гость сделать и трех шагов, как дверь в кабинет Козлова широко распахнулась, и навстречу ему вышел сам хозяин, туго затянутый в свою обычную военспецовскую пару, заправленную в отчищенные до зеркального блеска сапоги.

— Прошу вас, господа, — на этот раз старик не осекся и в слове «господа» отчеканил каждый слог, недвусмысленно давая понять тем самым, что он в полной мере отдает себе отчет в предстоящем, но что именно поэтому и не намерен ничем поступиться, — я готов.

Его тоном, его горьким высокомерием и этой вот иронической обреченностью и определилась атмосфера ареста: гости стали тише, скупее в движениях и разговорах, работая быстро и деловито. И всякий раз, чуть только возникала нужда, штатский обращался к хозяину не иначе, как по имени-отчеству, что уже само по себе должно было отличать в глазах окружающих бывшего полковника и военспеца от простых смертных. И когда Никифоров, с язвительной гримаской разглядывая корешок изъятой книги, вознамерился было высказаться, штатский подошел к нему, молча взял книгу у него из рук, положил на место и одним лишь быстрым, как ожог, взглядом исподлобья заставил его отступить к самой двери и ступешаться.

Пока составлялся акт описи на случай конфискации и майор знакомил понятых с условиями свидетельства, между хозяином и бритоголовым происходил отрывистый, похожий на перестрелку, разговор:

— Что прикажете взять с собой?

— Пару белья.

— И все?

— А больше — зачем?

— Вы так скоры на руку?

— Некогда, Пров Аристархович, некогда.

— Туалетная мелочь?

— Как хотите.

— Подворотнички?

— Вы же серьезный человек, Пров Аристархович, — тяжело усмехнулся гость, — ну зачем, скажите, попу гармонию?

— Вам этого, молодой человек, конечно, не понять, вы — материалист. Но офицеры русской гвардии стараются умирать в чистых подворотничках.

В течение часа все было кончено. Перед тем, как выйти, Козлов медленно — вещь за вещь — оглядел комнату, при этом острый кадык его несколько раз дернулся, будто он хотел сглотнуть что-то и не мог.

На лестничной площадке штатский кивнул майору:

— Веди, а там, — он указал глазами выше, — я один справлюсь. — И тут же повернулся к понятным. — А вы за мной, в девятую.

Кровь бросилась Лашкову в голову и застучала в висках: «Не к дурочке же Храмовой!»

Два пролета. Ровно двадцать четыре ступеньки. Минута ходу. Но эта минута, как нить через иглу, протернула сквозь него такой стремительно жгучий хоровод мыслей, какого хватило бы ему не на одну бессонную ночь.

Он, конечно, жалел военспеца: безобидный, малость чудаковатый старик. Дворник мог посочувствовать ему, подивиться его выдержке, в конце концов, принять в нем посильное участие, но никогда судьба бывшего полковника не могла иметь к нему такого кровного касательства, как судьба рабочего Алексея Царева. Их мозоли имели одинаковый цвет и запах. Они уже успели съесть достаточно соли и выпить четвертинок под пиво с воблой. Ко всему — им предстояло породниться. Поэтому, когда штатский небрежно этак, носком ботинка постучал в девятую, Лашков впервые ощутил, как, все нарастая, в нем поднимается волна удушливого бешенства и, охваченный почти непреодолимым желанием броситься на бритоголового, подмять под себя его и его уверенность, и его вот эту по-кошачьи победную усмешку, он отвернулся и схватился за перила, чтобы перебороть искушение.

А тот уже стоял перед Царевым:

— Собирайся, Царев. Разговор к тебе есть и — долгий.

Здесь он вел себя куда свободнее, чем у Козлова: шумно рылся в комодных ящиках, походя листал и сбрасывал на пол книги с этажерки, мельком с брезгливой небрежностью заглянул в шкаф; потом сел прямо против хозяина и поторопил:

— Живей, Царев, некогда.

Но тот, обуваясь, все никак не мог попасть ногой в ботинок. Ботинок упрямо выскальзывал у него из-под ноги.

Феня, прижимаясь к простенку между окон, мелко, всем телом тряслась, а Груша смотрела на брата из-под надвинутого на самые глаза одеяла строго и вроде бы даже осуждающе.

То и дело облизывая сухие губы, Алексей успокаивал жену:

— Разберутся, Феня, разберутся... Ты, главное, держись. А я — скоро... Вот увидишь... Бывает... Разберутся...

Но по тому, как сосредоточенно застегивал Царев пуговицы косоворотки, избегая сестрино взгляда, было видно, что успокаивает он скорее себя, чем жену, и что ему самому в свое скорое возвращение верится мало.

Проснулся Сережка — царевский первенец, но не плакал, а в детском недоумении поочередно рассматривал ночных гостей и обиженно морщил нос. Отец подошел к Сережке и, взъерошив ему волосы, сказал:

— Спи, Серега, в воскресенье в зоопарк пойдем.

Сын проводил его до двери взглядом, окрашенным настороженной вопросительностью. Так дети смотрят на покойников: еще не осознавая, но уже безотчетно чувствуя жуткое таинство происходящего.

Спускаясь по лестнице, Царев обернулся к другу:

— Ты, Вася, тут присмотри за моими. Сочтемся... Гора с горой...

— Брось, какие расчеты?

— Разберутся...

— Разберутся, — согласился Лашков, но, перехватив насмешливый взгляд бритоголового, повторил уже без особой уверенности: — Разберутся...

Ночь пахла дымом остывающих печей и сквозными тополями. За ближними домами, на товарной станции гулко перекликались паровозы. Фонарь над воротами выхватывал у темноты островок мокрой от недавнего дождя мостовой, и вся улица — из конца в конец — была по ранжиру усеяна такими же островками. В их блестящей поверхности, трепетно колеблясь, надламывались тени. Ночь и ночь, как вчера, как позавчера, как, в такое же время года, пять и десять лет назад, но когда номерной огонек ма-

шины, прерывисто помаячив, растворился во тьме, Лашков всем своим существом проникся ощущением какой-то куда более важной для себя и невозвратимой потери, чем просто Алексей Царев.

Никифоров, весь еще в азарте происшедшего, шуршал над лашковским ухом:

— Всех, всех под корень. Выведем. Мы дрались, кровь проливали, а им — не по носу. Не нравится, получай, голубок, девять грамм.

Лашкову стало трудно дышать. Скажи Никифоров еще хоть слово, дворник, снова охваченный недавним бешенством, наверно, затоптал бы его. Но тот, словно предугадывая недоброе, замолчал, и Лашков шагнул в ночь. Оттуда — со светового островка, сквозь яростное гудение в ушах, к нему пробилось никифоровское приглашение:

— Слышь, Лашков, зашел бы, что ли, как-нибудь чайку попить! Покалякаем, в лото сыграем.

Лашков подумал: «Гад». И не ответил.

Х

Лашков потянул на себя входную дверь, и из-под низких сводов бутырской приемной обрушилась на него дробная разноголо-сица людской мешанины. Какая-то властная сила двигала этим разноцветным круговоротом в четырех грязно-серых стенах полуподвального зала, где навряд ли можно было выловить хотя бы одно осмысленное слово или отдельное лицо. Все слова нанизывались, как листья на стержень, на единственную ноту, и все лица имели цельный облик: казалось, сама беда изворачивалась здесь, забранная решетками и кирпичной толщей.

Усиленно работая локтями, Лашков проложил Груше и Фене дорогу к нужному окошку и занял очередь. Пожалуй, только тут, растворяясь в стонущей колготне, обе женщины в полной мере осознали случившееся с ними. И если вчера, даже не вчера, а всего час назад в них тлела надежда, то сейчас от нее не осталось и следа: слишком маленькой и незначительной увиди-лась им собственная потеря, чтобы о ней пришло в голову кому-либо печься, кроме них самих. Феня, как-то враз окончательно погаснув, стала еще тише и бесцветней, а Груша, уйдя в себя, внешне обмякла и присмирела.

Впереди Лашкова стояла женщина в берете и темном шелковом платье, отороченном по воротнику убористыми кружевами:

затерянный остров строгой тишины в горестном море сумятицы. Было что-то от иконы в ее простой и величавой законченности. Она спокойно оглядывала зал большими выпуклыми глазами, но в их, казалось бы, навсегда устоявшейся невозмутимости таилось что-то такое, от чего охотников заговаривать с ней находилось мало.

Только соседка женщины по очереди — испитая пигалица в мужском пиджаке, — бегло стреляя по сторонам оголтелыми глазами, верещала рядом с ней:

— Вот попал, черт шелудивый, а я с тремя живи, — и все колготят: хлеба! И иде я его возьму, хлеба-то? Иде? Жилы они из меня все вытянули. А я ведь и не в летах вовсе.

Мелкое, опущенное книзу лицо ее напряглось, жилы на птичьей шее вздулись, и можно было подумать, что их из нее действительно долго и старательно вытягивали.

Женщина в берете сказала вполголоса:

— Зачем вы? Не надо. Им там еще тяжелее.

Но та словно только и ждала ответного слова, чтобы дать волю источавшей ее, как ржа бросовое железо, злости:

— Вам оно, конечно, что! В шелках ходить — не волком выть. Руки вон какие непочатые. А вы в мою шкуру влезьте, не таким голосом запоете. Вашим-то и сидеть не в тягость — за свое грызетесь, а мой зачем полез?.. Сладкой жизни захотелось? А она была, да вся вышла...

Соседка коротко, но круто оборвала ее:

— Квартира моя опечатана. Я ночую у знакомых. Так что это платье на мне — единственное... И потом, неужели и в беде вы не можете забыть, у кого чего больше... Тогда лучше и не жить вовсе.

— С капиталом-то...

— У меня нет капиталов, — внятно сказала женщина в берете, — я — поэт.

— Чтой-то, — растерянно пошарила по ней глазами баба, — это — как?

— Я слагаю стихи, — объяснила женщина и умолкла, и выпуклые глаза ее тронула усталость. — Извините.

— А! — вроде разочарованно протянула пигалица, но когда смысл сказанного наконец дошел до нее, она снова встрепенулась и, неожиданно потемнев, просто, без прежнего раздражения спросила:

— А про это вот можете?

Прежде чем ответить, женщина медленно провела рукой по

лицу, будто снимая с него невидимый никому покров, и лишь после этого тихо и просто ответила:

— Могу.

И столько вдумчивой уверенности было в ее голосе, столько внутреннего проникновения, что она сразу же словно огородила себя от царившей вокруг суеты, и все рядом с ней отрешенно затихли, глядя на нее как бы с другого берега.

Дома Лашкова ждала записка: «Зайди. Есть разговор. Калинин».

Участковый жил напротив, в старом деревянном доме с подпорками по всей лицевой стороне. Когда Лашков вошел, тот, в галифе и тапочках, расхаживал по комнате, на ходу припадая время от времени к литровой эмалированной кружке.

— Садись. — Он пододвинул гостю стул. — Вот, понимаешь, батя сала собачьего удружил из деревни... Глотаю. Говорят, помогает... Дрянь такая, что не приведи, Господи...

Уже по одному тому, что Калинин, против обыкновения, начал издавека, Лашков предположил худое, но, вдруг решившись, бросился как в омут:

— Ладно, Александр Петрович, что тянуть — выкладывай, не маленькие ведь.

Тот, тяжело крякнув, сел за стол. Отставил кружку в сторону и, с трудом складывая непослушные слова, заговорил:

— Понимаешь, какая штука, Лашков... Как бы это тебе...

— Не тни душу, Александр Петрович!

— В общем, заходил тут ко мне один, интересовался: кто, мол, да что, мол, ты такое... И в каких, мол, этот самый Лашков отношениях с семьей Царевых... Я ему, конечно, втолковал, что к чему, но, сам понимаешь, с ними не поговоришь много...

— Я сам себе хозяин... Я из-под Чарджоу две огнестрельных вывез. Тебе ли меня не знать, Александр Петрович!

Калинин угрюмо засопел:

— Заруби, Лашков, не таких, как ты, нынче к стенке ставят. Там не спрашивают: сколько у тебя огнестрельных, а сколько осколочных? Там спрашивают: где и когда завербован? И знаешь — как?.. Вот то-то.

Лашкову вдруг вспомнилась та памятная майская ночь и бритоголовый в штатском, и его усмешливое дружелюбие, от которого холодело сердце, и зябкая жуть свела ему спину. Сглатывая горький комок, подступивший к горлу, он силло спросил участкового, даже, вернее, не его, а себя:

— А как же она? Она — как?

— Ну, скажи: до выяснения, мол... Совсем возьмут — лучше ей будет? Баба она — дошлая, поймет.

— А, может, пронесет?

Калинин даже сплюнул в сердцах и встал:

— Тогда — пока. Я — тебе не советчик. Только когда пулю будешь у них Христа ради выпрашивать, вспомни этот разговор. Вот что.

Участковый снова заходил по комнате — сухой и взъерошенный, как апрельский дятел — и, хотя был явно раздосадован, удержался-таки, крикнул дворнику вдогонку:

— Пошевели мозгами, Василий, я тебе не враг!

.

До позднего вечера просидел Лашков на своей койке, стиснув голову руками. «Мамочка моя рóдная! — думал он. — За что это мне все? Разве мало того, что было? Разве не выстрадал я себе каплю радости? Кому я встал поперек дороги?»

И многое вспомнилось ему тогда: и ночные бдения старухи Шоколинист, и храмовская история, и арест Царева, и еще немало другого. И его одолела мучительная мысль о существовании некоего Одного, чьей мстительной волей разрушалось всякое подобие покоя. И Лашкову стало невыносимо страшно от собственной беспомощности перед Ним. И тягостное опустошение захлестнуло его. И он мутно забылся...

— Сумерничаете? — Груша вошла, зажгла свет и сразу заполнила комнату собой, запахом стирки и своим уверенным размахом. — Заболел, что ли? — Она села, полуобняв его. — Ну, чего стряслось?

Он ткнулся головой в ее теплые колени и тонко, по-детски всхлипнул. Она потеряла его волосы:

— Ну что, что, дурачок? С лишнего всегда на слезу тянет. — Последние слова Груша произнесла без прежней уверенности, словно в предчувствии недоброго. — Пить тебе меньше надо.

Он молвил, как выдохнул после удушья:

— Повременить нам надо... Врозь побыть...

— Зачем? — захлебнулась она. — Как — врозь?

Путаясь и горячась, Лашков передал ей суть своего разговора с участковым. Груша слушала молча, не перебивая. Невидящими глазами всматривалась она в ночь за окном и, казалось, даже не вникла в смысл его речи, но едва он кончил, резко поднялась:

— Так, Лашков, так, Вася, — отчеканила она. — Так. Выходит, о шкуре своей печешься? А я как? — Она невольно повторила вопрос, заданный им Калинину. — Как — я? Поматросил и бросил. Наше вам, мол, с кисточкой? Спасибо, Вася, только временно и ждать тебя я не собираюсь... Живи сусликом, а я свою долю найду.

Груша шагнула за порог, Лашков было рванулся за ней, но она внезапно обернулась и опалила его взглядом, полным злой горечи:

— Не ходи за мной, Лашков. Теперь хоть брюхом двор вымети, не вернусь. Эх ты, красный герой!

Ему показалось, что захлопнулась не дверь, а что-то в нем. И наглухо. И надолго.

XI

Левушкин ввалился к дворнику, еле держась на ногах, и прямо с порога бросился целоваться:

— Вася, друг! Хотя одна живая душа на весь ящик... Прости меня, родной... Надрались мы тут нынче с Арнольдичем... Симке-то пять лет дали... Вот оно как получается... Не могу я, не могу, вот тут, — он ткнул себя кулаком под сердце, — саднит... Тоска съела... На Волгу меня артель одна зовет... Поеду!.. Тошно, Вася, тошно... У волков и то, видно, легче... Прости, родной... Пойдем, мы с Арнольдичем тут сообразили литровую...

Мутные, без проблеска глаза плотника, свинцово отяжелев, воспаленно осоловели, всклоченная голова вихлялась, и весь он, как бы лишившись основы, на какую нанизано самое существо, держался расслабленно и вяло.

Лашков тягостно вздохнул:

— Зачем ты так, Ваня?

— Тошно, родимый, тошно!

— А все — как?

— Всех и жалко... Шерстью людская душа обрастает... Рази это по Богу? Куда деваться?..

— Вот, на Волгу тебе зовут, валяй. Может, легче станет. А так ведь и до белой горячки недолго.

Левушкин приложил палец к губам:

— Т-с-с, Вася, сам боюсь... Да ведь однова живем! Пошли, Вася, будь другом, за компанию.

— Пошли...

В храмовском чулане стоял дым коромыслом. За столом,

установленным батареей разномастных бутылок и случайной закуской, одиноко восседал Лева Храмов и, подперев ладонью подбородок, пьяно жаловался самому себе:

— Вот так, Лев Храмов... Они не сверяют любовь по Шекспиру, они сверяют любовь по уголовному кодексу. Им некогда, они спешат... На свете еще очень много чужого... Какое им дело до тебя, Лев Храмов, а тем более до Шекспира! Из Шекспира не сварить каши и не сошьешь сапог... А им нужно только съедобное... Так пусть они сожрут твоё сердце, Лев Храмов! Или, например, душу... — Здесь он встрепенулся навстречу гостю. — А, Василий, заходите, друг мой, не стесняйтесь... Справляем вот, с Иваном Никитичем, панихиду по России... Здесь — самодеятельность, наливайте сами.

Втроем они в два приема опорожнили бутылку, и Храмов, выудив из пиджака красненькую, протянул ее Ивану:

— Иван Никитич, не в службу, как говорят, а в дружбу... я бы и сам, но боюсь — не дойду... пустая бутылка стала наводить на меня тоску...

Пока Левушкин оборачивался с его десяткой, актер, глядя на дворника полузакрытыми, как у спящей курицы, глазами, выяснял свои отношения с человечеством:

— Понимаете, Лашков, мы с вами, как бы это вам сказать, живем в стоячем оттоке большого течения. Мы соединены с его общим процессом, мы неотъемлемая его часть, но само течение движется, движется, а мы стоим, стоим, и — распадаемся... Вы понимаете, Лашков?

— Да, — согласно вздыхал Лашков, не понимая ни слова.

— Что обрело нас на это распадание? Сима говорит: грех. Но ведь всякое наказание порождает новый грех. И так — до бесконечности. Простейшая геометрическая прогрессия! Вы понимаете, Лашков?

— Да, — снова вздыхал тот, не вникая в смысл храмовской речи: он пытался стаканом накрыть муху и весь ушел в это занятие. — А как же?

Муха наконец попалась и зажужжала, штурмуя граненые стенки. Зло и с каким-то даже мстительным сладострастием Лашков подумал: «Покрутись-ка теперь, стерва!» Муха, изнемогая, падала, но сразу же поднималась вновь в тщетных поисках выхода. И Лашков опять угрюмо ехидничал, но уже вслух:

— Покрути-и-сь!..

— Что? — не понял Храмов.

— Это я так, себе.

— А-а... Так вот, Лашков... Постой, с чего же это я начал? Ах да!.. Но, в общем-то, вся эта философия гроша ломаного не стоит... Была Сима, и — нету Симы, вот и вся философия... И родись еще миллион Шекспиров, правы будут не те, кто пишет стихи, а те, кто пишет законы. А пишут их люди мелкие и ничтожные, у которых не страсть, а страстишки, не любовь, а семейная ячейка... Тыфу, слово-то какое выдумали, как у клопов. И кто пишет! Недоучки-семинаристы, без пяти минут адвокаты, юридические изобретатели перпетуум-мобиле... Ты спроси у любого из них: что ты умеешь делать? И он не ответит... Не ответит!.. Они ничего не умеют делать. Они ничего в своей жалкой жизни не сделали руками. Они разжигают в толпе самые низменные страсти, и животный рев этой толпы тешит их неудовлетворенное самлюбие смоковниц... Они говорят: возьми у сытого и насыться, возьми у имущего и оденься, возьми у властвующих и — властвуй... И толпа берет. Толпа в голодной слепоте своей не знает, что хлеба от этого в мире не прибавляется, одежда не вырастает, а власть не становится слаще... Смердяковщина захлестнула Россию. Дорогу его величеству, господину Смердякову... Все можно, все дозволено!.. Фомы Фомичи вышли делать политику... Политика!... Политики!.. Но что же это, право, за профессия такая, за ремесло? Ежели бы всю кровь, пролитую по их вине, собрать воедино, ее бы для нового потопа хватило... И они еще спялят мир. Вот увидите, Лашков, спялят... Они и законы составляют, исходя из своей житейской скудости... Им плевать на исторический опыт. Двигатель их законов — эмбриональная эмоциональность. Ежели, к примеру, у него геморрой, он обязательно внесет для геморройных какую-нибудь льготу; одна у него жена, — пишется закон: «Иметь одну жену и не более»; к детишкам слабость имеет — рожай, бабы, больше; нет детей — культивируй аборт; пьет — гуляй — одна живем; трезвенник — даешь сухой закон!.. А появившись у них скопец в главных законодателях, оскопят нацию... Оскопят!.. И что им какая-то Сима Цыганкова! Они людей на миллионы считают...

От слова к слову трезвея, Храмов произнес последнюю фразу с широко открытыми глазами, твердо и внятно. Лева словно бы уже сейчас видел воочию все, что предрекал, и Лашков, до этого тупо глядевший на обреченную муху, внезапно отряхнулся, проникаясь храмовской горечью. Дворник не то чтобы понял актера, нет, чужие слова, как сухие листья, кружились где-то по-

верх него, но тон, настроение собеседника передавалось ему, и он отрывисто заговорил:

— Я два года по Кара-кумам басмачей гонял. Вот, — он рванул на себе ворот рубахи, обнажая чуть повыше ключицы два бугристых рубца, — они у меня не купленные. А теперь, вроде бы, и дышу по особому распоряжению. Это — порядок?

Друзья говорили долго и каждый о своем. Им было не понять друг друга, слишком уж разнo представала перед ними жизнь, но, роднимые болью одного сомнения, они невольно подчинились спасительному инстинкту общности, и потому каждый слушал другого, не перебивая.

Когда вернулся Левушкин, актер, постукивая костяшками пальцев по столу, склонился к Лашкову:

— Нация гибнет!

А тот упрямо твердил свое:

— Пускай кто хлебнет с мое, а потом лезет мне в душу.

Уже после первой грузно охмелевший плотник уронил голову на стол и, по-детски всхлипывая, затянул:

Бывало впашешь пашенку...

Споткнувшись на второй строке, он умолк и некоторое время сотрясался всем телом, а вслед за этим повторял слова:

Бывало впашешь пашенку...

Храмов ласково гладил его по голове, утешал:

— Что же ты плачешь, Иван Никитич? Что же ты плачешь? Ты же класс-гегемон. Все — твое, а ты — плачешь. Тебе нужно плясать от радости, петь от счастья. Земля — твоя, небо — твое. Исаакиевский собор — тоже. А ты плачешь, Иван Никитич. Или тебе мало? Исаакия мало? Метрополитен бери. Плачешь? Плачет российский мужик. Раньше от розг, теперь — от тоски. Что же случилось с нами, Иван Никитич? Что?

Лашков вливал в себя стакан за стаканом, почти не чувствуя горечи и не пьянея. Только свинцовой тяжестью набухало сердце, и в очугуневшем мозгу лениво ворочалась болезненная мысль: «Что же, и вправду, случилось? Почему плачем?»

Муха под стаканом наконец упала, перевернувшись брюхом кверху и затихла.

В дверь, словно кошка, просительно поскребла Люба:

— Ваня, Ванек, иди домой. Ведь завтра худо тебе будет. Иди, выпись, утром я тебе сама принесу... Дети ведь у тебя, пожалей их хоть.

Иван только невнятно мычал в ответ, а Храмов, еще ворочая языком, пытался его выгородить:

— В чем дело, Любовь Трофимовна, в чем дело? Разве Ивану Никитичу Левушкину нельзя справить поминки по своему отчеству?.. Это даже его обязанность — представлять на похоронах убитой им старушки... Вы лучше зашли бы, Любовь Трофимовна, и украсили наше общество. Скушно без женщины... Скушно и нудно...

Лашкова потянуло на воздух, он поднялся и вышел к Любе. В темноте они нечаянно столкнулись, и Лашков против воли обхватил любины плечи и хотел было, после первого замешательства, уже отпустить ее, но она, по-своему определив его движение, вся подалась к нему и покорно пролепетала:

— Только быстрее...

В этой покорности было что-то отталкивающее, и потому, когда пришло опустошение, он только и мог сказать ей:

— Ладно, иди. Свалится, я его сам приведу.

Люба ушла, а он потащился во флигельный палисадник и лег там, прямо в мокрые от первой росы цветы.

Сквозь горячечную дрему Лашков еще слышал, как плотник ползал на карачках под своим окном и стонал:

— Люба, рассолу!

Храмов заученно вторил ему:

— Нация гибнет!

— Любушка, нацеди-и!

— Нация...

— Рассолу-у-у!

Это и было последнее, что дошло до Лашкова перед забытием.

XII

Прижатые низким небом почти к самым крышам, над городом текли птичьи станицы. День — с утра до вечера — захлебывался их гортанным клеткотом. Хрупкие листья шелестящими стайками кружились по двору. Лашков смотрел в окно, вслушивался во вкрадчивую сентябрьскую поступь, и тягостное равнодушие ко всему, словно вода вату, пропитывало его. Дни тянулись медленно и тускло, и он все свободные часы убивал время, играя безо всякого, впрочем, азарта и интереса со Штабелем в подкидного дурака. Мир постепенно обезличивался в его глазах, предметы теряли обособленные черты, все вокруг сливалось в мельтешащий хаос, в котором Штабель становился похожим на бубнового короля, а тополевы лист — на туза виновой масти. И — наоборот.

Тасуя колоду, водопроводчик жаловался ему:

— Не понимай, что русский за шеловбек? Вшера говорилъ: «Гдѣ будит заниматься мюзика мой девушка?» Сегодня — тащиль фортепьяно продаваль...

Только чтобы поддержать разговор, Лашков хмуро заметил:

— Жрать-то надо. Музыкой сыт не будешь.

— Рука ест? Голова ест?

— Она, брат, тяжелее туза и валета, не держала ни зиму, ни лето. На нее работник...

— Продаваль вещь — не ест выход. Продаль вещь, потом — што?

— Папертей у нас, слава Богу, еще в достатке.

— Папьертей?!

— Церковь, в общем.

— Ай, ай, — укоризненно цокнул языком Отто, — некарашо. Дочь великий маэстро — нищий... Совсем некарашо... Она даваль мине красенький, говорилъ: «Помогай, Штабель, отвозай фортепьяно». Я отказаль. Я не мог. Я смотрель глаза девушка и не мог. Старуха запер девушка, но я сказалъ: «Нет».

— Так все равно продала. А красенькая — она никогда не в тягость. Прогадал, Штабель.

Водопроводчик сердито поморгал выпуклыми глазами и отбросил от себя колоду.

— Какой — русски люди! Зашем мине красенький? Я не хошу красенький! Отнять у девушка мюзика за красенький. Некарашо, Васья. У тебе добрый душа, Васья, зашем ты так говоришь?.. Ты слышаль, как она кричаль?

— Слыхал.

— У мине теперь полон уший крик... Бедный девушка.

Да, Лашков слышал, как неистовствовала закрытая матерью на ключ Оля Храмова, когда из квартиры выносили пианино, но чужая боль, которую он ко всему прочему считал простой барской дурью, не могла сейчас вызвать в нем отзвука: слишком уж сильно оглушила его своя собственная. Дворник отвечал Штабелю, лишь бы не обидеть друга, но смысл разговора едва доходил до него.

Он машинально раскидывал карты на две кучки для новой партии, когда во двор черным жучком вползла новенькая с иглолки «эмка». Лашков, усмехаясь, смотрел, как «эмка» долго и неуклюже разворачивалась, пытаясь подъехать к самому парадному, но дворовая площадка оказалась мала для ее широких крыльев, и машина, с треском упершись передним колесом во

флигельный палисадник, прямо против лашковых окон, заглохла. Дворник бросился к окну выпугать водителя и уже распахнул было оконную створку, но тут же резко поперхнулся: из «эмки» выбралась поддержанная под локоть в меру лысым и не в меру пьяным комбригом Груша Царева.

Хмельная выше всякого предела, в темном крепдешиновом и явно с чужого плеча платье и туфлях на высоких каблуках, она, пошатываясь, сделала шаг к парадному, но вдруг живо обернулась и схватилась за изгородь палисадника. И высвеченные злой искрой глаза ее приклеили Лашкова к месту:

— Гляди, Вася, гляди во все зенки свои. Думал, небось, пропаду? Ан вот и не пропала. На машине ездию, шоколадки ем, ликером запиваю. Не с твоим рылом ко мне соваться. Командиры увиваются, не тебе чета. Я еще на тебя и не так наплюю. Будешь нужники за мной выносить. — Она начала хмельным речитативом, но вскоре голос ее тоскливо надломился и перешел в визгливый крик. — Кусай себе локти, Лашков... Приснилась тебе — шелудивому — такая девка, как я... Не укусишь!

— Аграфена Михайловна, Аграфена Михайловна! — опасливо поглядывая по сторонам, отдирав ее от изгороди заметно отрезвевший комбриг. — Ну, куда это годится! Такая уважительная женщина и вдруг такое несообразие... Сами пригласили, а теперь... Аграфена Михайловна, я вас прошу...

Растерянным колобком комбриг вертелся возле нее, но Груша бесцеремонно стряхивала с себя его руки, и он отступал и, обложенный со всех сторон стрельбой отворяемых форточек и ставен, затравленно озирался.

Выбежала Феня — распатланная и жалкая — и, просительно оглаживая грушину спину, залепетала стенающей скороговоркой:

— Что же ты с собой делаешь, Груша! Стыд-то какой... Берись за меня, Грушенька, пошли домой... Я тебя чаем напою... Люди ведь смотрят, Груша!

— А что мне люди! — даже не обернувшись в сторону золовки, огрызнулась та. — Я им — что — должна, что ли? — Она вызывающе обвела двор мутным остекляневшим взглядом. — Чего смотрите, как сычи? Ну, кто святой, плюнь на меня... Может, ты, Никифоров? Сколько душ еще продал? Может, ты, Цыганиха? Передачки-то родной дочери носишь? Или все к Богу ходишь, как в исполком — на бедность просить?.. А ты что, старая карга, гу-

бами жуешь? Царя обратно дожидаясь, по миру сызнава нас пустить хочешь? На-ка вот шиш с маслом, сдохнешь!

Ставни захлопывались, словно проставляли точки после каждого ее вскрика: в отношении личного нравственного хозяйства во дворе проживало мало любителей гласности.

Стоя у окна, Лашков как бы омертвел, будучи не в состоянии сдвинуться с места, уйти от грушинных слов и глаз, и стыд, жаркий, удушливый стыд упорно заполнял его, и провалиться сквозь землю, умереть он почел бы сейчас за счастье.

Штабель коснулся его плеча.

— Без обиды, Вася. Я пошел. Я сказал ей...

Через минуту Лашков увидел, как, выйдя во двор, водопроводчик подступился к военному, взял его за пуговицу гимнастерки и, накручивая ее, стал чего-то старательно втолковывать собеседнику. Тот возмущенно отстранялся, махал руками и попытался было даже, в свою очередь, насесть на непрошенного арбитра, но, стиснутый за локоть мертвой штабелевской хваткой, обмяк и нетвердо двинулся к машине. Отто еще с минуту поколдовал у водительского окошка, машина тронулась и, обдавая водопроводчика синей бензиновой гарью, выползла со двора.

Водопроводчик легонько подтолкнул Федосью Цареву к дому, та, не противясь, пошла, а он осторожно взял внезапно затихшую Грушу за плечи, подвел ее к лавочке и усадил рядом с собой. Вначале Груша слушала его лениво и безучастно, потом, с видимой неохотой, стала отвечать ему, но постепенно, все более и более оживляясь, в конце концов, сошлась с собеседником на коротке.

Сумерки придвинулись к лашковскому окну ото всех углов двора, когда Штабель поднялся и взял Грушу за руку, и она послушно пошла с водопроводчиком в котельную. Дворник напряженно следил за ними, еще надеясь в глубине души, что Груша в последний момент раздумает и вернется, и пойдет домой, но она не раздумала и не вернулась, и широкая штабелевская спина заслонила ее от Лашкова. И теперь уже навсегда.

Он даже зажмурился от тоски, саданувшей его под самое сердце, и, отступив от окна, пластом рухнул на койку. Из соседнего двора, словно из другого мира, прорывал над ним под трехрядный перебор чей-то дребезжащий тенорок:

...Сидит Ваня на печи,

Курит валеный сапог...

XIII

— Василий, Василий, открой, голубчик! Василий!

Старуха Храмова отчаянно барабанила в заматанное поземкой лашковское окно. Он рванул на себя форточку, и тряское, словно студень, водянистого оттенка лицо соседки замельтешило перед ним:

— Помоги, голубчик, я тебе заплачу... Хорошо заплачу. Я не могу с ней справиться. Ее надо в больницу. За ней сейчас придут, я звонила. Она кричит и мечется... Там Фенины дети... Они тоже кричат... А я — одна... Помоги, голубчик... Я тебе заплачу...

В одиннадцатой царило столпотворение. С широко раскинутыми руками Ольга Храмова кружилась по квартире и тоненько выкрикивала:

— Я — птица, я летаю! Как высоко я летаю! Не мешайте мне! Уйдите все, я — улетаю. — Она, будто слепая, спотыкалась о предметы и вещи, все падало и грохотало вокруг нее. — Я улетаю, не забивайте мне в голову гвозди! Мне больно!..

Из-за закрытой двери царевской комнаты Фенины ребята, в два голоса, добросовестным ревом подтягивали соседке.

Она даже не взглянула в сторону вошедших, исчезая в бывшей левиной комнате и снова появляясь на кухне:

— Отдайте мне мое небо, я хочу улететь... Ах, Боже мой, зачем вы отобрали у меня небо! — И вдруг без всякого перехода: — Почему все молчит? Почему все оглохло? — Она прислонилась ухом к старому шкафу, потом к стене, к печи, к входной двери, твердя тревожно и потерянно: «Не звучит!.. Не звучит!.. Не звучит!..»

Мать, увязываясь за ней, старалась поймать ее руку и жалобно уговаривала:

— Олюшка, цветочек мой, родная моя, все тебе будет, все, что ты захочешь. Только я умоляю тебя, пошли в комнату... Хочешь, я спою тебе, и ты заснешь... Ты же всегда любила, когда я тебе пою... Олюшка, посмотри на маму, я здесь, с тобой... Миленькая, пошли в комнату...

Ольга ускользала от нее, старуха беспомощно оглядывалась на Лашкова, все еще не решаясь прибегнуть к его помощи, и вновь принималась за причитания:

— Олюшка, доченька, пожалей свою маму, послушай меня!.. Завтра, если хочешь, мы поедем в лес. Ты же любишь бывать в лесу. Олюшка, не разрывай мне сердца, пошли в комнату... Будь умницей. Ты же всегда была умницей. К тебе это так идет...

Рев за царевскими дверями достиг самой высокой ноты.

Сопротивлялась дурочка с отчаянным остервенением. Прежде чем Лашков скрутил ее, она ухитрилась расцарапать ему шею, оборвать пиджачные пуговицы и даже дважды укусить его в плечо, но, окрученная по рукам и ногам банными полотенцами, Ольга вскоре затихла, лицо ее прояснилось, и только иссиня-белая пена в уголках губ напоминала о недавнем кризисе. Он смотрел на ее изможденное приступом лицо, на глубоко запавшие глазницы, и его с каждым мгновением все более и более охватывала необъяснимая тревога, которая, свернувшись наконец в мысль, озарила душу вещей догадкой: «Мамочка моя родная! Нет человека без своей особой струны. Отними у него эту струну, и останется оболочка немощная и дикая». И Лашкову сделалось вдруг ощутимо понятным то внутреннее омертвение, какое постепенно опустошало его в последнее время.

На кухне старуха протянула ему засаленную пятерку:

— Спасибо, голубчик... Господи, и за что только мне наказание в детях такое! Чем я Тебя прогневала?

«А ну тебя к дьяволу с твоей пятеркой», — подумал Лашков, но деньги неожиданно даже для самого себя взял и ко всему поблагодарил вежливо:

— Спасибо. Ежели что, так крикните.

Во дворе он лицом к лицу столкнулся слевой. Тот, лихорадочно блестя глазами, вцепился в лацкан его пиджака.

— Как там, Василий Прохорович? Лучше?

— Затихла. Сейчас приедут, возьмут.

Они сели на лавочку. Лева ожесточенно тер виски и, глядя в землю, самоунижался:

— Пойду, пойду сейчас же... Не съест же она меня в самом деле! Я — сын ей! Ну, на колени стану, прощенья попрошу... Ах, Олюшка, как-то ты там?... — Он порывался встать, но Лашков молча брал его за плечи и усаживал на место. — Я, я во всем виноват! Из-за меня мать продала инструмент. Разве я не знал, что им нечем жить, разве я ничего не мог дать?... Правда, мне казалось, что у матери еще кое-что есть... но что значит — казалось? Себялюбивый изверг!..

— Сам концы с концами еле сводишь.

— Но ведь я один и потом — мужчина. Ах, как это все плохо.

За воротами просигналила машина.

— Явились, — сказал, вставая, Лашков и пошел открывать.

— Сейчас! — крикнул он, оборачиваясь на пороге к Храмову. — Ты, брат, сиди и не рыпайся, а то, я вижу, как бы еще одну карету вызывать не пришлось.

Двор ожил. В дробной переключке ставен и форточек закружился в дворовом коробе колготной хоровод:

— За кем это?

— Оля-дурочка буянит.

— Давно пора. Все мозги своей пьяниной проела. Хоть меняйся.

— Да она ж тихая.

— Тихая! Второй день над нами потолок ходуном ходит!

— Совсем еще молоденькая!

— Порченная кровь. Бары... Им и молодость не впрок.

— Шанпанское-то боком выходит.

— Помилуй ее, Господи! Эх, грехи, грехи наши.

— Дитев со двора уберите, укусит ненароком!

Лева спрятал голову в колени, заткнул уши и некоторое время сидел так, мерно раскачиваясь, потом пружинисто вскочил и выбежал на середину двора.

— Замолчите, вы! — неистово взвизгнул он. — Слышите, замолчите! Иначе я разобью ваши звериные морды, слышите! Пусть хоть кто-нибудь пикнет. Скоты, скоты, скоты! Навозные черви!

Лашков еле усадил его снова, он пытался еще что-то крикнуть, но в это время из парадного вынесли Ольгу, покрытую, как покойница, клейменной больничной простыней, и когда носилки поравнялись с лавочкой, Лева, враз забыв обо всем, судорожно потянулся к сестре:

— Олюшка, как же это ты? Олюшка, а ведь мы с тобой еще в концертах вместе выступать собирались. — Он поплелся за носилками. — А все я, а все я... Олюшка-а-а!

Но около машины между ним и носилками встал высокий лопатистообразный блондин, судя по двухбортному халату — врач, и, снисходительно пожевывая мясистыми губами, взял актера за пуговицу плаща:

— Вам, милый, не следует здесь находиться. Вы сами на волосок от этого. Максимум покоя, минимум — эмоций.

Храмов схватил его за руку:

— Скажите, доктор, она скоро вернется домой? Ах, я так виноват перед ней.

— Кто знает, милый, — потускнел тот, — кто знает. Чуде-

са — не такая уж редкая вещь. — И, уже захлопывая дверцу за собой, добавил: — Только спокойнее. Не заставляйте меня заезжать к вам в гости дважды. У вас еще, милый, добрая половина жизни — впереди... Поехали.

Лева сделал несколько шагов вслед за отъезжавшей каретой, потом, повернувшись, побрел было обратно, но здесь столкнулся со стоявшей все это время за его спиной матерью, и как-то само собой получилось, что он уронил склоненную голову ей на плечо, и оба они тихо и облегченно заплакали.

Лашков, глядя, как Храмовы, взявшись за руки, минули двор и скрылись в парадном подъезде дома, прикинул про себя: «Под дрова чуланчик-то приспособить, что ли?»

XIV

Штабель вошел, шумно поставил на стол полбутылки и, не ожидая приглашения, сел:

— Вася, — голос его был тверд и ясен, — я говорил: без обиды. Ты не хотел Грюша, ты — испугаль; я — не испугаль. Я сказал Грюша: «Ставай моя жена». Грюша согласил. Теперь, ты обижал. — Он укоризненно покачал головой. — Некарашо. Ты — мой друзья. Некарашо.

В ответ Лашков, разделявая селедку, кисло промямлил:

— Да что уж теперь делить-то... Делить-то теперь нечего.

— Слюшай сюда, Вася, — рука водопроводчика накрыла его ладонь, — бывай друзья, помогай мне строить дома. Жена котельной — некарашо...

Лашков знал, о чем пойдет речь. Вот уже с неделю водил Отто во двор деловых гостей: то техника из жакта, то пожарного инспектора, то артельных жучков. Гости добросовестно промеряли угол двора между котельной и стеной соседнего строения, потом спускались к гостеприимному истопнику и вскоре выходили оттуда заметно навеселе. А третьего дня от участкового получил дворник уже совсем точные сведения: Штабелю разрешили строиться.

«Да, — подумал про себя Лашков, — вот тебе, Василий Прохорыч, бабушка и Юрьев день! Теперь еще и гвоздик в крышечку свою забьешь. И забьешь, Василий Прохорыч!»

А вслух сказал:

— Мне не на тебя — на себя обижаться. Что ж мне перед то-

бой ломаться, скребет на сердце, но это не в счет. Когда начать думаешь?

— Выходной. Твой здоровый.

Лашков, не чувствуя ни вкуса, ни хмеля, в два глотка опорожнил стакан и коротко выдохнул:

— Приду...

Лашков никогда еще не видел Ивана таким торжественно серьезным. Будто не траншеей под фундамент собирался рыть Левушкин, а уходил в дальнюю-дальнюю и неверную дорогу, из которой хоть и надеялся вернуться, но не наверняка. Закладную пил, как причащался. Прежде чем взяться за лопату, он со строгой лаской оглядел всех и тихо заговорил:

— Божье дело начинаем, братцы: дом. Здесь шутки шутить никак нельзя. Такое дело недоделать — грех. И — тяжкий. — Он перекрестился. — С Богом.

Работал он молча, крепко сжав зубы, ни на лопату не отставая от могучного водопроводчика. Тот лишь побряхтывал, стараясь не уступить дотошному плотнику. Прямо против него, на пороге котельной Груша чистила картошку. Она чистила ее, сидя на корточках, и Отто, весело орудя лопатой, цепко ощупывал ее плотные икры взглядом, в котором светилось ласковое довольство. Груша изредка остуживала его деланной укоризной, но позы не меняла, и видно было, что ей нравится эта их безмолвная игра: тридцативосьмилетний Отто Штабель переживал тот счастливый возраст, когда мужчина, особенно, если он крепок и покладист, вроде него, нравится всем женщинам от пятнадцати до пятидесяти.

Лашков, глядя на них, не ревновал, нет, обида перегорела в нем, но он все не мог избавиться от ощущения какой-то потери. Потери большой и важной. Ему словно стало вдруг чего-то не хватать для того, чтобы он мог поставить сейчас себя вровень с остальными. И это угнетение не оставляло его до самого вечера.

После шабаша Иван в один мах выбрался из траншеи, достал из топливной ямы полено, приискал в сарае две бросовых доски, чуть потесал, чуть построгал, и в три удара молотка вырос перед дворовой скамейкой стол — любо посмотреть. Груша только руками развела:

— К таким бы рукам, Ванечка!.. А я-то думала, где и рассядемся-то. Я бы из тебя, родимый, сделала человека.

Иван в ответ только безобидно хохотнул:

— Не обошел Господь. Да и ум, Грушенька, уму — рознь.

Есть ум — к делу, а есть — объяснительный, и цена им — одинаковая: один делает, другой объясняет — что к чему. А человеком я и так нахожусь, потому как — на двух ногах. Вот и, не обижайся, выходит во всем твоя неправда.

Последние дневные блики сползали с остывающих крыш. И вечер — тихий, по-июньски умиротворенный, заполнил двор, наливаясь чернильной густотой. Лица становились все неувловимее и неувловимее. Такие вечера располагают к разговору отвлеченному — без текущих злоб и забот.

Затягиваясь после еды цыгаркой, Левушкин мечтательно вздохнул:

— Однако большое это дело — свой дом.

— Да, — веско подтвердил водопроводчик.

Лашков отмолчался.

— Да уж чего лучше? — задумчиво откликнулась Груша.

— Своя крыша над головой. Не чужая. Не дареная.

— Дворца не обещаю, — уверенно объявил Левушкин, — но что сто лет простоит — об заклад бьюсь. Такого у тебя и в Вене не было.

Штабель ответил не сразу, а когда ответил, голос его держался на самой глухой ноте:

— Вене mine нишего не биль. Фронт — биль. Плен — биль. Гражданская война — биль. Вене нишего не биль.

— И домой не тянет?

— Нет, — твердо сказал Отто. — Нет.

Груша, поеживаясь, засмеялась:

— Чудаки.

— А я вот не могу, — погрустнел Левушкин, — вспомню, волком выть хочется... Все кругом орут друг на дружку, мельтешат без дела... Суета, одно слово. А там — покой. И работа не в работу: одни удовольствия. А тут и земля, я нынче понюхал, прелой рожей пахнет... Ох ты, Господи! Уеду.

Лашков не выдержал, съязвил:

— А сын? Ведь хотел, как у Меклера, чтобы на дантиста.

— Меклер — он Меклер и есть. Это по его части — в чужую пасть лазить, а у меня Борька к нашему делу будет приучен.

— Чудаки, — опять, но уже не смеясь, поежилась Груша.

Штабель накрыл ее плечи своим пиджаком и встал.

— Ми пошел спать.

Два темных силуэта слились в один и растворились во тьме.

— Тошно, — сплюнул плотник на огонек своей цыгарки.

Лашков посочувствовал:

— Тошно.

— Уйду я. Только не в деревню. Нету для меня там жизни. Вот Штабель достроится — и уйду. На заработки подамся. В Крым. Море там... Ты видал море-то хоть?

— Нет, не видал.

— И я не видал. А интерес есть.

— А чего интересу? Вода — и все.

— Поскушнел ты, Вася, нудно с тобой. Ходишь по земле, а — зачем?.. Пока.

Иван зло сплюнул и шагнул от стола.

Уронив голову на стол, дворник сидел и думал, и все думы его начинались с левушкинского «Зачем?» Русло воспоминаний расходилось протоками и ручейками, теряясь где-то у самых истоков детства.

Действительно, как и зачем прожил он свои теперешние тридцать четыре года? Куда шел? Чего искал? Плыл ли он хоть раз в жизни против течения? Один раз — в юности, когда ушел от дядьки-скорняка в депо. Всё бросил: теплый угол, посуленное приданое. Слесарил. За инструмент брался — сердце пело. В армию шел, будто на именины. Послали в пески — басмачей гонять. Басмач — враг. Значит — бей, значит — дави, значит — на давай пощады. Но в лицо этого врага довелось ему увидеть только однажды. И было тому врагу от силы лет семнадцать. И лежал этот самый враг у его — Лашкова — ног, простреленный навывлет из его — Лашкова — карабина. И что-то тогда обуглилось в нем, застыло навсегда. Тупо смотрел он на еще не высохшие капельки пота над безусой губой туркмена, и всё никак, помнится, не мог заставить себя отвернуться. Долго еще потом мерещились Лашкову эти капельки. Демобилизовался он по чистой с изуродованным предплечьем и выбитой в суставе ногой. И какая-то томительная тоска начала грызть его изнутри. В двадцать три определился дворником. Дела не было? Было. Просто подвернулся под руку жактовскому дельцу: метлу в зубы, бляху — на фартук. Гуляй по двору и — не тужи. Ни мечты — позади, ни привязанности. Чуть согрело его случайной долей и от той отказался — хлопоты напугали. А и хлопотам-то тем цена три копейки. Даже — меньше...

Ночь зашуршала над лашковским ухом: кто-то брел по двору. Темное пятно двигалось прямо на него, и все явственней, все от-

четливей становилось характерное бормотание старухи Шоколинист.

— Хоть гвоздиком пожить, хоть дощечку взять... Антихристы! По щепочке, по камушку свое заберу...

Лашков и раньше знал за ней эту слабость — собирать и стаскивать к себе разный хлам, — но только сейчас понял, какая страсть, какая корысть владела постоянно старухой. И ему почему-то сразу вспомнились капельки над безусой губой молоденького туркмена в грязной папахе. И ослепительное мгновение озарило его истошным вопросом: «Чего же мы не поделили? Чего?»

XV

Лашков любил ту часть утра, когда солнце еще не поднялось, но все уже полно им. Резкие гудки маневровых паровозов, перекличка птиц, цоканье копыт о мостовую — все это слышалось и ощущалось дворником в такое время с оголенной отчетливостью: мир словно бы разговаривал с ним наедине. Участок ему достался небольшой — метров тридцать тротуара и столько же булыжника — управиться со всем хватало и получаса. А потом он садился на лавочку, будто окунался в самую тишину, и обманчивое чувство покоя властно заполняло его. Казалось, ничего никогда не было и ничего никогда не будет, а есть — испокон веков — только эта вот долгая предсолнечная тишина, и он — в ней.

Но сегодня, едва Лашков отставил метлу, во двор, хозяйственно озираясь, вошел и встал посреди высокий сутулый бородач, судя по разношерстной и трепаной одежде, из пешей и, к тому же, дальней дороги. Опершись на палку, он чуть постоял, цепко оглядел двор и кивнул Лашкову:

— Здоров, Василий Прохоров! Запомню, небось?

Лашков даже привстал от неожиданности: Степана Цыганкова можно было разглядеть, как попа, в любой рогожке. Степан пропал тогда же — после валовской истории — и на восемь лет словно в воду канул. Правда, Калинин когда-то оговорился проходя, что, мол, цыганковский батя в домзаке еще срок заработал, — и большой, — но только не объяснил, в чем дело, и о Степане вскоре забыли.

— Здоров, — растерянно ткнул ему руку дворник. — Тебя, Степан Трофимыч, уж ты извини, похоронили сто раз. Жена за упокой поминает.

Он узнавал и не узнавал соседа: цыганковская порода сказы-

валась во всем: в медвежьей могучности, в наспех, зато щедро, вырубленном лице, в лопатистой мощи ладони. Но говорил Степан, противу обычного, уверенно, со вдумчивым проникновением, и глаза его были высвечены изнутри тихим и ровным светом.

— Посижу маненько с тобой, Прохоров, — проговорил Цыганков, умащивая между ног котомку, — да и ходу. В Москве нашему брату — под замком палаты...

— Что так?

— Паспорт не тот: со статьей.

— Зашел бы к своим. Хоть на день. Я уж участкового-то уломаю.

— Зачем? Похоронили, оно и к лучшему. Живы, небось?

— Все живы, вроде... Меньшая только твоя...

— Чего?

— В отсидке.

Степан отнесся к известию с прежней уверенной покорностью, словно все это было ему заранее известно и в свои сроки предусмотрено, а потому не так уж и важно. Он только обхватил ладонями палку и уперся в них подбородком:

— Путихли?

— Пора. Тихон жену привел. Прибавление ожидается.

— Ишь, ты. — Степан усмешливо прищурился. — Внуком, значит, обзавожусь. Ничего, и без такого деда проживет.

— Может, хоть старуху вызвать?

— Как она?

— В церковь зачастила.

— Что это за дворец такой, — Степан кивнул в сторону уже выросшего на четверть штабелевского строения, — о трех ногах?

— Водопроводчик строится... Женился...

— Вот так-то, Василий Прохоров, перетряхнут нас, собьют с панталыку, мы и взбесимся, и мечемся сослепу. Ни Бог, ни черт не разберет: куда летим, чего хотим? А глядишь, и отстаивается все кругом сызнава, входит в свою колею. Людишек рожают, церкви поют, дома подымаются — всяк к своей доле приходит. Можно сказать: перенесение святых мощей из кабака в полицию... Старцы говорят, это всегда эдак у нас: верх — сам по себе, низ — сам по себе... И токмо мы — спервоначалу перетряхнутые — уже ни к селу, ни к городу... А другой чудака сел наверху и тешится: распотрошил Рассею. А она, родимая, токмо и сделала, что замутилась, и сызнава текет, как сто лет тому...

— А что же нам-то?

— Да ты меньше думай и не сиди на одном месте. Сколько тебе веку-то! Встал бы, срубил посох поупористей и айда за Урал, али в степи.

И так вдруг легко показалось Лашкову это сделать, так просто, что он прямо-таки задохнулся неожиданно даренным открытием: «Взять да и впрямь пойти куда-нибудь. Хоть одному, а то и с Левушкиным. Ведь никто тебя, сукиного сына, не держит». Но за последнюю же мысль уцепилось сомнение, следом — другое, третье, и через минуту недавнее воодушевление свое уже виделось ему блажью.

— Куда идти-то? Идти-то некуда. Везде одинаково. Да и теперь много не походишь, враз место найдут.

— Так и там люди живут, и там ума набрать можно. Это токмо малых детей «местом» пугать пристало. Гляди, вот я — весь, не съели ведь.

— А где же побыл-то, Степан Трофимыч? — Лашков, намеренно ускользая от тяжелого для себя разговора, вцепился в последнюю цыганковскую фразу. — Видать, помяло?

— Побыл. Помяло, — неопределенно откликнулся тот и, словно засыпая, закрыл глаза и клюнул носом. — Всякое было. — Он снова поднял голову и, проникая соседа в упор, сухоовато отрезал: — Я, Василий Прохоров, там людскую душу загубил.

Этой своей резкой откровенностью Цыганков как бы определял, что ему скрывать от людей нечего, и что собеседник соответственно может решить для себя, каким образом с ним держаться.

И все, чем переполнился в эту минуту Лашков, вылилось у него в тихий вопрос:

— А теперь куда, Степа?

— Лето на ущерб пошло. К теплу пробираться буду. В Ку-таисе перезимуя, али в Батуме.

— Может, зайдешь ко мне, перекусишь, и стопка найдется.

— Не балуюсь после того. — Это степаново «после того» пронизано было сожалительной горестью, и Лашков вновь, как и давеча, проникся вдруг тяжестью, какую носит по свету этот, еще недавно совсем чужой для него человек. — А харчишки у меня водятся. Я все больше деревнями иду, а там с моими руками не оголодаешь... Не обессудь, не побрезговал бы, сам знаешь, а боюсь... Живут покойно, и слава Богу.

Он тяжело оперся на палку, встал и еще раз оглядел двор:

— Часом и сам себе не веришь, что жил тут, что жена есть,

дети, что кузня была. Вроде и не было ничего такого, и вроде живу я странником — Божьим человеком — сколько земле сроку. Чудно!

Сила, куда более властная, чем простое людское расположение, толкнула их друг к другу, и они обнялись. И, как насмерть обиженным детям, стало им от этого объятия, хоть и на короткое мгновение, но теплее и просторнее на свете.

Степан — высокий и размашистый — шагнул на тротуар и, будто подстерегавшее странника, под ноги ему из-за крыши выкатилось солнце.

XVI

Дом водопроводчика поднимался, как на дрожжах: ряд за рядом, ряд за рядом, и — честь честью — из первосортного огнеупора, в два с половиной кирпича, и, вдобавок ко всему, «под расшивку».

Сходил Иван на соседнюю стройку пару раз, перекинулся словом с мастерами, постоял у одного-другого за подручного, — и радуйся, Отто Штабель! — двинулось вверх его жилье от ловкой левушкинской руки. Водопроводчик только улыбался и удивленно качал головой, стоя подручным около него. Лашков внизу готовил раствор, и Левушкин смотрел на друга сверху и подмигивал, и подсобнику передавалась эта его стремительная легкость, с какой покорял тот любое дело.

Лева Храмов, напросившийся водоносом, обхватив коленку, сидел на лавочке и ошарашенно покачивался в такт ивановым движениям.

— Иван Кириллыч, — вдруг сказал он, и голос его был настоен восторгом и удивлением, — Иван Кириллыч, ведь это ж симфония, а не просто работа! Ведь твоим рукам памятник нужно поставить. Я не шучу, Иван Кириллыч, честное слово, не шучу. У тебя будто машинки волшебные вместо рук: что захочешь, то и сделают.

— А что, — довольно хмыкнул польщенный плотник, — и за мое почтение, и сделают.

— В тебе же, наверное, Микеланджело умирает, Иван Кириллыч, Челлини!

Левушкин не понял, но почувствовал, что опять-таки хвалят, и потому движения его стали еще более законченны и ловки.

— Куда нам до заграничных, — между делом попокетничал он, — куда нам в лаптях до них — в калошках. Мы так, абы —

не обвалилось. — И ослабившись Груше, хлопотавшей вокруг стола, лихо спрыгнул с лесов. — Перекур с дремотой!

Но не успели они рассестись, как во дворе, в сопровождении участкового и пожарника с портфелем, появился Никифоров. Он шел прямо к строению, шел, будто полководец на смотре — на шаг впереди сопровождающих — шел, припечатывая каблуками землю, и каждый его шаг предвещал угрозу и вызов, и колючие глаза были исполнены решимости.

— Да, — обескураженно почесал в затылке Лашков, — летит птица.

Штабель поднялся и, выйдя навстречу гостям, встал между ними и домом:

— Я слюшай вас.

Левушкин осторожно отстранил встревоженно застывшую на месте Грушу и тоже вышел из-за стола:

— Что этот ворон надумал? Тута все по закону. Не подкопаешься.

Никифоров едва лишь краем глаза окинул водопроводчика с головы до ног и, поворачиваясь поочередно то к пожарному, то к участковому, будто только эти двое и были здесь стоящими собеседниками, заговорил:

— Вчерась вечером сам промерял: ровно шесть метров. На цельный метр больше, чем в разрешении. С умыслом — несознательность. Хапнуть все норовят лишнего, а на других плевать. Вот я, к примеру, сараюшку хочу поставить для всякой там шурум-бурум. Чего же рядом с выгребной ямой я ее ставить буду?

Он выложил свою претензию единым духом и лишь после этого удостоил штабелевское воинство взглядом, исполненным победного вызова.

При гробовом молчании испитой пожарник с вихляющими ногами, болтавшимися в его кирзовых, не по размеру сапогах, как колотушки в ступах, раскрыл блинообразный портфельчик, вынул оттуда рулетку и старательно промерил фасадную сторону цоколя.

— Шесть метров! — неожиданно басом изрек он. — Ровно шесть.

Лашков увидел, как воловья шея водопроводчика наливается кровью и пудовые с ржавым отливом кулаки его набухают тяжестью. Дворник уже дернулся было, чтобы удержать друга, но плечи Отто неожиданно поникли, а сам он мешковато обмяк и

низко опустил голову и, неуклюже повернувшись, вяло потащился к котельной.

Иван застонал протяжно, боднул воздух и двинулся к Никифорову:

— Ржа ты, ржа, — захлебываясь, говорил он при этом, и слезы текли по запыленным щекам его и оставляли на них светлые борозды, — проедаешь жись, и нет на тебя порухи... Какая-то такая зверюга и от какого-такого шелудивого пса рожала тебя?.. Дай же я плюну на тебя, чтоб издох ты, пес!.. Что же ты нам век заедаешь?..

Плотник схватил его за грудки, тот беспомощно замахал руками, пытаясь вырваться, и неизвестно чем бы это все кончилось, если бы Калинин не втиснул меж ними руку и не развел бы их.

— Хватит. Ты, Левушкин, сядь — остудись. А ты, — он встал лицом к лицу с Никифоровым, — иди домой. Мы тут без тебя кончим. Я за твои кости не ответчик.

Никифоров для престижу немного еще потоптался на месте, поерзал злыми глазами по сторонам, но, видимо, память о крутом калининском норове еще не выветрилась у него из головы, и поэтому перечить он поостерегся. Но последнее слово, не сдержался, оставил-таки за собой:

— Щей домзаковских не хлебал, Левушкин? У меня свидетели есть. Я — с заслугами. Мы стихии не дадим разбушеваться. Вы вот, — он ткнул пальцем в пожарника, — свидетелем будете. Он меня за грудки брал!..

Пожарник обескураженно хлопал кроличьими глазами и все оборачивался, ища поддержки, к участковому и шепеляво повторял на разные лады:

— Александр Петрович!.. Ну, Александр Петрович!.. Эх, Александр Петрович!..

— А! — поморщился в ответ участковый и тут же показал Никифорову спину, чем как бы окончательно выключил его из общего разговора. — Вот что, ребяташки, — он бросил планшет на стол и сел, — ломать так и так придется: противопожарная безопасность. Дурить нечего, кладка свежая, одну стену разобрать — на день работы. А тому гоголю я еще вставлю фитилек в одно место.

— Александр Петрович, — взвился Иван, — в переборке ли дело? Скусу не осталось. Будто дерьмом облил... Из-э-э! — он отчаянно взмахнул рукой и придвинулся к Лашкову. — Вася, будь другом, дай пятерку?

Лашков обшарил карманы и, вместе с серебром и медью, наскреб около трех рублей:

— Вот, все тут... Может, не надо, а, Иван?.. Опять ведь до зеленых чертей нахлебашься... А на тебя вся надежда.

— И напьюсь! И до зеленых! — Иван сгреб деньги и поднялся. — Да рази эдакая гнида даст веку Штабелю? Завтрева ему нужник пондравится на дворе изобразить, и снова ломай? Нет на эти дела Левушкина.

— Погоди, — остановил плотника участковый и, отстегнув планшет, вынул оттуда и положил перед ним пятерку. — Отравишься только на трояк-то, исподнюю загонишь... Бери, бери, за тобой не останется. Только, советую, неси домой. Целее будет.

Левушкин сделал неопределенный жест: что-то среднее между «сами с усами» и «была — не была», и исчез за воротами.

Участковый с пасмурным сожалением усмехнулся ему вслед и заспешил:

— Вот что, Лашков, пока Штабель очухается, ты начни. Позже я приду — помогу. Через день-другой стена новее новой будет... Пошли, Константин Иванович! — кивнул он бессловесному пожарнику. — Докладывай по начальству: порядок.

Вечером к Лашкову прибежала Люба:

— Иди, зовет. И что мне с ним делать, ума не приложу? Втемяшил себе в голову: уйду да уйду. Уже и вещи собрал в ящик. Господи! Пропадет ведь! Сопьется. А как я тут с двумя-то!.. Борьке, опять же, в школу нынче. Мука мне с ним, мука. Ты уж, Вася, расстарайся. Он любит тебя, слушает. Говорит: один человек, и тот Вася...

Плотник ждал его одетый по-дорожному, сидя на краешке сундука, котомка и ящик с инструментом стоял у него между ног:

— Садись, Василий Прохорыч, — церемонно пригласил он, кивая в сторону чуть початой четвертинки на столе. — У меня к тебе недолгий разговор есть. — Судя по всему, Иван хоть и был выпивши, но в меру, и намерения имел серьезные. — Давай по чуть-чуть перед моей дорогой и боле ни-ни. Дорога, говорят, трезвых любит.

— Ванечка, — гнусаво запричитала Люба, — одумайся, дети ведь. Куда я с ними одна. Что тебя несет? Или я чем не угодила тебе? Ванечка!

Левушкин словно бы и не слышал жены, словно ее и не

было в комнате вовсе. Старательно обнюхивая луковичную головку, он обстоятельно толковывал другу:

— За сына боюсь, Василий Прохорыч, за Борьку. В школу ему нынче. Со шпаной не связался бы. Может, возьмешь заботу, присмотришь, направишь. Коли что, и поперек спины — нелишне, а? А то ить вон у Федосии сбежал, сукин сын, и до се нету. Будь другом, а?

— Я-то, конечно, со всей душой, — пробовал остудить плотника Лашков, — только, может, это все зазря, может, на боковую лучше! Утро-то, оно вечера мудренее.

— Василий Прохорыч! — строго молвил тот и встал, и напругся, как рассерженный конь. — Я тебе — наилучшему растоварицу своему — душу выкладывую, а ты мне соску суешь, будто я — теля. Рази это по Богу?

Стало ясно, что Левушкин решением своим уже не поступится, и тогда, стараясь уйти от любиного, почти нищенского заискивания, он сказал:

— К Штабелю его приставлю, пусть присматривается. Штабель, сам знаешь, петуха на гармошке играть выучит. Да и я — не оставлю.

— Ну вот, — с удовлетворительной вдумчивостью проговорил плотник и взялся за мешок, — теперь и у меня душа на месте... Проводи меня, брат, до ворот... Ну, пока, жена! Не хорони поперед времени. Срок выйдет — сам помру. Скоро буду. С гостинцами.

— Ванечка, родимай, — запричитала было Люба, — не забудь, не брось нас, кормилец!..

Но Иван сразу же оборвал ее:

— Будя. За мной не тащись, дома и попрощеваемся.

Он слегка обнял ее и тут же оттолкнул от себя.

— Будя. — Иван подошел к пологу, за которым спали ребятишки, отдернул его, взглянул и снова закрыл. — Сахаром не балуй — самые года золотушные. Пошли, Василий Прохорыч!

У ворот Левушкин вскинул мешок на плечо и протянул дворнику руку:

— Бывай здоров, Василий Прохорыч, передай Штабелю — не осилил, мол, ушел. Да и сматывал бы он лучше удочки до дому. Не будет из этого рая ни...

Он грязно выругался и пропал в ночи, но когда Лашков вернулся было идти домой, тьма прокричала ему левушкинским голосом:

— А ить, брат, про твое с Любкой мне всё ведомо, ага!

XVII

В первые дни война не имела отличительных знаков и запаха. Ничто, казалось, не нарушало размеренного ритма жизни, а лишь скупее сделались движения, тише — слова, темнее — одежды. Но уже к концу недели дворовая тишина дала трещину. В девятой заголосила Цыганиха: мобилизовались оба — Тихон и Семен.

И сразу же пошли взрываться, как хлопушки, окна и двери:

— Берут, что ли?

— Берут.

— И женатого?

— Обоих.

— Помыкают бабы горя.

— Всем достанется.

— Говорят, скоро кончим.

— «Говорят»! Полоцк сдали!

— Из стратегических соображений.

— Досоображаются до самой Москвы.

— А орет-то, орет, словно хоронит!

— Твоего возьмут, не так еще взвоешь.

— У мого — белый билет.

— Фотокарточка в аппарат не влазает или как?

— Склероз у него.

— Ха-ха, это с чего же?

— Просквозило после бани, да!

— Дьяволы! Креста на вас нету! У людей беда, а вы базар развели.

— Сама ж их кляла.

— Нынче токмо и помнить, кто кого клял...

У военных сборов — короткие сроки. Уже через час цыганковское семейство в полном составе, с плачем и шумом, выкатило во двор. Братья были заметно во хмелю и настроены недобро. Тихон едва из парадного вышел, как сразу нацелился в сторону штабелевского дома и старательно, будто по зыбким кочкам переставляя ноги, двинулся туда через весь двор. Остановясь перед порогом, он широко расставился и после убористого мата в шесть этажей начал:

— Ну что, немецкая рожка, дождался своего часу? Пустили нашему брату за нашенский же хлебушек кровья? Да и мы нынче у вас такую пустим — красильню открывай. Сто лет в красных

сподниках мужики ходить будут. Открой-ка разок пасть, я у те клыки-то пересчитаю!

Штабелевская дверь открылась, и на пороге появился хозяин со своей неизменной трубочкой в зубах:

— Я слюшай тебя. — Он стоял перед Тихоном, глубоко засунув руки в карманы штанов, и часто-часто посасывал трубочку. — Говорь.

— Как живешь, хотел узнать, господин Гитлер, почем Рассеей торгуешь? — Растерявшийся было Цыганков, почуяв за плечом братенино дыхание, снова входил в раж. — Может, по целковому за пуд? Али больше? Я тебе напоследок полный расчет сведу. — Он почти упал на водопроводчика всей своей громадой, но тут же грузно надломился повисая запястьями на штабелевских руках. — А-а-а!

Они стояли теперь глаза в глаза, и водопроводчик цедил в лицо Тихону свою ненависть.

— Слюшай сюда, Цыганьков. Ти имель кузня, я — нишего. Ти убивать из обрез люди, я — воеваль за Россию. Ти — ривач, я — рабочий. Кто Гитлер? Я — Гитлер? Нет, ти Гитлер. — Он отпустил Цыганкова и снова глубоко засунул руки в карманы и все еще часто-часто посасывал угасшую трубочку. — Оставляй минья в покой.

Жена Тихона, вся в темно-желтых крапленных пятнах после родов, повисла на рукаве мужа:

— Брось, Тишенька, уймись. Они же, супостаты, все заодно, так и смотрят, как бы со свету сжить нас. Ишь, — расставились.

Она ненавидяще зыркнула в сторону стоявшей за спиной водопроводчика Груши, но та и глазом не повела: она-то знала, что ее Отто постоит за себя.

Цыганковская поросль подняла дикий, ни с чем не сообразный вопеж, и Тихон, облепленный, как слон сывками, обеими женщинами, все еще ярясь и матерясь, пошел к воротам. Так они и выкатились со двора: клубок ругательств и крика.

В день, когда первые газетные кресты перечертили оконные стекла, к Лашкову постучался старший сын Меклера, Миша:

— Вас просит зайти папа. — Темно-желтые глаза парнишки смотрели на дворника не по-детски печально и строго. — Папа уходит на фронт.

Меклеры сидели вокруг уставленного случайной едой стола и молчали. Никто ничего не ел, все смотрели на своего главу, а тот, в свою очередь, глядел на всех. Было в этой говорящей тишине что-то гнетущее, но в то же время торжественное. Время от времени кое-кто перекидывался парой коротких, выражающих только суть мысли слов. И снова наступала тишина.

Лашкову освободили стул, он сел; хозяин сам налил ему рюмку водки и пододвинул закуску:

— Как видишь, Василий, так и не пришлось мне сделать тебе протез. Теперь мне придется все делать наоборот. Зато сколько работы будет потом. — Меклер пробовал шутить, но от шуток его за версту несло кладбищем. — Сколько работы! Миша наконец получит свой велосипед. А Майя куклу, которая сама спит.

Любые слова сочувствия в этой комнате были излишни, даже больше того, пусты, но этикет обязывал:

— Наши, говорят, румынскую границу перешли. Глядишь, и до войны-то не доедете, Осип Ильич.

— Твоим бы детям, Василий, — меклеровские глаза насмешливо посветлели и стали совсем желтыми, — да столько дороги до клада.

Лашкову налили снова, но уже одному, и дворник понял, что здесь — в этой тишине — он случайный и только терпимый гость, и что ему лучше уйти и оставить их наедине со своей бедой.

Он заторопился:

— Спасибо на угощенье, Осип Ильич. Если что по какому делу, так я всегда от души. Пускай только Григорьевна покличет.

— Будь здоров, Василий! — сказал Меклер-старший, и несколько пар совершенно одинаковых глаз, соглашаясь с ним, опустились долу.

Лашков пошел к двери, и его провожало молчание — долгое и глубокое.

.

В эту же ночь Лашкова разбудил участковый:

— Вставай. — Калинин был непривычно для себя взбудоражен. — Живо к Штабелю!

«Что еще стряслось? — гадал, одеваясь, дворник. — Обокрали? Или Грушка что натворила? С нее станется. На барахолке с утра до ночи торчит, а теперь за это дело ой-ой-ой!»

Желтый прямоугольник света от распахнутых дверей штабелевского жилища выхватывал из темноты переднюю часть по-

трепанного «газика». Шофер-военный сонно поклевывал над баранкой носом.

Штабель с помятым ото сна лицом мучительно вчитывался в какую-то бумагу, а молоденький, видно, даже еще и не брившийся лейтенантик нетерпеливо топтался на пороге.

— Нам еще в два места, гражданин Штабель, — лейтенантик говорил внушительным басом, то и дело сверял свои часы на металлической браслетке со штабелевскими ходиками и с достоинством покашливал в ладошку; в общем, всюду старался выглядеть как можно более деловым, — все верно: указ — есть указ. Наше с вами дело подчиняться. Мера эта временная и на ваших гражданских правах не отражается.

Водопроводчик не слышал его. Он с усилием морщил лоб, вдумываясь в смысл того, что лежало перед ним, и вполголоса бормотал:

— Я воевал за Советски власть... Я имел рана... Херсонь... Уральск... Зашем я ест виноват за Гитлер?.. Зашем мне надо уезжать от моя жена, от мой дом?

— Ваша жена, — пробовал пробиться к его сознанию лейтенант, — может выбирать: ехать или ждать вас здесь. Вы сообщите ей об этом из отведенного вам местожительства.

При упоминании о жене Штабель встрепенулся:

— Ньет! Она уехал рожаль деревня. Не надо беспокоиль. Зашем? Я хошу здоровый ребьенка. — Он вскочил и начал лихорадочно собираться. — Што я могу взять себе дорога?

— Лишь необходимое. Это — временная мера. В целях вашей же безопасности. Скоро вы вернетесь.

— Да, да, — машинально ответил ему водопроводчик, как бы припоминая, куда могло запропасться это «самое необходимое», и что оно вообще обозначает. Он неуклюже двигался по комнате, хватаясь то за одно, то за другое. Но вдруг в отчаяньи махнул рукой. — Я не буду нишего брать. Я поезжал так.

— Как хотите, — с готовностью воспрянул лейтенантик и уступил Штабелю дорогу впереди себя. — Это просто короткая военная необходимость.

Садясь в машину, Отто сказал Лашкову:

— Васья, скажи Грюша, я скоро, ошень скоро буду дома. Грюша не надо волнений. Я буду написайт скоро письмо...

Лейтенантик, окинув подозрительно молчаливый двор, доверительно, как единственному человеку, с которым они — по-

священные в святая святых государственной политики — могут сейчас понять друг друга, посоветовал участковому:

— В случае разговоров соответственно объясните населению.

— А-а-а-а! — неопределенно махнул Калинин рукой. — Ерунда.

Удивленные глаза лейтенантика поплыли в ночь, и вскоре «газик» с водопроводчиком Отто Штабелем сигнализировал где-то у ближнего поворота.

— Александр Петрович? — только и нашелся сказать ошеломленный дворник.

— Указ, — немногословно объяснил тот. — Лиц немецкого происхождения выселить в определенные места жительства.

— Австриец он, Александр Петрович, австриец, и в паспорте он на австрийца записан.

— Это, Лашков, одно и то же. Гитлер тоже — австриец... А в общем-то б.....во, конечно. — Лицо Калинина трудно было разглядеть в темноте, но по тому, как уполномоченный прерывисто и гулко дышал, чувствовалось его жгучее ожесточение. — На-ка вот, передай Аграфене. Там все в целости.

Он тырком сунул Лашкову ключи от штабелевского дома, и, уже в который раз, между ними легла ночь.

XVIII

Участковый сидел у раскаленной добела времянки в комнате дворника, отогревал посиневшие руки и хрипло раздумывал вслух:

— Его, чорта, голыми руками не возьмешь. Да и кто ее знает, может, померещилось Федосье. С голодухи-то оно и не такое померещится. Оперативников просить? А вдруг нет там никакого Цыганкова, а коли и был, то второй раз на одно место не придет? Значит, сядем в калошу, Лашков. Вот она какая штука. Куда ни кинь, всюду «пусто-пусто»... Придется, все-таки, нам с тобой вдвоем попробовать... Оружием владеешь?

— Вторую группу не деревянным пугачом заработал.

— Пистолет я тебе дам. Припас. Однако это на всякий случай, его надо живьем брать. Иначе — пропали карточки. Да и подельников его — свищи. Вот что.

Но сколько Калинин ни тщился разазартиться, сколь ни ерзал в натужном возбуждении по табурету, от Лашкова не ускользнуло его внутреннее беспокойство. И в том, как он чаще

обычного кашлял, и в том, как нервно и резко похрустывал костяшками пальцев, и в том наконец, как постепенно все удлинял он задумчивые паузы между фразами, сквозило какое-то сомнение, болезненная червоточинка какая-то. Уполномоченный даже и не говорил, а скорее допрашивал самого себя.

Дело, между тем, представлялось ясным. Третьего дня ограбили домоуправление, взяли около трехсот хлебных и продовольственных карточек. Собственно, история эта целиком лежала на совести оперативников, и Калинин мог спокойно есть свой хлеб, но сегодня утром Федосья Царева побожилась ему, что видела Семена Цыганкова на Преображенском рынке, а еще раньше, с неделю, примерно, тому, поднимаясь развешивать стиранное, столкнулась со старой Цыганихой на чердачной площадке, и та, вроде бы, несла узел с бельем, из которого торчала дужка чайника. К тому же, новая соседка Цыганковых, учительница Хлебникова, заметила как-то о своих соседях, что, мол, живут они не по военному времени сытно.

О розыске дезертира Семена Цыганкова участковому было сообщено еще с осени. Теперь же, одному ему ведомыми комбинациями, Калинин, на свой страх и риск, установил связь между этими, казалось, совершенно разрозненными фактами и приготовился дать бой. Еще в ту пору, после ареста Симы, участковый поклялся вывести это семейство со своего участка, но сейчас, когда — и ему это было известно наверняка — один из Цыганковых у него на мушке, он досадливо морщился и все удлинял задумчивые паузы между фразами.

— Своих я всех перетряхнул... С пристрастием... «Карася», «Змея Горыныча», «Боксера», «Меркула», «Серго»... Знаю я их: будь рыло в пуху, кто-нибудь да раскололся бы... Больше некому — он... И, однако, сам я хочу ему в очи глянуть... И гляну... Только живьем надо, живьем...

Встал и потянулся за шинелью, но и одеваясь, все еще как бы раздумывал и даже застыл на мгновение полуодетый, но потом скулы его решительно вздулись, и он взялся за дверь:

— Значит так, Лашков, блокируешь крышу двадцать седьмого, а я отсюда его на тебя загонять стану. — И все же, на пороге участковый опять обернулся и опять замялся в нерешительности. — А, может, плюнуть, Лашков? Пускай оперативники расхлебывают. Что мы его, будто зверя, обкладываем.

Но последние слова доносились уже из сеней: Калинин все же не смог перебороть искушения и вернуться обратно.

Во дворе они разделились, и Лашков, зябко ощущая в кармане ватника холод пистолетной рукоятки, двинулся к соседнему дому. Крыши обоих домов смыкались и поэтому представляли собой удобное во всех отношениях убежище для человека, у которого временные разногласия с правосудием.

Лашков забрался на чердак и стал ждать. Там — за стеклами выводного окна, под низким январским небом — раскинулся город. Трудно было поверить, что за этим хаотически темным нагромождением жестяных крыльев таится жизнь. И Лашков подумал, что, вот, живет он в своем дворе, никуда не выезжая, и, все-таки, успел узнать много такого, чего раньше не знал. Люди рождались и умирали, людей куда-то уводили такие же, им подобные люди, люди влюблялись и сходили с ума. И все это было при нем, на его глазах. Но ведь многого ему и не удалось увидеть. Большую часть жизни люди старались провести наедине с собой или с близкими. Выходит, Лашкову не хватило бы и пяти жизней для того, чтобы узнать все об одном лишь дворе. А сколько их — таких дворов в городе, в стране, в мире наконец! И на все дворы — одно единственное небо. И разве трудно хоть однажды, сразу всем вместе, посмотреть вверх, чтобы вот так же, как сейчас он — Лашков — пронзающе ощутить тоску по доброму слову и родной душе?

Последнюю его мысль перебил крик, отрывистый и резкий:
— Стои-и-й!

И сразу же соседняя крыша загрохотала под подошвами кованых сапог. Лашков, спустив предохранитель, выскочил наружу, уперся ногой в железный сток и дал предупредительный выстрел. С непривычки остро отдалось в плече, и рука, будто отсиженная, зашлась игольчатой истомой. Крыша на мгновение утихла, но только на мгновение, затем топот снова обрушил тишину, и смутный силуэт стал приближаться к Лашкову. Он выстрелил еще раз и подумал: «Ну куда прет, черт?»

— Стой, пристрелю! — Калининская хрипотца дробью рассыпалась в морозном воздухе.

Беспорядочный грохот затих, шаги беглеца приобрели хрупкую отчетливость: раз... два... три... четыре... И вдруг из-за железного гребня выплеснулся резкий полукрик-полустон, как будто человек задохнулся в ужасе, и следом за этим оттуда, снизу, донесся грузный шлепок, похожий на звонкую пощечину.

На душе у Лашкова вдруг сделалось жутко и пусто. Ситуацию он прикинул мгновенно: к двум этим домам одним своим

водостоком примыкал третий, выходявший лицевой стороной на соседнюю — параллельную — улицу. Правда, до него был просвет метра полтора, может быть, немного более. Ребяшня иногда прыгала, на спор, оттуда — сюда, но только летом, зимой такой трюк наверняка оказался бы последним для любого исполнителя. Об этом знали и Лашков, и участковый, но не брали этого варианта в расчет. Соломинка пришлось в пору лишь цыганковскому страху. Но она, как и все соломинки вообще, не спасла его. Поэтому, когда они сошлись на стыке двух крыш, им не надо было ничего объяснять друг другу.

Во дворе Калинин безучастно сказал дворнику:

— Добеги до отделения, скажи, пускай едут с экспертом и каретой, а я у тебя покуда погреюсь. Зябко чтой-то мне.

Сказал и пошел, и странно уж очень пошел, словно тень — одновременно зыбко и порывисто.

.

Лашков вернулся минут через пятнадцать, но, едва перешагнув порог, замер и на полуслове осекся и почувствовал, как у него холодеют кончики пальцев и вязкая тошнота подступает к горлу.

Участковый словно бы спал или вслушивался во что-то, приложив ухо к столу. Но по тому, как беспомощно свисали вдоль колен его руки, по бесформенности губ и тому особенному безмолвию в комнате, которое сопутствует смерти, можно было судить о случившемся. Тоненькая багровая струйка из-под виска лужицей собралась около откатившейся в сторону шапки и уже окрасила кончик ворса.

Выражение лица у Калинина было мягким и чуть озадаченным, словно в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он успел удивиться, что все это так легко и просто.

XIX

Лёва Храмов лежал, обложенный со всех сторон подушками, и оттуда, из пуховой глубины, вещал Лашкову:

— Мы слабы в своих желаниях. Нам всего подавай сейчас, немедленно, еще при жизни. А когда нам отказывают в этом, мы, в конце концов, стараемся удовлетворить свои страсти силой. И так из поколения в поколение, из века в век льется кровь, а иде-

алы, ради которых, якобы, льется эта кровь — увы! — остаются идеалами. Переделить добытое, конечно, куда легче, чем умножить его. И к тому же для этого требуется терпение и труд. А терпения-то и нет, и работать не хочется. И пошло: «Бей, громи, однаво живем!» Ты понимаешь меня, Лашков?

Дворник поспешно соглашался. Дворнику было все равно. Он слушал актера из жалости, чтобы хоть как-то облегчить ему существование. Храмовский организм уже не реагировал на морфий, и в бесконечных разговорах Лёва изо всех сил старался утолить боль. Саркома день ото дня укорачивала его дорогу к смерти. Лашков часами просиживал около дивана больного, и более благодарного слушателя для своих пространных монологов тому нечего было и желать.

Старуха с сыном уже давно перебралась во флигель, обменявшись с модисткой Низовцевой, разумеется, не без придачи. Сама Храмова не то чтобы опустилась, но стала в силу обстоятельств проще, трезвее смотреть на вещи. Схоронив дочь, она поступила санитаркой в больницу, и с тех пор дворник стал бывать у них запросто как старый и добрый знакомый.

С Лёвой их роднило гложущее чувство обреченности, сознание своего близкого конца. Они не слушали, а только слышали друг друга, но оглушенное словами, потоками слов одиночество призрачно отодвигалось, временно даруя им иллюзию полноты существования. Каждый из них был нужен, необходим другому, и еще неизвестно, кто кому более.

Тонкие, с синеватым налетом пальцы актера нервно тербли кромку одеяла. Возбуждаясь, он бледнел, глаза западали еще глубже, и частая изморось выступала у него над верхней губой.

— Нам все надо начинать сначала, Лашков, понимаешь, сначала? Иначе кровь никогда не кончится, иначе мы снова заберемся на деревья. Мы должны, понимаешь, должны научиться мыслить тысячелетиями, а не собственным человеческим веком. Надо приучиться радоваться счастью и благоденствию потомка и приучить себя трудиться ради этого... Трудиться, Лашков, трудиться! И хватит с нас болтунов, хватит с нас господ Опискиных, возмнивших себя могучими деятелями... При входе в жизнь надо спрашивать у человека: «А что ты умеешь делать сам? Делать непосредственно руками или талантом? Хлеб, дома, книги, искусство? Хватит с нас малограмотных вождей! Мы сумеем прожить и без них! Только надо работать, работать! Ты понимаешь меня, Лашков?

Лашков поддакивал, но думал о своем и даже ухитрялся краем уха вслушиваться в тихий разговор на кухне, где Храмова встречалась с доктором.

Она:

— Может быть, ему, все-таки, лучше в больницу?

Он:

— Как знаете, матушка, как знаете, только я не советую. Да-с.

Она:

— Неужели мне даже не надеяться?

Он:

— Эх, матушка, мы с вами одной ногой там, так что уж нам-то возвышающим обманом тешиться?

Она:

— Вместо него хоть сейчас...

Он:

— Ах, как нас с вами приучили, друг мой, в свое время к красивым жестам! Не надо, матушка. Не те времена... А в больницу, что ж, можно и в больницу, да не с его нервной машиной в наших казенных больницах лежать... Сами понимаете, наследственность... Ну а вот от этого увольте, друг мой, совсем ни к чему-с. Да-с... До свидания.

Грохнула входная дверь, и было слышно, как старуха грузно опустилась на стул и затихла. А Лёва, тем временем, все более возбуждаясь, силился перекричать боль:

— Но чтобы начать — нужен художник, художник, не то что мы — пигмеи. Нужен гигант, который придет и скажет: все — люди, все — братья. Но как он это скажет!.. Ах, как он это скажет!.. Об этом многие говорили. Христос говорил, и много-много других... Но не так, не так!.. Надо проще и понятней... Ах, как это нужно сказать... Чтобы в каждого проникло... Чтобы каждый вдруг тяжело заболел этим и сам стал драться за свое выздоровление... Да, да, это должно быть, как инфекция... Все, все чтоб вдруг, сразу увидели себя сами... Увидели и заплакали, и обнялись бы... И сказали: «Начнем все сначала»... Художник нужен... Художник только сможет организовать гармонию... Одним словом... Одним единственным словом... Он найдет его, найдет! Оно будет просто, как дыхание... Понимаешь меня, Лашков?

Актер задыхался. Произнося последние слова, он оторвал голову от подушки, напрягся весь, но тут же обмяк и в изнеможении закрыл глаза. Через минуту дыхание его выравнялось, и бе-

лое от возбуждения лицо приняло свой обычный землистый оттенок: Лёва спал.

Лашков поправил на нем одеяло и вышел на кухню. Старуха Храмова, безучастно глядя впереди себя, сидела у плиты. Она даже не заметила его, не шелохнулась. Он сказал:

— Заснул.

— А? — вскинулась она.

— Заснул, говорю.

— А-а...

Храмова застыла в прежней позе, и, выходя в сени, Лашков подумал, что это, наверное, не так просто: пережить своих детей.

XX

Лашков сидел под грибком в левушкинском палисаднике, и плотник тягуче выводил перед ним одну и ту же мелодию:

Я еще молодая девчонка,
Но душе моей тысячу лет...

Гармошку он держал, словно чужую — на краю коленки и, уставившись в дождливое небо оловянными от хмеля глазами, упрямо твердил:

Я еще молодая девчонка,
Но душе моей тысячу лет...

Грибок протекал, мутные мартовские капли, разбиваясь о его лоб и переносицу, стекали по щекам, и потому казалось, что Иван плакал. Но это только казалось. В действительности же он был просто матёро и глухо пьян. С Лашковым плотник обычно не говорил. Все у них за двадцать с лишком лет знакомства было переговорено и передумано. Они изъяснялись на языке знаков. Плотник, к примеру, откидывал мизинец в сторону и поднимал большой палец вверх и вопросительно смотрел на друга. Тот молча кивал, и оба начинали выворачивать карманы. После трех-четырёх таких сеансов друзья упивались до плотного одурения, и Левушкин хватался за свою затрепанную трехрядку. Играл он на ней всякую всячину ровно по куплету. Гармошку эту Иван приобрел лет десять назад, во время своих постоянных странствий «за длинным рублем», и с тех пор не расставался с нею.

В комнату Люба их по обыкновению не пустила, и они пили здесь — под грибком, и мутный мартовский снег оплывал над ни-

ми, и все у них было позади: молодость, надежды, жизнь, да и, собственно, разве подходило назвать жизнью цепь всплесков боли и отчаянья? Нет, не саднила больше у Ивана душа, даже привычка говорить «по Богу» давно забылась. Он словно оброс весь дикой и непробиваемой глухотой ко всему, и ничто больше не могло вывести его из этого мертвого равновесия.

Небо над ними набухало сырой тяжестью, все вокруг, сплюснутое ею, как бы втискивалось в землю, и, казалось, там — за серой толщей — уже давно ничего нет: ни солнца, ни звезд, ни самого неба, а есть только пустота — мутная и липкая, как этот дождь.

Тусклая, как старая щука, Люба — голова дынькой, облепленная грязно-седой паклицей — зыркала на них из-за окна без искры света глазами, и исступленное бормотание ее карабкалось через форточку во двор. Но не ей, не ее осатанелой злобе под силу было пробиться в обугленную до дна иванову душу.

Когда плотник в третий раз стал проделывать свою пальцевую манипуляцию, во двор с низко опущенной головой вошел Никифоров в торопливом сопровождении всхлипывающей половины. Шел он против обыкновения медленно, ступал тяжело, и голова его была низко опущена. За годы он много оmaterел и раздался вширь. Капитанские погоны ладно вливались в его подбровные плечи. Поровнявшись с палисадником, Никифоров неожиданно вскинулся.

— Это что же такое, а? — Набрякшие никифоровские щеки, матово синяя, тряслись. — Это как же понимать прикажете, а?.. Такой день, а, такой день, а вы здесь водку жрете! Да вас, сучьи дети, да вас... — Он задыхался и, кинувшись к Лашкову, схватил его за плечи и начал бешено трясти. — Где флаг? Где флаг, вражья твоя душа, я тебя спрашиваю! — Он вдруг отпустил дворника и затрясся, зашелся в плаче. — Сукины дети!.. Сукины дети!.. Маша, Маша! — Никифоров повис на жене. — Какие муки Он за всю эту шантрапу принял, какие муки!.. Он их из грязи, из навоза вытащил, в люди вывел, а они водку жрут!.. Лакают!... — Никифоров снова встрепенулся и снова кинулся к Лашкову. — Гнида, гнида ты! Да я тебя враз шлепну! — Его подрагивающие пальцы уже ерзали по пуговице на заднем кармане галифе. — Грязь!.. Чуешь?

И как Лашков ни был пьян, понял, что смерть и впрямь щечочет его под носом: недаром все сокольническое жулье икало от одного имени начальника режима Бутырской тюрьмы Никифоро-

ва. Но вдруг вялая левушкинская рука оттолкнула дворника в сторону, и сам плотник встал впереди, заслонив его от соседа, и брошенная им сразмаху наземь гармошка коротко рыданула.

— А ты меня, — тихо и как бы даже просительно начал Иван, — меня хлопни из своего пугача. — Но постепенно лицо его наливалось кровью, и вскоре он уже почти кричал в лицо оторопевшему Никифорову. — На, хлопни! Я ее — жизни — не видал, да и не увижу боле. Так зачем она мне — жисть. Ты ее с казенными щами сожрал... Я сына хотел на дантиста выучить, а где он — сын, а? И по твоей милости... Я весь век свой по расейским пристаням горе мыкаю... Из-за тебя, собаки! Так на — хлопни! — Он рванул на себе ворот косоворотки. — Что же ты?

Жидковат был на душу начальник режима, не выдержал натиска, взял тоном ниже:

— Ну, ну, ты не очень распоясывайся. В случае, лишний карцер у меня и для твоей милости найдется. Нальют zenки, несут чорт те знает что. Я еще с тобой в другом месте поговорю. — И уже отходя, бросил через плечо Лашкову: — Траур, чорт, траур. Чтоб флаг у меня одним мигом был вывешен. Проверю. — И пошел. — Вражье племя...

Левушкин схватил с земли гармошку и, уже совсем издеваясь, прогорланил ему вслед:

Как у наших у ворот
Все идет наоборот:
Воспитательный народ
Жрет дерьмо и не блюет.

— На-кось, выкуси!

XXI

Раньше — до болезни — Лашков не замечал множества самых занятных вещей: вот хотя бы солнца. Оно существовало для него в будничной слитности со всем окружающим, такое же привычное, как дождь, ветер, воздух. Но с недавних пор оно стало жить своей, отдельной от него — Лашкова — жизнью. Солнце теперь можно было услышать, ощутить обонянием и даже потрогать наощупь. Солнце работало и уставало. Солнце, с удивительной целесообразностью передвигалось с места на место. Солнце радовалось и негодовало. У солнца имелись друзья и враги. А Лашков оставался в стороне, отделенный от всей этой благодати смертной чертой болезни.

Лашков словно открывал для себя мир заново. Казалось, не было в этом дворе места не знакомого ему до мельчайших подробностей, но предметы и вещи, существуя теперь сами по себе, — вне его — начали представлять перед ним теми же, что и в младенчестве, загадками. Вот вроде в котельной Лашков провел чуть не четвертую часть жизни и, можно сказать, сросся с запахами ржавчины и теплого шлака, а сейчас она темнеет прямо против его окна, таинственная и зовущая, как вход в преисподнюю. Как ни странно, но старик с остротой первооткрывателя вновь и вновь осмысливал вроде бы сотни, тысячи раз усвоенные понятия: «забор», «дерево», «мячик». И каждое из них впервые открывало ему свои удивительно простые тайны.

«Но ведь всегда, всегда было так, — рассуждал он. — Неужели нужна смерть, чтобы заметить, почуять все это?» И ему стало не по себе. И, как обычно в таких случаях, он потащился вниз — во двор, чтобы замять, заглушить в ходьбе, в случайном разговоре внезапно подступившую к сердцу жуть.

Во дворе около колонки, слегка подрагивая, урчал бульдозер. Бульдозерист — долговязый парень в берете и брезентовой робе мыл под краном резиновый сапог. В блистающем зеркале голенища плыло небо.

— Опять копать? — опускаясь на скамью, прямо против парня, спросил Лашков, спросил не ради любопытства, а так, чтобы завязать хоть какое-то подобие беседы. — Пятый раз...

Бульдозерист не оторвался от своего занятия и даже не взглянул в его сторону. Он только мотнул головой в угол двора, где лепилась к котельной заброшенная хибара Штабеля, и деловито пояснил:

— Вон тот «колизей» сносить буду. Конторе кирпич нужен. Вот так, старик.

У Лашкова сразу же отпала всякая охота к разговору. Домишко этот о двух окнах он считал частью себя самого. Вместе со Штабелем и Ваней Левушкиным Лашков вложил в него не только труд, но и частичку того, что остается после. После тревог и забот, после буден и праздников, после войн и замирений. Но вот пришел этот деловой сопляк в брезентовой робе, и ему наплевать на водопроводчика Штабеля и на его хибару. Ему дела нет до того, что останется после испитого старика на лавочке. Конторе нужен кирпич, и какие еще там могут быть тары-бары.

— Ну-ка, папаша, — парень одним махом оказался у руля, — осадил назад, а то задену невзначай.

Машина вздрогнула и, медленно разворачиваясь, пошла стальным крылом скребка прямо на цель. Мимо Лашкова проплыл капот, потом распахнутая настежь кабина, и в ее прямоугольнике — резиновый сапог, в дымящемся зеркале которого высыхало небо.

Дом умирал, словно живое существо. Когда скребок нижней бритвенной кромкой врезался ему в цоколь, он, едва заметно пошатываясь, удержался. Но бульдозерист чуть потянул на себя рычаг, стальное лезвие вошло еще глубже, и дом наконец надломился и рухнул, вобрав в себя кровлю. И только грязно-белая пыль костром взметнулась над ним к такой же, как и тридцать лет назад, по-июньски высокой и праздничной голубизне.

XXII

Лашков вышел из пивной в том благостном расположении духа, какое охватывает всякого сильно пьющего человека сразу же после опохмеления. Все виделось ему до смешного простым и предельно понятным: прошлое и будущее, добро и зло.

Он долго и с пьяным сочувствием следил, как на углу Рыбинского проезда поджарый, крепкого вида старик в парусиновой кепке приставал к прохожим. Цепкими корявыми пальцами старик хватал то одного, то другого за локоть и начинал со стереотипной фразы:

— У нас в Череповце...

Все испуганно шарахались от него, видно, полагая его за пьяного или сумасшедшего. Да и не до чужой нужды, когда своей по горло. Кое-кто, правда, советовал ему:

— Ты, папаша, того, поспал бы часок-другой, что ли?

Старик только отмахивался от них и снова пускался в свое лихорадочное кружение:

— У нас в Череповце...

И все повторялось сначала. Постовой от продмага, наблюдая за стариковыми восьмерками, уже начал было проявлять умеренную, впрочем, нервозность, когда Лашков решил спасти череповецкого горемыку от неминуемой каталажки.

«Подумаешь, — заранее утешил он себя, — ну, дам ему рубль, ну, два, выпьет старик, прояснится и пойдет своей дорогой».

Но, видно, что-то в Лашкове не соответствовало для него, старик лишь скользнул по его лицу своими круглыми блестящими

глазами и пошел себе мимо. Лашков добродушно окликнул его:

— Ну, что там у вас в Череповце, выкладывай.

Старик обернулся, сурово посмотрел на дворника потемневшими глазами, но вдруг жестяные морщины его немного обмякли, и он, бесшабашно махнув рукой, — мол, была не была, — вцепился в его локоть.

— У нас в Череповце, понимаешь, дорогой товарищ, никакой правды нету...

И старик, как, примерно, и ожидалось, поведал Лашкову древнюю байку: «Осудили шурина-сапожника ни за что, ни про что, а шурин инвалид, от войны пострадал, ко всему шесть душ детей — мал-мала меньше. Говорят: кожа, а там и кожи-то было — на головки безногому!» И так далее, и в том же духе. Старик рассказывал все это со множеством подробностей, снабжая каждую из них соответствующей справкой или свидетельством. Потом он с час порол и о своих заслугах, вроде: «В гражданскую тифью переболел и вообще — боролся».

В заключение старик поставил вопрос ребром:

— Так ты мне скажи, столичный ты человек, есть у нас в Череповце правда аль нету?

И сила его убежденности была такова, что Лашков, хотя и не понял из рассказанного ровным счетом ничего, должен был согласиться:

— Нету.

Старик облегченно вздохнул, щербато заулыбался, встал:

— Ты прости, дорогой товарищ, ты мне спервоначалу показался... Как бы это... Железа в тебе маловато, что ли. В общем, виду этакого усидчивого в твоей конфигурации нету. А вот теперь вижу — промашку дал. Умственно ты обо всем рассудил, и за это тебе, дорогой товарищ, благодарствую. В Череповце будешь, Федора Терентьева Михеева спроси, любая собака знает. Чайку попьем, белой головкой закусим.

«Ну, проси же, проси — не откажу!» — посмеивался про себя Лашков, а вслух подбодрял:

— Поистратился, видно, дорога-то дальняя?

Тот неожиданно посуровел и назидательно объяснил дворнику:

— Я, дорогой товарищ, есть мастеровой, а мастеровые без денег не бывают. Денег у меня хватает и тебе занять могу, без отдачи.

Лашков был озадачен, но позиций не сдал:

— Наверное, и не знаешь куда ткнуться? Москва, брат, она хитрых любит.

Старик вытянул из кармана пачку квитанций «Мосгорсправки» и любовно перелистал ее у него перед носом:

— А вот здесь у меня вся Москва в кармане, а насчет хитрости, так я не токмо палец, гвоздь вершковый перекушу по надобности... В общем, покуда. Благодарствую на душевном разговоре.

И старик бодро зашагал вдоль тротуара по направлению к Сокольникам. Спокойно так, по-хозяйски зашагал. А Лашков вдруг подумал, что хорошо бы сейчас догнать старика и рассказать ему все о себе, о своем дворе, о Штабеле и о старухе Шоколинист и еще о многом, многом другом. И еще подумал он, что оно — то самое доброе — храмовское слово, которое все на свете может переменить заново, и ходит, наверное, в каждом человеке по свету, раз вот так легко он — Лашков — смог сейчас облегчить старика. И ему вдруг стало не по себе от этой пронзительной догадки, и он не выдержал, зашел в ближнюю скупку, и снял с себя пиджак, и бросил его на прилавок:

— Сколько не жалко?..

XXIII

Душной июльской ночью Лашкова разбудил стук в окно. Он припик к стеклу — глазам не поверил и сердце зашлось удушливым жаром: Штабель.

Прежде чем обняться, друзья в нерешительности пошарили друг друга руками, словно проверяли обоюдную осязаемость, а потом долго не могли разомкнуть плеч.

— Да, — сказал Лашков.

— Да, — сказал Штабель.

И снова повторились:

— Да.

— Да.

И каждое их «да» вбирало в себя дни и годы, дожди и солнце, общие радости и общие обиды, и еще много такого, что можно лишь ощутить, но никак не высказать.

Потом они сидели за столом, и Штабель, вдумчиво потирая ладонью чернильное пятно на клеенке и вглядываясь в Лашкова, теми же спокойными, только поубавившими блеска глазами, говорил:

— И ест власть, и ест порядок. Я высегда уважалъ власть

и порядок. Но дивенадцать лет ни есть порядок. Я бросиль тайга, я бросиль — семья... Да, да, я жениль... Тайга я бросиль — семья... Да, да, я жениль... Тайга трудно без семья... У меня диеты. Я не хотел им тайга. Я пришель сказать влясть: дивенадцать лет — не есть порядок. Я верю влясть. Я верю всякий влясть. Влясть — порядок. Мои диеты тайга — не ест порядок.

Лашков смотрел на друга и удивлялся его внешней живучести. Водопроводчик даже и не изменился вовсе, только немного одрябла шея да плечи по-стариковски чуть вогнулись вперед, однако, не потеряли при этом своей обычной упругости. Правда, в том, как дрожали его мясистые пальцы, обхватывая лафетник, чувствовалось, что и для него годы не прошли даром.

О многом хотел рассказать дворник Штабелю, очень о многом, но хоть и прошло столько лет, новости его оказались не длиннее воробьиного носа.

Груша? Ну что ж Груша! Погоревала, погоревала, да и успокоилась, к Фене перебралась. Живет, сильно прихварывает. Иван? Так что ж Иван! Пьет. Вербует. Сын с малолетства в колонии. Актер? Помер, брат, актер, и давно. Калинин?.. В общем, нету больше Калинина. Меклер? Жив Меклер. Коронки ставит. И протезы — тоже...

Лашков осекся: в распахнутое окно вошел и заполнил комнату знакомый никифоровский говорок. Он струился сверху, из дома напротив:

— Что такое труд? Труд, я спрашиваю, что такое, сукины дети? Труд есть дело чего, а? Чего, я вас спрашиваю, паразитское племя? Дело чести. И еще чего? Молчите, преступные выродки? Дело доблести и геройства. Кто не работает, тот — что? Вот я тебя, рыжая скотина, спрашиваю? Тот — не ест. А вы — чего? Чего — вы? Вы — не работать? Ветрогоны меченье! Так я вас приведу к исполнению. У меня на всех трюмов*) хватит. Всех приведу к исполнению...

В утренней полый благости голос этот казался до неправдоподобия нелепым.

— Что это? — тревожно спросил Штабель.

Лашков хмуро усмехнулся.

— Твой крестный балует. Тронут малость. В начальстве хил, а нынче вот... Всякое утро, чуть свет, упражнение производит пе-

*) Трюм — карцер. Жаргон.

ред окошком. Когда что, а больше — это вот. С других улиц дворники слушать приходят. Есть любители.

Штабель сказал:

— Да. — И снова это «да» определило для них обоих очень многое.

А Никифоров вещал с высоты:

— Какие песни ты поешь, сучий выродок, какие песни, я тебя спрашиваю? «Мурку» поешь? «Течет река» поешь? «Есть у меня шубка»? И опять же — «За кирпичной стеной»? О тебе, шаромыжнике, я заботу имею, а ты всякое дерьмо поешь? Паек получаешь? Матрас есть? В баню водят? А? А ты чего поешь? А пять суток на «строгом» не хочешь? И я тебе туда Кумача дам Лебедева. И чтобы на зубок. Ясно?

Штабель заторопился:

— Надо шагаль.

— Я провожу.

— Не надо, Вася, ошень не надо.

Они еще долго препирались, хотя оба заранее знали, что пойдут вдвоем. После, когда друзья шли рассветными улицами к центру, Лашков убеждал водопроводчика:

— Ты, главное, стой на одном: не хочу и — баста. Нету такого закону. От войны и след простыл. Гитлера черви съели, а людей с детьми держут. Это, не иначе, местная власть колобродит.

Но стоило Штабелю исчезнуть за дверями тяжелого, как глыба у дороги, здания, сердце у него остренько екнуло.

Они договорились встретиться там, где расстались — на углу, около табачного киоска. Лашков бесцельно побродил по улицам, вернулся и снова побродил, и снова вернулся: Штабеля не было. Лашков поговорил с киоскером о том, о сем и для поддержания коммерции — одну за другой — купил у него пять пачек «Беломора». Штабеля не было. Не было его и через час, и через два.

Закрывая ларек, киоскер смотрел на Лашкова подозрительно и особенно долго копался с пломбировкой.

В здании постепенно стали слепнуть окна: одно, другое, третье... Лашков наблюдал за ними и успокаивал себя: «Вот здесь... Вот здесь...» Но Штабель все не приходил. И когда где-то, под самой крышей, исчез последний светлый квадрат, он только и подумал: «Вот и всё».

XXIV

Грушу хоронили поздней осенью, когда на землю и крыши легла первая изморозь. Двор, сдавленный со всех сторон студеным небом, казался Лашкову каменным мешком, в котором горела посреди желтая свечка гробовой крышки. Она горела тихо, но властно, и не было в мире силы, чтобы погасить ее.

Потом от двери парадного, мимо нее, молчаливыми рыбами поплыли тени. Они плыли по двору, и не было их плаванью ни конца, ни края. Вслед за теньями из парадного стали выбираться голоса, но и они не согрели холодного дворового колодца.

Грушу вынесли, и она замерла на чьих-то плечах прямо против своей крышки. Из окна, сверху, Лашков видел ее всю — с головы до ног ничью, принадлежащую только себе. Вокруг нее сомкнулось кольцо лиц. Он узнавал их всех. Цыганиха и Храмова. Иван Левушкин и его Люба. Никифоров со всем семейством. Меклер и Феня Царева. Они стояли и молчали вокруг нее, и она как бы возносилась над ними и прощала их.

Тишина всё сгущалась, стягивая нервную тетиву до отказа, и вот не выдержала — оборвалась-таки: заплакала младшая девочка Никифоровых — Светлана. И, как от искры, все во дворе пришло в движение. Лица закачались в плаче. Но это был плач не над ней — над Грушей. Так плачут о живых, а не о мертвых. Они, это чувствовал, знал Лашков, выливали в плаче всю ту кровающую боль, какою обросла его собственная душа перед прощанием с землей и небом.

«Что мы нашли, придя сюда? — думал он их мыслями. — Радость? Надежду? Веру? Вот ты, Цыганиха, растерявшая все? Ты — Левушкин? Где твой сын-дантист? Ты — безумный Никифоров? Что мы принесли сюда? Добро? Теплоту? Свет? Кому? Меклеру? Храмовой? Козлову? Нет, мы ничего не принесли, но все потеряли. Себя, душу свою. Все, все потеряли. А зачем? Зачем? Ведь в каждом из нас жило доброе слово и, может быть, живет еще. Живет! Лева знал что говорил: «Плачьте, плачьте, люди, у слезы тоже сила есть!»

Лашков даже подался весь вперед и вдруг увидел в глубине двора, там, где когда-то стоял штабелевский дом, старуху Шоколинист. Черная и крохотная, — она стояла, беззвучно шевеля губами, и постепенно вырастала, увеличивалась в его глазах, пока не заняла неба перед ним, и он рухнул на подоконник и, наверное, только земля слышала его последний крик:

— Господи-и-и...

Из книги „Ночь разводится с днем“

Искатели жемчуга

Баллада

Нас было пятеро. Искала жемчуга
у каждого — правая рука
в лазурном мире, как в жемчужном море,
а левая хранила сердце друга.
Неслись мы бешено по беговому кругу —
могла ведь сердце заморозить вьюга,
могла ослабнуть на седле подпруга,
могла кого похитить и подруга...
Нас было пятеро — любили мы друг друга.

Нас было пятеро и стало вдруг четыре...
Кто упустил его? Не я ли? Он ли? Ты ли?
Но стало так — завяз в глубоком тыле,
застыло сердце пятое, не стыли
сердца у четырех.

Нас стало четверо, — и правая рука
у каждого искала жемчуга,
а левая хранила сердце друга.
Нас не страшил ни ветер, ни пурга,
ни ураган, ни пули, ни снаряды,
успехам друга все мы были рады.

Но вырвался один из нас вперед,
он не сказал ни слова нам троим,
но вырвался один из нас вперед —
на рок услужливый навел обычный грим,
на сердце, на лицо, на губы, совесть,
и трое мы прочли печальнейшую повесть
о том, как, не замкнув свой круг,
пал наш четвертый друг.

Нет, нет, никто его не предавал,
и конь его не пал.
Но думал он, что, нас опередив,

окажется как будто впереди...
И не заметил, как на узкую тропу
сменил он наш высокий дальний путь.

И стало трое нас — искала жемчуга
у каждого правая рука,
а левая хранила сердце друга,
но все ж она пришла, пришла подруга...
Готова была каждого любить,
готова была каждого убить, —
ведь все мы были всадники лихие,
мы укрощали грозные стихии
и посвящали все стихи ей —
и сделала она тогда свой выбор,
такой, быть может, сделали и вы бы,
и вот уж третий друг из строя выбыл,
и дальше мы свершали путь вдвоем.

Теперь нас двое — правая рука
у каждого искала жемчуга,
да, жемчуга — и это не игрушки,
но всюду находили лишь ракушки
цветные, яркие, дешевые — берите!
А жемчуг весь — его вы не ищите...

И вот мой друг устал...
Последний вспоминаю наш привал.

Пора кончать, — сказал он, — дело ясно,
И сил уж нет, чтоб тратить их напрасно.

Вот я один, но ищет жемчуга
по-прежнему одна моя рука,
другую руку простираю к небу,
у звезд прошу я помощи и хлеба.
И звезды шлют на помощь метеоры,
и жемчуга, и золотые горы,
сияньем звезд я запиваю горе,
и пройдена земля, а дальше море,
возврата нет, и нет пути вперед,
и ночь кругом, и солнце не взойдет.

Москва, 1959 г.

Из журнала „Феникс 1967“

Евгения Гинзбург

Крутой маршрут

Ниже мы начинаем печатать «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург, которая была исключена из ВКП(б) и арестована в 1937 году, а в 1956 году освобождена и затем восстановлена в партии. По некоторым сведениям, хроника предназначалась для журнала «Новый мир», но по содержанию не подошла к нынешней линии партии и правительства. В предисловии к своему произведению Е. Гинзбург пишет, что его можно было бы назвать «Хроника времен культа личности» или «Записки рядовой коммунистки». Произведение это является центральным материалом «Феникса 1967», содержит в себе 800 страниц и разбито автором на четыре части. Евгения Семеновна Гинзбург — мать писателя Василия Аксенова.

Р е д.

Всё это кончилось. Мне и тысячам таких, как я, выпало счастье дожить до 20 и 22 съездов партии.

В 1937, когда все это случилось со мной, мне было немного за тридцать. Сейчас — больше пятидесяти. Между этими двумя датами пролегло восемнадцать лет, проведенных там.

Много разных чувств терзало меня за эти годы. Но основным, ведущим было чувство изумления.

Неужели такое мыслимо? Неужели все это всерьез?

Пожалуй, именно оно, это изумление, и помогло выйти живой. Я оказалась не только жертвой, но и наблюдателем.

Что же будет дальше? Неужели такое возможно просто так? Без справедливого возмездия?

Жгучий интерес к тем новым сторонам жизни человеческой природы, которые открылись передо мной, нередко помогал отвлекаться от собственных страданий.

Я старалась все запомнить в надежде рассказать тем хорошим людям, тем настоящим коммунистам, которые будут же, обязательно будут когда-нибудь меня слушать.

Я писала эти записки как письмо к внуку. Мне казалось, что только примерно к восьмидесятому году, когда моему внуку бу-

дет двадцать лет, все это станет настолько старым, чтобы дойти до людей.

Как хорошо, что я ошиблась! Что в нашей партии, в нашей стране снова царит великая ленинская правда. Что уже сегодня можно рассказать людям правду о том, что было, чего больше никогда не будет.

И вот они — записки рядовой коммунистки. Хроника времен культа личности.

1. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НА РАССВЕТЕ

Тридцать седьмой год начался, по сути дела, с конца 1934-го. Точнее, с 1 декабря 1934 г.

В четыре часа утра раздался пронзительный телефонный звонок. Мой муж Павел Васильевич Аксенов, член бюро Татарского обкома партии, был в командировке. Из детской доносилось ровное дыхание детей.

— Прибыть к шести утра в обком. Комната 38.

Это приказывали мне, члену партии.

— Война?

Но трубку повесили. Впрочем, и так было ясно, что случилось недоброе.

Не разбудив никого, я выбежала из дома еще задолго до начала движения городского транспорта. Хорошо запомнились бесшумные мягкие хлопья снега и странная легкость ходьбы.

Я не хочу употреблять возвышенных оборотов, но, чтобы не погрешить против истины, должна сказать, что если бы мне приказали в ту ночь, на этом заснеженном зимнем рассвете, умереть за партию не один раз, а трижды, я сделала бы это без малейших колебаний. Ни малейших сомнений в правильности партийной линии у меня не было. Только Сталина (инстинктивно, что ли!) не могла боготворить, как это уже входило в моду. Впрочем, это чувство настороженности в отношении к нему я тщательно скрывала от себя самой.

В коридорах обкома толпилось уже человек сорок научных работников-коммунистов. Всё знакомые лица, товарищи по работе. Потревоженные среди ночи, все казались бледными, молчаливыми. Ждали секретаря обкома Лепы.

— Что случилось?

— Как? Не знаете? Убит Киров...

Лепы, немного флегматичный латыш, всегда бесстрастный и

непроницаемый, член партии с 1913 года, был сам не свой. Его сообщение заняло только пять минут. Ровно ничего он не знал об обстоятельствах убийства. Повторил только то, что было сказано в официальном сообщении. Нас вызвали всего только за тем, чтобы разослать по предприятиям. Мы должны были выступить с краткими сообщениями на собраниях рабочих.

Мне досталась ткацкая фабрика в Заречье, в заводском районе Казани. Стоя на мешках с хлопком, прямо в цеху, я добросовестно повторяла слова Лепа, а мысли в тревожной сумятице рвались далеко.

Вернувшись в город, я зашла выпить чаю в обкомовскую столовую. Рядом со мной оказался Евстафьев, директор института марксизма. Это был простой хороший человек, старый ростовский пролетарий, член партии с дооктябрьским стажем. Мы дружили с ним, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, при встречах всегда с интересом беседовали. Сейчас он молча пил чай, не оглядываясь в мою сторону. Потом осмотрелся кругом, наклонился к моему уху и каким-то странным, не своим голосом, от которого у меня всё оборвалось внутри предчувствием страшной беды, сказал:

— А ведь убийца-то коммунист...

2. РЫЖИЙ ПРОФЕССОР

Длинные газетные полосы с обвинительными заключениями по делу об убийстве Кирова бросали в дрожь, но еще не вызывали сомнений. Бывшие ленинградские комсомольцы? Николаев? Румянцев? Катальнов? Это было фантастично, невероятно, но об этом напечатано в «Правде», — значит, сомнений быть не могло.

Но вот процесс начал расширяться концентрическими кругами, как на водной глади, в которую упал камень.

В солнечный февральский день 1935 года ко мне зашел профессор Эльвов. Это был человек, появившийся в казанских вузах после известной истории с четырехтомной «Историей ВКП(б)» под редакцией Емельяна Ярославского. В статье о 1905 годе, написанной Эльвовым для этой книги, были обнаружены теоретические ошибки по вопросу о теории перманентной революции. Вся книга, в частности статья Эльвова, была осуждена Сталиным в его известном письме в редакцию журнала «Пролетарская революция». После этого письма ошибки получили более четкую квалификацию: «Троцкистская контрабанда».

Но в те времена, до выстрела в Кирова, все эти вопросы стояли не очень остро. И Эльвов, приехав в Казань по путевке ЦК партии, стал профессором Педагогического института; был избран членом горкома партии, выступал с докладами на общегородских собраниях интеллигенции, на партактивах. Даже доклад на городском активе, посвященном убийству Кирова, делал Эльвов.

Это был человек, бросающийся в глаза. Красно-рыжая курчавая шевелюра, очень крупная голова, посаженная прямо на плечи. Шеи у Николая Эльвова почти не было, и поэтому его высокая коренастая фигура производила одновременно впечатление и силы и какой-то физической беспомощности. Где бы он ни появлялся, на него оглядывались. Он вообще не мог остаться незамеченным. Его доклады, блестящие и иногда претенциозные, его выступления, безапелляционные и едкие, каскады эрудиции, которые он обрушивал на головы скромных казанских преподавателей, — всё это делало его одиозной фигурой в городе. Было ему в 1935 году 33 года.

...И вот он сидит передо мной в этот морозный солнечный февральский день 1935 года. Сидит не в кресле у письменного стола, а на стуле, в углу. Его длинные ноги в элегантных ботинках поджаты под стул. И лицо у него не розово-белое, как у всех рыжих, как бывало у него всегда, а темно-серое. И на руках он держит моего двухлетнего Ваську, забежавшего в комнату. И говорит синими трясущимися губами:

— У меня ведь тоже есть... Сережка... Четыре года. Хороший парень.

Потом я много видела таких глаз, какие были в тот день у рыжего профессора. Я не знаю, какими словами определить эти глаза. В них мука, тревога, усталость загнанного зверя и где-то, на самом дне, полубезумный проблеск надежды. Наверно, у меня самой были потом такие же. Но у себя самой я их почти не видела по той простой причине, что мне не приходилось долгими годами видеть свое отражение в зеркале.

— Что с вами, Николай Наумич?

— Всё. Всё кончено. Я только на минуту. Только хотел сказать вам, чтобы вы не думали... Ведь это всё неправда. Клянусь — я ничего не сделал против партии.

Стыдно вспомнить, как я начала его «утешать» плоскими обывательскими фразами. Дескать, он всё преувеличивает... Ну может быть, по остроте положения, выговор задним числом объявят за ту ошибочную статью... и т. д.

Потом он сказал совсем странные слова:

— Мне очень больно, что и вы можете пострадать за связь со мной. Я не хотел этого...

Тут я посмотрела на него с явным опасением. Не сошел ли с ума? Я могу пострадать за связь с ним? Какая связь? Что за чушь?

Меня судьба столкнула с ним с самого его приезда в Казань, кажется, с осени 1932 года. Я работала тогда в Пединституте. Он появился как заведующий кафедрой русской истории. Квартиру ему дали в здании института. Он сразу задумал несколько изданий и стал для этого собирать на своей квартире научных работников. Помню, что меня туда пригласили для участия в подготовке хрестоматии по истории Татарии.

Еще раз мне пришлось встретиться с Эльзовым в редакции областной газеты «Красная Татария». После крупного конфликта между новым редактором Красновым и прежними сотрудниками этой газеты обком решил освежить аппарат редакции и направил туда «на крепление» несколько человек из числа научных работников. Меня назначили зав. отделом культуры, Эльвова — зав. отделом международной информации.

— С каких это пор совместная работа в советском вузе и в партийной организации может называться «связью», да еще такой, от которой можно «пострадать»?

Видно, в этот страшный момент своей жизни, отбросив собственное ему позерство и самолюбование, он обрел дар понимания людей. Потому что он правильно увидел за моими словами не трусость, не лицемерие, а беспробудную политическую наивность. Да, я была членом партии, историком и литератором, имела уже ученое звание, но я была политическим младенцем. Он уловил это.

— Вы не понимаете момента. Вам трудно будет. Еще труднее, чем мне. Прощайте.

В прихожей он долго не мог попасть в рукава своего кожаного пальто. Мой старший сын Алеша, тогда девятилетний, встал в дверях, внимательно и серьезно глядя на «рыжего». Потом помог ему надеть пальто. А когда дверь за Эльзовым захлопнулась, Алеша сказал:

— Мамочка, это вообще-то не очень симпатичный человек. Но сейчас у него большое горе. И его сейчас жалко, правда?

На другое утро у меня была лекция в Пединституте. Старый швейцар, знавший меня со студенческих лет, бросился ко мне, едва я показалась в вестибюле.

— Профессора-то нашего... Рыжего-то... Увели сегодня ночью... Арестовали...

3. ПРЕЛЮДИЯ

Последовавшие за тем два года можно назвать прелюдией к той симфонии безумия и ужаса, которая началась для меня в феврале 1937 года.

Через несколько дней после ареста Эльвова в редакции «Красная Татария» состоялось партийное собрание, на котором мне впервые были предъявлены обвинения в том, чего я не делала.

Оказывается, я не разоблачила троцкистского контрабандиста Эльвова, я не выступила с уничтожающей рецензией на сборник материалов по истории Татарии, вышедший под его редакцией, а даже приняла в нем участие. (Моя статья, относившаяся к началу XIX века, при этом совершенно не критиковалась). Я ни разу не выступала против него на собраниях.

Попытки апеллировать к здравому смыслу были решительно отбиты.

— Но ведь не я одна, а никто в нашей областной парторганизации не выступал против него...

— Не беспокойтесь, каждый ответит за себя. А сейчас речь идет о вас!

— Но ведь ему доверял обком партии. Коммунисты выбрали его членом горкома.

— Вы должны были сигнализировать, что это неправильно. Для этого вам и дано высшее образование и ученое звание.

— А разве уже доказано, что он троцкист?

Последний наивный вопрос вызвал взрыв священного негодования.

— Но ведь он арестован! Неужели вы думаете, что кого-нибудь арестовывают, если нет точных данных?

На всю жизнь я запомнила все детали этого собрания, замечательного для меня тем, что на нем я впервые столкнулась с тем нарушением логики и здравого смысла, которому я не уставала удивляться в течение всех последующих двадцати с лишним лет, до самого двадцатого съезда партии, или, по крайней мере, до сентябрьского пленума 1953 года.

...В перерыве партийного собрания я зашла в свой редакционный кабинет. Хотелось побыть одной, обдумать дальнейшее поведение. Как держаться, чтобы не уронить своего партийного и

человеческого достоинства? Щеки мои пылали. Минутами казалось, что я схожу с ума от боли незаслуженных обвинений.

Скрипнула дверь. Вошла редакционная стенографистка Александра Александровна. Я часто диктовала ей. Жили с ней дружно. Пожилая, замкнутая, пережившая какую-то личную неудачу, она была привязана ко мне.

— Вы неправильно ведете себя, Е. С. Признавайте себя виновной. Кайтесь.

— Но я ни в чем не виновата. Зачем же лгать партийному собранию?

— Все равно вам сейчас вынесут выговор. Политический выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. Лишнее осложнение.

— Не буду я лицемерить. Объявят выговор — буду бороться за его отмену.

Она взглянула на меня добрыми, оплетенными сетью морщин глазами, и сказала те самые слова, которые говорил мне при последней встрече Эльвов.

— Вы не понимаете происходящих событий. Вам будет очень трудно.

Наверно, сейчас, попав в такое положение, я «покаялась» бы. Скорее всего. Ведь «я и сам теперь не тот, что прежде: неподкупный, гордый, чистый, злой». А тогда я была именно такая: неподкупная, гордая, чистая, злая. Никакие силы не могли меня заставить принять участие в начавшейся кампании «раскаяний» и «признаний ошибок».

Большие многолюдные залы и аудитории превратились в исповедальни. Несмотря на то, что отпущения грехов давались очень туго (наоборот, чаще всего покаянные выступления признавались «недостаточными»), все же поток «раскаяний» ширился с каждым днем. На любом собрании было свое дежурное блюдо. Каялись в неправильном понимании теории перманентной революции и в поддержании при голосовании оппозиционной платформы в 1923 году. В «отрыжке» великодержавного шовинизма и в недооценке второго пятилетнего плана. В знакомстве с какими-то грешниками и в увлечении театром Мейерхольда.

Бия себя в грудь кулаками, «виновные» вопили о том, что они «проявили политическую близорукость», «потеряли бдительность», «пошли на примиренчество с сомнительными элементами», «лили воду на мельницу», «проявляли гнилой либерализм»...

И еще много-много таких формул звучало под сводами общественных помещений. Печать тоже наводнилась покаянными статьями. Самый неприкрытый заячий страх водил перьями мно-

гих «теоретиков». С каждым днем возрастали роль и значение органов НКВД.

Редакционное партсобрание вынесло мне выговор «за притупление политической бдительности». Особенно настаивал на этом редактор Коган, сменивший в это время Краснова. Он произнес против меня настоящую прокурорскую речь, в которой я фигурировала как «потенциальная единомышленница Эльвова».

Через некоторое время обнаружилось, что сам Коган имел оппозиционное прошлое, а его жена была личным секретарем Смильги и принимала участие в известных «проводах Смильги» в Москве при отъезде Смильги в ссылку. Чтобы отвлечь внимание от себя, Коган проявлял страшное рвение в «разоблачении» других коммунистов, в том числе и таких политически неопытных, как я. В конце 1936 года Коган, переведенный к тому времени в Ярославль, бросился под поезд, не в силах больше переносить ожидания ареста.

Немного поднялось мое настроение в связи с тем, что секретарь райкома партии оказался таким же «непонятливым», как я. Когда мой выговор поступил по моей апелляции на бюро райкома, он удивился:

— За что же ей выговор? Ведь Эльвова знали все. Ему доверяли обком и горком. Или за то, что по одной улице с ним ходила?

И выговор отменили. Решили только (по настоянию других членов бюро, лучше секретаря разбиравшихся в том, что требовалось от них «на данном этапе») поставить на вид «недостаточную бдительность».

4. СНЕЖНЫЙ КОМ

В семи километрах от города, на живописном берегу Казанки, расположилась обкомовская дача «Ливадия». Построил ее предшественник Лепа, бывший секретарь обкома Михаил Разумов. Коротконогий толстяк, с пронзительными голубыми глазами и профилем Людовика XVI, член партии с 1912 года, он был связан близкой дружбой с моим мужем — Аксеновым. Поэтому мы знали этого «первого бригадира Татарстана» (такая формула подхалимства была в то время в ходу) очень хорошо.

Это был человек, полный противоречивых качеств. При несомненной преданности партии, при больших организаторских данных, он был очень склонен к «культу» собственной личности. Я познакомилась с ним в 1929 году, и он овельможился буквально на моих глазах. Еще в 1930 году он занимал всего одну комнату

в квартире Аксеновых, а проголодавшись, резал перочинным ножиком на бумажке колбасу. В 1931 году он построил «Ливадию» и в ней для себя отдельный коттедж. А в 1933 г., когда за успехи в колхозном строительстве Татария была награждена орденом Ленина, портреты Разумова уже носили с песнопениями по городу, а на сельхозвыставке эти портреты были выполнены инициативными художниками из самых различных злаков — от овса до чечевицы.

Мы, близкие приятели Разумова, еще задолго до того, как аналогичная ситуация была описана Ильфом и Петровым, поддразнивали своего секретаря:

— Михаил Осипович, вам ночью воробы глаза выклевали. Посмотрите.

На Черном озере летом в «Ливадии» отдыхали члены бюро обкома с семьями. Круглый год сюда приезжали по выходным.

В один из весенних дней 1935 года мы приехали тоже всей семьей на день отдыха. За одним из столиков я заметила новое лицо.

— Это что еще за рыжий Мотеле? — шопотом спросила я мужа.

— Не рыжий, а черный, и не Мотеле, а товарищ Бейлин, новый председатель партколлегии КПК.

Думала ли я тогда, что за внешним обликом добродушного местечкового портного скрывается мой первый инквизитор?

Нас познакомили. Что-то блеснуло в его глазах при упоминании моей фамилии, но он тут же погасил этот взгляд, устремив его на тарелку со знаменитыми ливадийскими пирожками. Оказалось, что мое «дело» уже лежало на его служебном столе.

Через несколько дней после этой первой встречи я уже сидела перед жгучими фанатическими очами товарища Бейлина в его кабинете, и он со всей талмудистской изощренностью уточнял и оттачивал формулировки в отношении моих «преступлений». Снежный ком покатился под гору, катастрофически разбухая и грозя задуть меня.

У товарища Бейлина был тихий голос. Он называл меня по партийному на «ты».

— Ты разве не читала статьи товарища Сталина? Ведь ты высококвалифицированная и не могла не понять ее.

— Ты разве не знала, что по вопросам перманентной революции Эльвов имел ошибки?

— Ты не признала на партийном собрании своей вины. Значит, ты не хочешь разоружиться перед партией?

Я не понимала, что значит «разоружиться», и пыталась убеждать Бейлина, что я никогда против партии не вооружалась.

Он мягко прикрывал полукруглыми веками свои горячие глаза и тихим голосом начинал всё сначала.

— Тот, кто не хочет разоружиться перед партией, объективно скатывается на позиции ее врагов...

Я снова делала отчаянные попытки удержаться на поверхности, напоминая моему строгому духовнику, что ведь в сущности я ничего плохого не сделала, кроме того, что была знакома по работе с Эльвовым, как и все работники нашего вуза.

— Ты опять не понимаешь, что примиренчество к враждебным партии элементам объективно ведет к скатыванию...

Не слушая моих возражений, он катил ком вперед, проталкивая его по определенному, продуманному, мне еще не понятному плану.

Скоро наши ежедневные беседы перестали быть уединенными. Приехал товарищ из Москвы, фамилии которого я не помню, но которого я мысленно всегда называла Малютой Скуратовым. Это был антипод Бейлина по приемам следствия, но в то же время — его двойник по садистской изощренности.

Глаза Бейлина, прикрытые выпуклыми веками, светились приглушенной радостью, — ведь мое «дело» сулило ему немало приятных минут. Глаза Малюты открыто излучали сотни сверкающих неистовых лучей. Бейлин говорил тихим грудным голосом. Малюта орал. Он даже ругался. Правда, ругательства его были еще далеко не те, которые мне довелось потом услышать в НКВД. Это были политические ругательства. Соглашатели! Праволевачьи уроды! Троцкистские выродки! Примиренцы задрипанные!

Они пытались меня два месяца, и к весне у меня началось настоящее нервное расстройство, обострившееся приступами малярии.

Когда я сравниваю свои переживания периода «прелюдии» с тем, что мне довелось вынести потом, с 1937 года до смерти Сталина, точнее до самого июльского пленума ЦК, разоблачившего Берию, меня всегда поражает несоответствие моей реакции внешним раздражителям. В самом деле, ведь до 15 февраля 1937 года я страдала только морально. В смысле внешних условий моя жизнь не изменилась. Еще цела была моя семья. Мои дорогие дети были со мной. Я жила в приличной квартире, спала на чистой постели, ела досыта, занималась умственным трудом. Но субъективно мои страдания этого периода были гораздо глубже, чем в

последующие годы, когда я была заперта в каменном мешке политизолатора или пилила вековые деревья в колымской тайге.

Чем объяснить это? Тем ли, что ожидание неотвратимой беды хуже, чем сама беда? Или тем, что физические страдания заглушают боль душевной муки? Или просто человек может привыкнуть ко всему, даже к самому страшному злодейству, и поэтому повторные удары, полученные от страшной системы травли, инквизиции, палачества, ранили уже менее остро, чем при первых встречах с этой системой?

Так или иначе, но 1935 год был для меня ужасен. Нервы готовы были сдать. Преследовала настойчивая мысль о самоубийстве.

В этом отношении лекарством (правда, временным) оказалась для меня трагическая история коммунистки Питковской, разыгравшаяся в начале осени 1935 года. Питковская работала в школьном отделе обкома. Это была одна из тех, кто принес в тридцатые годы все повадки периода гражданской войны. Та самая, о каких говорил Пильняк: «Большевики... Кожаные куртки... Энергично функционировать...» Не могу сейчас вспомнить, как ее звали. Да ее никто и не знал по имени. Питковская! Ее можно было нагрузить партиработой за четверых, у нее можно было взять деньги без отдачи, над ней можно было легонько подшучивать. Она не обижалась на своих. Вот уж кто по-настоящему расценивал партию как великое братство! Самоотверженная натура, она отягощала свою щепетильную совесть постоянным чувством вины перед партией. Вина эта заключалась в том, что муж Питковской — Донцов — примыкал в 1927 году к оппозиции. Питковская нежно любила мужа, но сурово и прямолинейно осуждала его прошлое. Даже своему пятилетнему сыну она пыталась популярно объяснить, как глубоко провинился перед партией его отец. Она потребовала от мужа, чтобы он «переварился в пролетарском котле». Конкретно, она не разрешала ему жить в таком большом городе, как Казань, а заставила его работать у станка на Зеленодольском пароходоремонтном заводе.

К осени 1935 года стали арестовывать всех, кто был в свое время связан с оппозицией. Тогда почти никто не понимал, что акции подобного рода проводятся по строгому плану, абсолютно вне всякой связи с фактическим поведением отдельных лиц, принадлежавших к данной категории, запланированной к изъятию. Меньше всех могла это понять Питковская.

Когда ночью за Донцовым, приехавшим на воскресенье из Зеленодольска в Казань, пришли из НКВД, она провела сцену,

достойную античной трагедии. Сердце ее, конечно, разрывалось от боли за любимого мужа, отца ее ребенка. Но она подавила эту боль. Она патетически воскликнула:

— Так он лгал мне? Он все-таки шел против партии?

Неопределенно усмехнувшись, оперативники буркнули:

— Бельишко ему соберите...

Она отказалась сделать это для «врага партии». Когда Донцов подошел к кровати спящего сына, чтобы проститься с ребенком, она загородила кровать.

— У моего сына нет отца.

Потом бросилась пожимать оперативникам руки и клясться им, что сын будет воспитан в преданности партии.

Всё это она рассказывала мне сама. Я абсолютно исключая хотя бы малейший элемент расчета или лицемерия в таком поведении этой женщины. При всей нелепости ее поступков они были вызваны искренними движениями наивной души, прямолинейно преданной идеям ее боевой молодости. Мысль о возможности чьего-то перерождения, о негодах, охваченных страстью властолюбия, о коварстве, о бонапартиках — не умещалась в этом чистом угловатом сердце.

На другой же день после ареста Донцова Питковскую сняли с работы в обкоме. Специальности у нее не было. Да если бы и была, вряд ли можно было устроиться куда-нибудь с формулировкой увольнения — за связь с «врагом партии». С этой же мотивировкой она была вскоре исключена из партии.

Грешница, я дала ей свое пальто и денег на дорогу до Москвы, куда она поехала хлопотать о восстановлении. Но ее не восстановили.

Вернувшись в Казань, она короткий срок работала у станка на заводе пишущих машинок. Потом поранила правую руку.

Есть стало нечего. Мальчишку выгнали из детсада. С ней перестали понемногу здороваться. Я по звонку, осторожному и неуверенному, узнавала: это идет к нам Питковская. Успокаивали, подкармливали. Потом муж сказал, что я сама на подозрении, и «связь с Питковской» повлияет на исход моего «дела». Я переживала душевную муку. Естественное желание помочь хорошему товарищу, преданному коммунисту, натывалось на подленький страх: не узнали бы про ежедневные визиты Питковской Бейлин с Малютой. Растерзают.

Но вот она перестала приходить. День, два, три. На четвертый стало известно, что, послав Сталину письмо, полное выражений любви и преданности, Питковская выпила стакан уксусной

эссенции. В предсмертной записке никого не винила, расценивала всё как недоразумение, умоляла считать ее коммунисткой.

За гробом ее шел пятилетний Вовка, обкомовская уборщица, которую покойница часто выручала деньгами, и два-три «отчаянных» из бывших товарищей.

Увидав этот жалкий холмик без креста и без звезды, я поняла: нет, я не сделаю так. Я буду бороться за сохранение своей жизни. Пусть убивают, если смогут, но помогать им в этом я не буду.

К осени Бейлин с Малютой вынесли решение: строгий с предупреждением за примиренчество к враждебным партии элементам, с запрещением вести преподавательскую работу.

Но это, конечно, еще не было развязкой. Снежный ком продолжал катиться дальше.

5. «УМА — ПАЛАТА, А ГЛУПОСТИ — САРАТОВСКАЯ СТЕПЬ!»

Моя свекровь, Авдотья Васильевна Аксенова, родившаяся еще при крепостном праве, простая неграмотная «баба рязанская», отличалась глубоким философским складом ума и поразительной способностью метко, афористично выражать свои мнения по самым разнообразным вопросам жизни. Говорила она на певучем южно-русском наречии, щедро уснащая свою речь пословицами и поговорками. Подобно древнему Соломону, изрекавшему в острые моменты жизни свое «и это пройдет», наша бабушка, выслушав сообщение о каком-либо выходящем из ряда вон происшествии, обычно говорила: «Такое-то уж было»...

Помню, как мы были поражены ее выступлением за семейным столом по поводу убийства Кирова.

— Такое-то уж было...

— Как это было?

— Да так. Царя-то ведь уж убивали... (она имела в виду ни больше, ни меньше как убийство Александра II). В ту пору я еще молоденькая была... А только сейчас чегой-то не туды стреляли... то... Ведь у нас, чай, нынче царем-то не Киров, а Сталин.. Пошто ж Кирова-то? Ну, да это дальше видать будет...

До мельчайших подробностей помню день 1 сентября 1935 года, когда я, снятая партколлегией с преподавательской работы, заперлась в своей комнате, испытывая поистине танталовы муки. Я всю жизнь или училась или учила других. День 1 сентября был для меня всегда даже более важным, чем день Нового года. И вот я сижу в этот день одна, отверженная, а с улицы доносятся

привычные первосентябрьские звонки. Шумит Казань — город студентов. Но я не войду больше под колонны родного университета.

Бабка Авдотья нарочито громко шаркает за дверью туфлями и вздыхает. Но я не выхожу и не зову ее. Я не могу сейчас никого видеть. Даже детей. Я одинока, как Робинзон Крузо.

Сижу так до обеда, пока у дверей не раздается резкий звонок и торопливый бабушкин голос:

— К тебе, Евгенья-голубчик. Выдь-ка...

В двери незнакомый мальчишка-посыльный. Он протягивает мне большой букет печальных осенних цветов — астр. В букете записка с теплыми словами моих прошлогодних слушателей.

Я не в силах удержаться даже до ухода мальчика. Я начинаю громко плакать, просто реветь белугой, выть и причитать совсем по-рязански, так, что бабка Авдотья заливается мне в тон, приговаривая:

— Да ты ж моя болезная... Да ты ж моя головушка бедная...

Потом бабушка резко прерывает плач, закрывает двери и шопотом говорит:

— Отчаянны головушки, студенты-ти... Що им за те цвяты еще будет... Евгенья-голубчик, а я тебе що скажу... А ты меня послушай, хоть я и старая и неученая... Капкан, Евгенья, капкан круг тебя вьется... Беги, покуда цела, покуда на шею не закинули. Ляжить пословица — с глаз долой — из сердца вон! Раз такое дело — надо табе отсюдова подальше податься. Давай-кось мы тебя к нам, в Покровское отправим.

Я продолжаю вслух рыдать, еще не понимая вполне смысл ее предложения.

— Право слово... Тамотка таких шибко грамотных, как ты, дюже надо. Изба-то наша стоит пуста, заколочена. А в садочке-то яблони... Пятнадцать корней.

Я прислушиваюсь.

— Что ты, Авдотья Васильевна? Как же я всё брошу: детей, работу?

— А с работы-то, вишь, и так выгнали. А детей твоих мы не обидим.

— Да я ведь должна партии свою правоту доказать! Что же я, коммунистка, от партии прятаться буду?

— Евгенья-голубчик... Ты резко-то не шуми. Я ведь не чужая. Кому правоту-то свою доказывать станешь? До Бога высоко, до Сталина — далеко...

— Нет, что ты, что ты... Умру, а докажу! В Москву поеду. Бороться буду.

— Эх, Евгенья-голубчик! Ума в тебе палата, а глупости — саратовская степь!

Муж мой только покровительственно усмехнулся, когда я рассказала про бабушкино предложение. Еще бы! Ведь мы владели истиной в ее конечной форме, а она была всего-навсего «баба рязанская».

Позднее, когда я отправилась в Москву обивать пороги комиссии партийного контроля, мне пришлось еще раз встретиться с предложением, напоминавшим вариант Авдотьи Васильевны.

Так, на Ильинке встречались в те дни многие коммунисты, попавшие первыми « в сеть Люцифера ». В очереди у кабинета партследователя я встретила знакомого молодого врача — Диковицкого. Он был по национальности цыган. Мы знали друг друга еще в ранней юности, и теперь он доверительно рассказал мне о своей « чертовщине ». Он тоже « не проявил бдительности » и, наоборот, « проявил гнилой либерализм ». Он тоже куда-то « объективно скатился » и т. д.

— Слушай, Женя, — сказал он мне. — А ведь если вдуматься, дела наши плохи. Хождение на Ильинку вряд ли поможет. Надо искать другие варианты. Как бы ты отнеслась, например, если бы я спел тебе популярный романс: « Уйдем, мой друг, уйдем в шатры к цыганам »?

Его синие белки сверкнули прежним озорством.

— Еще можешь шутить?

— Да нисколько. Ты послушай. Я цыган натуральный, ты тоже вполне сойдешь за цыганку Азу. Давай исчезнем на данный период с горизонта. Для всех, даже для семей. Ну, например, в газете вдруг появляется объявление в черной каемке. Дескать, П. В. Аксенов с прискорбием извещает о безвременной кончине своей жены и друга... Ну и так далее. Пожалуй, тогда твоему Бейлину волей-неволей придется сдать дело в архив. А мы с тобой присоединились бы к какому-нибудь табору и годика два побродили бы как вольные туристы, пока волна спадет. А?

И это, по сути, мудрое предложение показалось мне авантюристическим, заслуживающим только улыбки. А между тем, несколько лет спустя, оглядываясь на прошлое, я с удивлением вспомнила, что ведь многие действительно спаслись именно таким путем. Одни уехали в дальние, тогда еще экзотические районы Казахстана или Дальнего Востока. Так сделал, например, бывший ответственный секретарь казанской газеты Павел Кузнецов, кото-

рый фигурировал в моем обвинительном заключении как обвиняемый в принадлежности к «группе», но никогда не был арестован, так как уехал в Казахстан, где его не сразу нашли, а потом перестали искать. Он еще потом печатал в «Правде» свои переводы казахских акынов, прославлявших «батыра Ежова» и великого Сталина.

Некоторые «потеряли» партбилеты и были исключены за это, после чего тоже выехали в другие города и села. Некоторые женщины срочно забеременели, наивно полагая, что это спасет их от карающей десницы ежовско-бериевского «правосудия». Эти-то бедняжки просчитались и только увеличили число покинутых сирот.

Да, люди искали всевозможные варианты выхода, и те, у кого здравый смысл, наблюдательность и способность к самостоятельному мышлению перевешивали навыки, привитые догматическим воспитанием, те, над кем не довлела почти мистическая сила «формулировок», иногда находили этот выход.

Что касается меня, то, оставаясь всё на той же почве правдивости, нельзя не признать, что я выбрала самый нелепый из всех возможных вариантов самозащиты: пламенные доказательства своей невиновности, горячие заверения в преданности партии, расточаемые то перед садистами, то перед чиновниками, ошеломленными фантастической реальностью тех дней и дрожащими за свою шкуру. Да, бабушка Авдотья была права. Не знаю, была ли я «ума — палата», но уж глупости-то действительно была «саратовская степь».

6. ПОСЛЕДНИЙ ГОД

Он был удивительно противоречив для меня этот последний год моей жизни, оборвавшийся в феврале 1937-го. С одной стороны, было очевидно, что я на всех парах качусь к пропасти. Всё более свинцовыми тучами затягивался политический небосклон, шли процессы. Процесс Зиновьева-Каменева, Кемеровское дело. Процесс Радека-Пятакова.

Газетные листы жгли, кололись, жалом скорпиона впивались в самое сердце. После каждого процесса дело закручивалось всё туже. Вошел в жизнь страшный термин «враг народа». Каждая область и национальная республика по какой-то чудовищной логике должна была иметь своих «врагов», чтобы не отстать от центра. Как в любой кампании, как, скажем, при хлебозаготовках или поставках молока.

А я была меченая. И каждую секунду чувствовала это... Почти весь этот год я прожила в Москве, так как «дело», находившееся по моей апелляции в КПК, требовало постоянных посещений коридоров Ильинки.

Мой муж еще оставался членом ЦИК СССР, и поэтому я жила в комфортабельном номере гостиницы «Москва», а при моих постоянных поездках из Казани и в Казань меня встречали и проводжали машины татарского представительства в Москве. Эти же машины доставляли меня и на Ильинку, где решался вопрос — быть мне или не быть. Таковы были гримасы времени и своеобразная «неравномерность» развития событий.

В это лето умер Горький, и на его похоронах я в первый и в последний раз видела Сталина. Я шла вместе с Союзом писателей, так что имела возможность очень близко взглянуть на него.

Было бы преувеличением, если бы я стала теперь, задним числом, приписывать себе особенно глубокие мысли о роли Сталина в назреваемой трагедии партии и страны. Эти мысли пришли позднее, по мере ознакомления со сталинизмом в действии. Но я не солгу, если скажу, что я без всякого обожания рассматривала тогда его лицо, поразившее меня своей некрасивостью и несходством с тем царственным лицом, которое благостно взирало на нас с миллионов портретов. Даже больше, чем «без обожания». Правильнее будет сказать — с затаенной враждебностью, хотя еще и не осознанной, слабо мотивированной, инстинктивной.

А что творилось вокруг меня! Рядом шел Федор Гладков, уже тогда старик. Надо было видеть религиозный восторг на его лице, когда он взглядывал на Сталина. А с другой стороны шла начинающая писательница из Вологды. Я запомнила экстатическое иступление, с которым она шептала:

— Я видела Сталина! Теперь можно и умереть...

И хорошо запомнила вспыхнувшее во мне в ответ чувство раздражения и отчетливо прозвучавшее в моем мозгу слово — «идiotка».

По-видимому, какое-то шестое чувство подсказывало, что этот человек будет палачом моим и моих детей. Во всяком случае, когда зав. школьным отделом ЦК Макаровский, очень ко мне расположенный, предложил мне однажды «поговорить при случае с хозяином» о моем «деле», я пришла в ужас. Нет, нет, пусть он хоть персонально меня не знает! Наивно монархическая идея о добром вожде, не знающем о злоупотреблениях своих злых чиновников, уже тогда, на ранних этапах моего крутого маршрута, не находила во мне отклика.

(Не знаю, вспомнил ли потом Макаровский, тоже попавший в тюрьму, как я была права в этом вопросе).

...Самые различные характеры встречались среди «меченых», штурмовавших коридоры Ильинки. Были плачущие женщины и ругающиеся мужчины. Были люди, покорно ждущие решения своей судьбы. И были люди, переходящие в наступление на парт-следователей. Вот рядом со мной томится на жестком диванчике директор одного из харьковских заводов.

— Прошу!

Это он протянул мне раскрытый портсигар.

— Спасибо. Не курю.

— Как не курите? Да разве это возможно в нашем положении? А чем вы тогда это самое?.. — Он колотит себя в грудь мелкими ударами. — Чем заглушаете?

— Театрами. Каждый день в театр. Вчера у Охлопкова. Сегодня в Малый.

— Неужели помогает?

— Да ничего, вроде...

В разговор вмешивается сорокалетний рабочий с добрыми карими глазами и простодушным мягким ртом.

— Вы еще шутите, товарищ. А мне не до шуток... Жену ревматизм разбил, второй год как обезджила. Трое ребят. А меня вот из партии и с работы... Так разве до театров тут? Последнее проживаю здесь, в Москве. Сам я из Запорожья. Наборщик. Печатник старый.

Харьковский директор протягивает ему портсигар.

— Кури, браток. А на шуточки не сердись. Юмор висельников. А ты за что?

Рабочий некоторое время молчит, затем, наклонившись вперед, как будто на спине у него груз, хлопает себя по голенищам старых сапог и с отчаянием восклицает:

— Через Плеханова пропадаю!

— Как?

— Шел, слышь, у нас политкружок. Партучеба, одним словом. Задали нам про партию нового типа учить. А я... Виноват, конечно, не выучил я. Детишки, понимаешь, а она, жена-то, лежит, понимаешь ты, в лёжку. Запарился совсем. До учебы разве? А тут меня и спрашивают на кружке: «Кто, мол, основал партию нового типа?» Мне бы, дураку, прямо сказать: «Простите великодушно, не подготовлен, мол, к ответу, книжку не раскрывал по причине тяжелого семейного положения». А я... Дернула же нелегкая. Послышалось мне вроде кто-то шепчет, подсказывает: «Плеханов!» Ну

я взял, да брякнул наотмашь: «Плеханов, мол, основал». Вот с тех пор и пошло. Попервости-то, было, выговор объявили, а потом — дальше в лес, больше дров. Меньшевиком стали называть, поверите? Их, дескать, раньше много среди печатников было, и ты, мол, зараженный. Исключили, с работы сняли. Голодуют детишки. А она...

Лицо рассказчика исказилось.

— Не вынесет. Помрет...

Он помолчал еще немного и добавил:

— И всё через Плеханова.

Его вызвали к партследователю первым, и мы слышали из-за двери обращенный к нему вопрос:

— Признаете ли себя виновным в том, что использовали занятие политкружка для пропаганды враждебных партии меньшевистских взглядов?

В какой-то момент показалось, что мне немного повезло на Ильинке. Член партколлегии Сидоров, работник ПУР'а, проявил ко мне внимание и сочувствие. Он возмущился формулировкой бейлинского решения, в котором говорилось, между прочим: «запретить пропаганду марксизма-ленинизма».

— Чорт знает что! Запретить коммунисту пропаганду марксизма-ленинизма! Ни в какие ворота не лезет! Усердие не по разуму.

Он обнадежил меня, что взыскание будет уменьшено. И действительно, в ноябре я получила записку, в которой «во изменение решения партколлегии по Татарии» строгий с предупреждением заменялся просто строгим. Пункт о запрещении преподавания и пропагандистской работы был совсем снят, а мотивировка «за примиренчество к враждебным партии элементам» была заменена более мягкой: «за притупление политической бдительности».

— А затихнет немного обстановка, подадите через годик на снятие, — сочувственно напутствовал меня Сидоров, и по искреннему выражению его лица видно было, что этот серьезный человек с большим партийным стажем действительно надеется на возможность «затихания» обстановки.

Да, масштабов предстоящих событий не могли предвидеть даже такие умудренные опытом партийцы. Что же удивляться, что такая счастливая обладательница строгого без предупреждения, как я, тут же покатила в Казань, почти совсем утешенная.

Увы, иллюзии развеялись очень быстро! Я буквально не успела распаковать чемодан, как принесли мне вслед телеграмму из КПК: «Новое слушание вашего персонального дела назначено на

такое-то. Немедленно выезжайте Москву. Емельян Ярославский».

Позднее я узнала, что Бейлин, оказавшийся в Москве в момент облегчения моего взыскания, не мог стерпеть такого удара по самолюбию, обратился к Ярославскому с жалобой на Сидорова и с протестом против изменения его, бейлинского, решения. Кроме того, он представил Ярославскому дополнительные обвинения против меня. Я была виновна, оказывается, не только в связи с «ныне репрессированным Эльвовым», но и с «ныне репрессированным Михаилом Корбутом».

И опять бабка Авдотья сказала мне:

— Не езд в Москву-то, Евгенья, пра, не езд! В Покровское, да потихоньку...

И опять я ответила:

— Что ты, бабушка, разве коммунист может бежать от партии?

И поехала. Поехала к Емельяну Ярославскому, который обвинил меня в том, что я «не разоблачила» неправильность статьи Эльвова, и который сам эту статью поместил в редактированный им, Ярославским, четырехтомник «Истории ВКП(б)». Было от чего взяться за голову.

В тот же вечер я снова выехала обратно в Москву.

7. СЧЕТ ПОШЕЛ НА МИГИ

С этого момента события понеслись с головокружительной быстротой. Последние два с половиной месяца до момента ареста я провела в мучительной борьбе между доводами рассудка и тем неясным ощущением, которое Лермонтов назвал «пророческой тоской».

В минуты спокойных размышлений я приходила к выводу, что арестовывать меня абсолютно не за что. Конечно, в тех чудовищных обвинениях, которые ежедневно адресовывались газетами «врагам народа», явно ощущалось нечто гиперболическое, не вполне реальное, но все-таки, я думала, хоть что-то, хоть маленькое ведь наверняка было, ну голоснули там когда-нибудь невольно. Но я ведь никогда не принадлежала к оппозиции. У меня ведь никогда не было и тени сомнения в правильности генеральной линии.

— Если брать таких, как ты, то надо всю партию арестовать! — поддерживал меня в этих умозаключениях муж.

Однако вопреки всем этим доводам рассудка меня не оставля-

ло предчувствие близкой гибели. Казалось, я стою в центре железного кольца, которое всё сжимается и скоро меня раздавит.

Ужасной была обратная поездка в Москву по вызову Ярославского. Вот когда я была на волосок от самоубийства!

В купе мягкого вагона нас оказалось только двое: я и знакомая врачиха-педиатр Макарова, возвращавшаяся из Казани после защиты диссертации.

Это была приятная молчаливая женщина с мягкими движениями и внимательным взглядом.

Мне казалось, что я довольно удачно маскирую свое состояние разговором о разных пустяках. Но она вдруг, без всякой видимой связи с темой болтовни, погладила меня по руке и тихо сказала:

— Я очень жалею своих знакомых коммунистов. Тяжело вам сейчас. Ведь каждого могут обвинить.

Ночью на меня навалилась такая несусветная мука, что я, стараясь не шуметь, вышла из купе сначала в пустой коридор вагона, а потом и на площадку. Мыслей, как будто, никаких не было, только настойчиво вспоминалось Некрасовское стихотворение:

Тот, чья жизнь безнадежно разбилась,
Может смертью еще доказать,
Что в нем сердце неробкое билось,
Что сумел он любить и...

Это выстукивали колеса, это выстукивали молоточки, бившие в моих висках. На площадку я вышла именно для того, чтобы отделаться от этого назойливого стука. В первые минуты ноябрьский ветер, распахнувший легкий халатик, принес облегчение. Потом снова навалилось.

Я приоткрыла дверь вагона. В лицо брызнул холодный воздух. Взглянула вниз в стучавшую тьму колес. Явь окончательно слилась с каким-то мучительным сном. Один шаг... Один миг... И уже не надо будет к Ярославскому. И больше нечего будет бояться.

Кто-то мягко, но сильно взял меня за руку повыше локтя. Ей бы не педиатром, а невропатологом или психиатром быть, этой Макаровой. Не вскрикнула, не посыпала словами, а только властно увела в купе, уложила, погладила по волосам. А сказала одну только фразу:

— Ведь это всё пройдет... А жизнь только одна...

...Я никогда не думала, что Ярославский, которого называли партийной совестью, может строить такие удивительные силло-

гизмы. Из его уст я впервые услышала ставшую популярной в 1937 году теорию о том, что «объективное и субъективное — это, по сути, одно и то же». Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, отсутствием бдительности «лил воду на мельницу» преступника, ты всё равно виноват. Даже если ты понятия не имел ни о чем, всё равно. В отношении меня получилась такая «логическая» цепочка. Эльвов сделал в своей статье теоретические ошибки. Хотел он этого или не хотел, всё равно. Объективно это, опять-таки, «вода на мельницу» врагов. Вы, работая с Эльвовым и зная, что он был автором статьи, не разоблачили его. А это и есть пособничество врагам.

На смену «притуплению бдительности», предложенному советливым и гуманным Сидоровым, пришла теперь новая формулировка моих злодеяний. Она была уже похлеще даже бейлинского «примиренчества». Теперь Ярославский предъявил мне обвинение в «пособничестве врагам народа».

Таким образом точка над *i* была поставлена. Пособничество врагу — уголовно наказуемое деяние.

Сдержанность оставила меня. Я закричала на этого почтенного старика, затопала на него ногами. Я была способна броситься с кулаками, если бы между нами не сверкала полировкой широкая гладь его письменного стола.

Не помню уж, что я там выкрикивала, но суть моих слов сводилась к контробвинению. Да, я была доведена до такого отчаяния, что стала бросать ему в лицо простые вопросы. Они вытекали из элементарного здравого смысла. А такие вопросы считались в те времена в высшей степени дурным тоном. Все должны были делать вид, что изуверские силлогизмы отражают естественный ход всеобщих мыслей. Достаточно было кому-нибудь задать вопрос, разоблачающий безумие, как окружающие или возмущались или снисходительно усмехались недомыслию спрашивающего.

Но в том состоянии аффекта, в котором находилась я в кабинете Ярославского, я позволила себе кричать ему:

— Ну, хорошо, я не выступила! Но вы-то ведь не только не выступили, а еще сами отредактировали ему статью и напечатали ее в четырехтомной истории партии. Почему же вы судите меня, а не я вас? Ведь мне 30 лет, а вам 60. Ведь я молодой член партии, а вы — партийная совесть! Почему же меня надо растерзать, а вас держать вот за этим столом? И не стыдно всё это?

На мгновение в его глазах мелькнул испуг. Он явно принял меня за сумасшедшую. Слишком уж дерзкими были мои слова, произнесенные в этой комнате, похожей не то на алтарь, не то на

судилище. Но тут же снова накинул на лицо привычную маску суровости и квакерской прямолинейности. Потом сказал с почти натуральной дрожью в голосе:

— Никто лучше меня не осознает моих ошибок. Да, я — человек, немыслимый вне партии, виноват и в этом перед партией.

У меня уже висел на кончике языка новый безумный по дерзости вопрос:

«Почему же ваша ошибка искупается только ее осознанием, а я почему должна расплачиваться кровью, жизнью, детьми?»

Но я не произнесла этих слов. Аффект прошел. На смену ему пришел ужас. Что это я наговорила? Что теперь со мной сделают? Потом на смену ужасу — беспощадная ясность: всё безразлично, всё бесполезно. Настало время или умирать, или молча идти на свою Голгофу вместе с другими, с тысячами других.

Когда мне сказали, чтобы я ехала в Казань, куда вскоре будет прислано решение, я заторопилась. Теперь-то я твердо знала, что счет моей жизни идет не на годы и даже не на месяцы. Счет пошел на миги, и надо было торопиться к детям. Что с ними будет, с моими сиротами?

8. НАСТАЛ ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД

И вот он наступил, этот девятьсот проклятый год, ставший рубежом для миллионов. Я встретила его, этот последний Новый год моей первой жизни, под Москвой, в доме отдыха ЦИК СССР Астафьево, около Подольска.

Вернувшись в Казань после разговора с Ярославским, я застала Алешу, старшего сына, тяжело больным малярией. Врачи советовали сменить климат. Наступили школьные зимние каникулы, и увезти его было можно. Муж достал путевки в Астафьево. Он был очень доволен, что я снова уеду.

— Лучше тебе сейчас поменьше быть в Казани, на глазах...

Теперь мучительная тревога терзала и его. Уже шли аресты. Они уже коснулись очень хорошо знакомых нам людей. Одним из первых был взят директор туберкулезного института профессор Аксянцев, старый член партии. Следом за ним ректор университета Векслин, чья безоглядная преданность партии вошла в Казани в поговорку. Этот человек в рваной шинели прошел всю гражданскую, переходя с фронта на фронт. Герой Перекопа...

Муж стал теперь больше бывать дома. Его измучили заседания, на которых он как член бюро обкома сидел в президиуме и

должен был молча выслушивать, как склоняли и спрягали эльвовское дело и меня как его участницу.

Ему было непривычно оставаться по вечерам дома. Он молча мерил шагами комнаты, время от времени останавливался и произносил:

— Кто его знает, Векслина-то... человек увлекающийся! Может, и вправду сотворил что-нибудь...

Он стал теперь внимательно присматриваться к детям, с которыми раньше только шутил. Даже заметил, что у Васи потерятое пальтишко. Надо новое.

Но стоило мне начать откровенный разговор о происходящих событиях, как он немедленно становился на ортодоксальные позиции. Мне он, конечно, верил безоговорочно, что я ни в чем не виновата. Но тех оценок, которые начинали довольно четко складываться у меня в сознании, он, член бюро обкома, не разделял. Его больше устраивало предположение, что в отношении меня лично произошла ошибка. Он по-рыцарски вел себя на многочисленных собраниях, где от него требовали «отмежеваться» от жены. Там он заявлял, что знает свою жену как честную коммунистку. Но дома иногда...

— Что же это происходит в нашей партии, а, Паша? — спрашивала я.

— Сложно, конечно, Женюша. Ну что поделаешь! Особый этап в развитии нашей партии...

— Что же это за этап? Что всем членам партии предстоит ехать по этапу? — горько острою я. Он раздражается.

— Ты прости, Женюша, но в твоих шуточках нехороший привкус есть. Ты личную свою обиду отбрось. На партию не обижаются.

Иногда между нами возникали на этой почве серьезные конфликты. Помню одну тяжелую сцену поздно вечером в безлюдном Лядском садике против нашего дома. Мы вышли пройтись перед сном. Против воли разговор сворачивал всё в ту же колею. Я сказала что-то злое и насмешливое по адресу Ярославского. Муж вспыхнул.

— Что ты говоришь! С тобой и впрямь в тюрьму попадешь!

— О, будь спокоен! И без меня тоже...

Я вырвала у него руку. Он, испугавшись своих резких слов, хотел удержать ее, но я снова рванулась, и так сильно, что мои маленькие золотые часики упали в сугроб, оторачивавший аллею сада. Мы искали их потом больше часа и не нашли.

В наших позах, когда мы, склонившись над сугробом, раз-

рывали его голыми руками, в наших лицах, взбудораженных ссорой, уже чувствовалась тень вплотную надвинувшейся катастрофы. Самое страшное было то, что каждый из нас читал на лице другого отчетливую мысль: ведь мы только делаем вид, что расстроены пропажей часов и обязательно хотим найти их. На самом деле нам не до них. Ведь пропала жизнь. И еще: каждый делает вид, что эта ссора важна для него и волнует. А в действительности, что значит *теперь* супружеская ссора? Ведь мы уже вне жизни, вне обычных человеческих отношений. Но это был только подтекст, не высказанный даже самим себе.

... Астафьево — пушкинский уголок, бывшее имение князя Вяземского, было в то время «Ливадией» столичного масштаба. На зимних каникулах там в большом количестве отдыхали «ответственные дети», делившие всех окружающих на категории соответственно марке машин. «Линкольщики» и «бьюшники» котировались высоко. «Фордошников» третировали. Мы принадлежали к последним, и Алеша сразу уловил это.

— Противные ребята, — говорил он, — ты только послушай, мамочка, как они отзываются об учителях...

Несмотря на то, что в Астафьеве кормили, как в лучшем ресторане, а вазы с фруктами стояли в каждом номере и пополнялись по мере опустошения, некоторые дамы, сходясь в курзале, брезгливо критиковали местное питание, сравнивая его с питанием в «Соснах» и «Барвихе».

Это был настоящий пир во время чумы. Ведь 90 процентов тогдашнего астафьевского населения было обречено, и почти все они в течение ближайших месяцев сменили комфортабельные астафьевские комнаты на верхние и нижние нары Бутырской тюрьмы. Их дети, так хорошо разбиравшиеся в марках автомобилей, стали питомцами специальных детдомов. И даже шоферы были привлечены за «соучастие» в чем-то. Но пока еще никто не знал о приближении чумы, и пир шел вовсю.

Подошел новогодний вечер. Накрыли в столовой обильный стол. Дамы нарядились. Алеша потребовал, чтобы и я надела новое платье.

— Ну что ты, мамуля. Нельзя в старом. Я люблю, когда ты красивая.

Без пяти двенадцать, когда уже были налиты бокалы, меня вдруг вызвали к телефону. Побежала радостно, думала — муж. В начале января должна была состояться сессия ЦИК. Наверно, приехал в Москву, хочет поздравить.

И вдруг в трубке забасил голос одного случайного, не очень симпатичного знакомого, который почему-то решил поздравить меня.

Пока я выслушивала его приветствия, пока добежала до столовой — Новый год уже наступил. Я вошла в столовую, когда гонг ударил в двенадцатый раз. Алеша, отвернувшись в другую сторону, чокался с кем-то. Когда он повернулся ко мне, уже прошло две минуты тридцать седьмого года.

Мне не пришлось его встретить вместе с Алешей. И он разлучил нас навсегда.

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПАРТИИ

В начале февраля мы вернулись в Казань, и я сразу узнала, что меня вызывают в райком партии. Почему Ярославский решил передать разбор моего «дела» опять в Казань, не знаю. Может, после моих дерзостей ему не хотелось со мной встречаться? А вернее всего — было общее решение передать дела об исключениях в низовые организации. Ведь таких дел с каждым днем становилось всё больше. КПК уже не справлялось с объемом работы.

Это случилось седьмого февраля. Секретарь райкома — мой бывший слушатель по татарскому коммунистическому университету Бикташев. Пока зачитывалось «дело», он сидел с опущенной головой. Я почти не помню, какие именно обвинения предъявлялись мне в этот раз, какие формулировки пришли теперь на смену последней московской редакции. Я почти не слушала. И я и все члены бюро райкома знали, что вопрос об исключении предрешен. И мне и им хотелось возможно сократить тягостную процедуру.

— Вопросы?

— Нет.

— Выступления?

— Нет.

— Может быть, вы хотите что-нибудь сказать, Е. С.? — хриплым голосом спрашивает Бикташев, не поднимая глаз, опущенных на лежащее перед ним «дело». Видно, как он боится, что я начну что-нибудь говорить. Неужели не ясно, что он сам страдает, что он ничего не может?

Но я понимаю всё и уже ничего не хочу говорить. Я тихонько иду к двери и только говорю шёпотом:

— Решайте без меня...

Все мы знаем, что это — нарушение устава, что в отсутствие члена партии нельзя выносить о нем решения. Но разве теперь до устава! И Бикташев только об одном спохватывается:

— А билет... Он с вами?

И точно поперхнувшись, выкашливает:

— Вы оставьте его...

Пауза. Теперь мы с Бикташевым смотрим друг другу в глаза. Перед нами возникают одни и те же картины прошлого... Десять лет тому назад я, молоденькая начинающая преподавательница, учу его, полуграмотного татарского паренька, пришедшего из деревни. В том, что этот паренек стал секретарем райкома, немалая доля и моих усилий. Сколько их было — трудностей, радостей преодоления, исправленных тетрадей. Какими они были веселыми и любознательными, эти узкие монгольские глазки! И какие они тусклые и покрасневшие сейчас...

Всё это проносится передо мной и — уверена! — перед ним. И голос его уже откровенно дрожит, когда он повторяет:

— Оставьте билет... Пока...

В этом коротком «пока» выражена слабая попытка утешить, обнадежить. Оставь, мол, пока, а там получишь обратно. Ведь не навек же все эти дела!

Мне делается жалко моего бывшего ученика. Ему сейчас хуже, чем мне. В этом театре ужасов одним актерам даны роли жертв, другим — палачей. Последним хуже. У меня хоть совесть чиста.

— Да, билет со мной.

Он еще новенький. Только в 1936 году был всесоюзный обмен партбилетов. Как я берегла его, как боялась потерять! Я кладу его на стол.

На улице, у дверей райкома дежурил мой муж. Пошли пешком. В трамвай нельзя было с такими лицами. Полдороги молчали. Потом он спросил:

— Ну что?

— Оставила билет...

Он тихо охнул. Теперь и ему уже было ясно, как близок край пропасти.

10. ЭТОТ ДЕНЬ

Между исключением из партии и арестом прошло восемь дней. Все эти дни я сидела дома, закрывшись в своей комнате, не подходя к телефону. Ждала... И все мои близкие ждали. Чего?

Друг другу мы говорили, что ждем отпуска мужа, который был ему обещан в такое необычное время. Получит отпуск, поедем опять в Москву, хлопотать. Попросим Разумова. Он — член ЦК.

В душе отлично знали, что ничего этого не будет, что ждем совсем другого. Мама и муж попеременно дежурили около меня. Мама жарила картошку. «Поешь, деточка. Помнишь, ты любила такую, когда была маленькой?» Муж, возвращаясь откуда-нибудь, звонил условным звонком и вдобавок громко кричал: «Это я, я, откройте!» И в голосе его звучало: «Это еще я, а не они».

«Чистили» домашнюю библиотеку. Няня ведрами вытаскивала золу. Горели «Портреты и памфлеты» Радека, «История Западной Европы» Фридлянда и Слуцкого, «Экономическая политика» Бухарина. Мама «со слезами заклинаний» умоляла меня сжечь даже «Историю новейшего социализма» Каутского. Индекс расширялся с каждым днем. Аутодафе принимало грандиозные размеры. Даже книжку Сталина «Об оппозиции» пришлось сжечь. В новых условиях она стала нелегальной.

За несколько дней до моего ареста был взят второй секретарь горкома партии Биктагиров. Прямо с заседания бюро, которое он вел. Зашла секретарша.

— Тов. Биктагиров, вас там спрашивают.

— Во время заседания? Что они... Я занят... скажите...

Но секретарша вернулась.

— Они настаивают.

Он вышел. Ему предложили одеться и «проехать тут недалеко».

Этот арест озадачил и потряс мужа еще больше, чем мое исключение из партии. Секретарь горкома! Тоже «оказался»?..

— Нет, это уж что-то чекисты наши перегнули. Придется им многих повыпускать...

Он хотел убедить себя, что это — проверка, какое-то недоумение, временное и даже комичное. А вот в следующий выходной Биктагиров, возможно, будет снова сидеть в «Ливадии» за столом и с улыбкой рассказывать, как его чуть было не приняли за врага народа.

Но по ночам было очень плохо. Сколько машин проходило мимо окон нашей спальни, выходявших на улицу. И каждую надо было «прослушать», когда казалось, что она замедляет ход перед нашим домом. Ночью даже оптимизм моего мужа уступал место страху, сжавшему горло всей страны.

— Павел! Машина!

— Ну и что же, Женюша? Город большой, машин много...

— Остановилась. Право, остановилась...

Муж босиком подскакивал к окну. Он бледнел. Преувеличенно спокойным голосом он говорил:

— Ну вот видишь — грузовик!

— А они всегда на легковых, да?

Засыпали только после шести утра. А утром снова новые вести об «оказавшихся».

— Слышали? Петров-то оказался врагом народа! Подумать только, как ловко маскировался!

Это значило, что этой ночью увели Петрова.

Потом приносили кучу газет. И уже нельзя было отличить, которая из них «Литературная», которая, скажем, «Советское искусство». Все они одинаково выли и кричали о врагах, заговорах, расстрелах...

Жуткие были ночи. Но это случилось как раз днем.

Мы были в столовой: я, муж и Алеша. Моя падчерица Майка была на катке. Вася у себя в детской. Я гладила белье. Меня часто теперь тянуло на физическую работу. Она отвлекала мысли. Алеша завтракал. Муж читал вслух книгу, рассказы Валерии Герасимовой. Вдруг зазвонил телефон. Звонок был такой же пронзительный, как в декабре тридцать четвертого.

Несколько минут мы не подходили к телефону. Мы очень не любим сейчас телефонных звонков. Потом муж произнес тем самым неестественно спокойным голосом, которым он теперь так часто разговаривает:

— Это, наверно, Луковников. Я просил его позвонить.

Он берет трубку, прислушивается, бледнеет, как полотно, и еще спокойнее добавляет:

— Это тебя, Женюша, Веверс... НКВД...

Начальник секретно-политического отдела НКВД Веверс был очень мил и любезен. Голос его журчал, как весенний ручеек.

— Приветствую вас, товарищ, скажите, пожалуйста, как у вас сегодня со временем?

— Я теперь всегда свободна. А что?

— О-о-о! Всегда свободна! Уже упали духом?.. Всё это проходящее. Так вы, значит, могли бы сегодня со мной встретиться? Видите ли, нам нужны кой-какие сведения об этом Эльвове. Дополнительские сведения. Ох, и подвел же он нас! Ну ничего. Сейчас всё это выясняется.

— Когда прийти?

— Да когда вам удобнее. Хотите — сейчас, хотите — после обеда.

— А вы меня долго задержите?

— Да минут сорок. Ну, может быть, час...

Муж, стоящий рядом, всё слышит и знаками, шопотом настойчиво мне советует идти сейчас.

— Чтобы он не думал, что ты боишься. Тебе бояться нечего!

И я заявляю Веверсу, что прийду сейчас.

— Может быть, забежать к маме?

— Не надо. Иди сразу. Чем скорее выяснится всё это, тем лучше.

Муж помогает мне торопливо одеться. Я отсылаю Алешу на каток. Он уходит, не попрощавшись со мной... Больше я его уже не увидела.

По какому-то странному совпадению маленький Вася, приехавший к моим постоянным отъездам и отлучкам и всегда совершенно спокойно реагировавший на них, на этот раз выбегает в прихожую и начинает настойчиво допытываться:

— А ты, мамуля, куда? Нет, а куда? А я не хочу, чтобы ты шла...

Но мне сейчас нельзя смотреть на детей, нельзя целовать их. Иначе я сейчас, сию минуту умру. Я отворачиваюсь от Васи и кричу:

— Няня, возьмите ребенка! Я не могу его сейчас видеть...

Да, пожалуй, лучше не видеть и маму. Всё равно совершается неизбежное, и его не умалишь отсрочками. Захлопывается дверь. Я и сейчас помню этот звук. Всё. Больше я уже никогда не открывала эту дверь, за которой я жила с моими дорогими детьми.

На лестнице встретила Майка. Она шла с катка. Эта всегда понимала интуитивно. Она не спросила ни слова, не поинтересовалась, куда мы идем в такое неурочное время. Прижалась плотно к стене и широко раскрыла глаза. Они были огромные, голубые. И такое недетское выражение было на этом двенадцатилетнем лице, что оно мне снилось потом годами.

Внизу, у входа, еще встретила наша старая няня Фима. Она сбежала вниз, чтобы что-то сказать мне. Но посмотрела в мое лицо и ничего не сказала, только мелко перекрестила вслед.

— Пешком?

— Да, пройдемся напоследок.

— Не говори глупостей. Так не арестовывают. Просто им нужны сведения.

— У меня нет никаких сведений.

Долго идем молча. Погода прекрасная. Яркий февральский день. Снег выпал только утром. Он еще очень чист.

— Последний раз идем вместе, Паша. Я уже государственная преступница.

— Не болтай глупости, Женюша. Я уже говорил тебе. Если арестовывать таких, как ты, то надо арестовать всю партию.

— Иногда у меня и мелькает такая мысль безумная. Уж не всю ли и собираются арестовать?

Я уже жду привычной реакции мужа. Он должен сейчас прикрикнуть на меня за такие кощунственные слова. Но вдруг... Вдруг он раздражается «еретической» речью. Выражает уверенность в честности многих арестованных «врагов народа», произносит гневные слова по адресу... По очень высоким адресам. И я рада, что мы опять мыслим одинаково. Я воображала тогда, что поняла уже почти всё. А на деле меня ждало еще много горестных открытий.

Но вот и знаменитый дом — Черное озеро.

— Ну, Женюша, мы ждем тебя к обеду...

Какое жалкое лицо у него сразу, как дрожат губы! Вспоминается его старый уверенный хозяйский тон старого коммуниста, партийного работника.

— Прощай, Паша. Мы жили с тобой хорошо...

Я даже не говорю «береги детей». Я знаю, что он не сможет их сберечь. Он снова успокаивает меня какими-то общими словами, которых я уже не различаю. Я устремляюсь в бюро пропусков, но вдруг слышу срывающийся голос:

— Женюша!

Оглядываюсь.

— До свидания, Женюшенька!

И взгляд... Пронзительный взгляд затравленного зверя, измученного человека. Тот самый взгляд, который потом так часто встречался мне там.

(Продолжение следует)

Поэты из журнала „Феникс 1966“

Аида Ясколка

ВАРИАЦИЯ О СЕБЕ

Мне все равно в какие окна
Я в зимний вечер загляну
На чей огонь зайду промокнув
И руку к рюмке протяну
Кого приму иль оттолкну
Чью душу невзначай задену
Себе ли перережу вену
Другим ли петлю затяну
Мне все равно под чьим законом
Дрожать и по полям каким
Бродить но тайно у иконы
И не оставь и не покинь
Меня Господь прости мне встречи
Неправды слезы торжества
И дай мне сил противоречить
Себе и всем пока жива

Осень 1966

✱

О как высоки небеса
Как сине-невесомы
Как низки птичьи голоса
И беспокойно солнце
И унижение лежит
На жалком желтом ложе
Свои желанья пережить
Не дай мне силы Боже
Оставь мне только небеса
Безумье память стерло
Легла широкая коса
На узенькое горло

Осень 1966

здесь камень вымощен луной
и башен сомкнуты запястья
пока заемной стороной
служили зависти и страсти
а жемчуг слаб и молчалив
и в моде слава гулевая
когда колышется вдали
Фанагория золотая

и умоляют погреба
сырую проповедь вершины
ромашкой вытереть со лба
и полотенцами жасмина

такую истину хранить
листать нечитанные книги
и полночь к сердцу прислонить
ведерком мокрой ежевики

такую родину беречь
и уносить с собою в споре
прибоя медленную речь
и бормотанье Черноморья

В. Ковшин

ИЗ КНИГИ «САД УЛИТКИ»

*«Мне на плечи бросается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей».*

О. Мандельштам

Но по крови я волк,
и расправа проста с волкодавом:
в залесенной теснине,
где грузная пададь гниет,
мы сойдемся на щелк,
один на один, без уставов —
он — собачье отродье,
и я — всех смертей полиглот.

Будет бой наш раскос
и как птичья судьба междометен,
и на песьем зобу
я сведу изумительный рот,
и, отбросив на травы
несколько ржавых отметин,
волкодав
в залесенной теснине умрет.



Все позади, все позади,
и я уж не кляню природу,
и в перламутровую воду
бросаю образок с груди.
Все позади.

Я замер, прислонясь к комоду,
но дрогнул колокол в груди,
и тяжесть тонкая гудит,
и падает в святую воду.
Все позади, все позади.



О, не скрипи калиткой!
Послушай,
как прекрасно
поют в саду
улитки.

А. Солженицын и духовная миссия писателя

ВСТУПЛЕНИЕ

Прошел год с того исторического события, когда три русских человека — А. И. Солженицын, Н. С. Хрущев и А. Т. Твардовский (высокий поэт, высокий начальник и тот, кто их свел — наполовину поэт, наполовину начальство) запустили в небо своей родины, выражаясь по-современному, духовный спутник, именуемый «Один день Ивана Денисовича». Этот спутник относится к типу «вечных»: он запущен в такие высокие слои духовной атмосферы, что не упадет на землю и не сгорит. Хотя некоторые его вовсе не видят, но за год своего существования он, как говорят бюрократы, «проделал большую работу». Он изменил самую атмосферу вокруг себя, этот славный работяга из концлагеря, неутомимо мерцающий в звездной вышине.

Об этом спутнике рассказывает здесь благодарный читатель-дилетант, поскольку специалисты-писатели, литературоведы и прочее начальство набрали в рот грязной воды, не дающей им говорить.

Осень 1963 года

1. КРУГ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА К СВОБОДЕ

В далеком прошлом, когда человек не обладал ещё физическим телом в современном смысле, т. е. телом, включающим в себя твердые минеральные вещества, он жил как бы целиком в духовном мире, воспринимая и непосредственно созерцая этот мир, духовные существа, населяющие его, и события, которые там со-

Публикуемая статья «А. Солженицын и духовная миссия писателя» Д. Благова (псевдоним) получена нами из России. Отдельные историософские, литературные и духовно-религиозные оценки и суждения автора представляются нам спорными. Однако эта статья является одновременно документом горячего сердца и отражает эпоху переоценок и поисков современной России.

Р е д.

вершаются. Это созерцание определяется современной духовной наукой как древнее сумеречное, сновидческое ясновидение. Сумеречное потому, что человек не только не обладал мышлением и способностью познания, сколько-нибудь подобными соответствующим его способностям в настоящее время, но даже не обладал ощущением личности, своего «Я». Он находился как бы внутри духовного мира, составлял его часть, пассивно созерцая или отражая его. Это и есть состояние прачеловека, которое Библия называет раем.

Духовные органы человека не были замкнуты в себе, а открыты наружу, в духовный мир, в ясновидческом безличном сознании, подобном ясновидению. В могучих образах вставали перед ним действующие позади физического бытия силы и существа — боги.

Затем наступает событие, описываемое Библией как «Изгнание из рая» (грехопадение, первородный грех). Это одно из важнейших событий во всем космическом развитии, подробно освещенное духовной наукой, состоит в том, что человек, подчиняясь определенному импульсу извне, связанному с миссией человеческого рода, начал удаляться от духовного мира, как бы покинул духовную родину и стал погружаться в чувственный материальный мир (одновременно с «уплотнением» вокруг него самих материальных субстанций). Способность непосредственного, как бы бессознательного ясновидения стала ослабевать, духовный мир стал все больше и больше закрываться, а человеческая личность — замыкаться. Но зато у человека начала развиваться способность логического мышления и познания окружающего физического мира, стала появляться самостоятельность, личность, «Я» и наконец свобода. Появилась и развилась рассудочная, «внешняя», наука и техника.

Этот долгий и тяжелый путь развития человека к свободе, изобилующий великими достижениями и страшными катастрофами (не только внутри человека и человечества, но и в окружающем физическом мире), должен привести к возвращению человечества в духовный мир собственными силами каждого отдельного человека как свободной личности, обладающей ясным мышлением, развитым «Я» и совершенными нравственными и волевыми качествами. Этот человек не будет пассивно созерцать духовный мир, а войдет туда с ясным, «дневным» сознанием, развитым современной материальной наукой и логическим мышлением, войдет как власть имущий над видимыми и многими невидимыми ныне силами.

Но здесь наступает кризис. В самом деле, ведь и в механическом движении всякий поворот чреват тем, что некоторые тела «сваливаются под откос», т. е. сбрасываются центробежной силой с заданной траектории и удаляются от неё, уходя по касательной, т. е. *в старом направлении*, с которого по какой-либо причине не могут сойти, другие тела благополучно выполняют поворот. И из элементарного внешнего исторического опыта также известно, что поворотные эпохи всегда чреватны резким разделением людей на передовые и реакционные лагеря, катастрофами, истребительной борьбой наций, классов, религий, творческими подвигами одних людей и необычным размахом преступлений других. И о грандиозности современного поворота человечества можно хотя бы внешне судить по невиданной глубине расслоения людей (которое стало уже явственно проступать на их лицах), по размерам социальных, идейных и духовных сдвигов в наше время — в XX веке: чудовищное развитие частной собственности, капитализма, эксплуатации пота и крови сотен миллионов людей, общемировой взрыв национальных и классовых освободительных движений, небывалый подъём внешней, материалистической науки, техники и материального уровня жизни, и одновременно — духовное одичание громадной части населения цивилизованных наций, невиданные размеры истребления людей, вплоть до целых народностей на полях сражений, а также в концентрационных лагерях — этом новом «собственном» достижении XX века наряду с термоядерной бомбой и джазом; случаи массового самопожертвования одних людей (например, революционеров) ради блага других и массовые насилия, тирания над людьми — причем зачастую то и другое со стороны одних и тех же лиц. Это последнее явление — одно из самых важных и характерных в нашу эпоху — тесно связано с тайной истребления революционеров в сталинских концлагерях, над разгадкой которой трагически-беспомощно бьются современные люди, ограничившие себя формальным, «научным» мышлением в пределах чувственного мира и категорий внешних причин и следствий.

Дело доходит до того, что люди, являющиеся, по-видимому, «умными, образованными и беспристрастными», приписывают весь этот исторический катаклизм... глупости и трусости одного человека: Сталина!

Океаны лжи и ханжества затопили все области общественной, политической, семейной, научной, художественной жизни людей. Даже тюрьмы и концлагеря устраиваются обязательно

во имя высоких идей. Современная печать — это грандиозный трест производства правдоподобной лжи.

Чтобы как-то представить себе размеры и последствия указанных событий, следует хотя бы учесть, что ведь наряду с миллионами физически убитых и замученных людей, имеется, скажем, такое же количество убийц и палачей, т. е. людей душевно-духовно искалеченных и погибших, заражающих (при жизни и после смерти) продуктами своего разложения духовный мир нашей планеты.

Но позади этой страшной диверсии сил зла, лжи и смерти уже закалились, подготовлены и стучатся в двери благие духовные силы и помощники человечества, готовые вести его вперед к свободе. Они повернули уже мощный духовный прожектор, освещающий для всех желающих путь восхождения. Этот прожектор — новорожденная *духовная наука*.

Такова примитивная схема пути развития человечества на планете Земля, если вообще позволено говорить об этом схематически.

2. МИССИЯ ИСКУССТВА

Итак, в течение нескольких последних тысячелетий человечество удаляется от духовного мира, от непосредственного его ясновидения, от непосредственных его откровений. Но человек не должен терять связи с духовной родиной, ибо в противном случае невозможно было бы возвращение в нее. Эта связывающая «ариаднина» нить и дана человеку высшими духовными властями в виде *искусства, художественной фантазии. Миссия искусства — давать откровения духовного мира, когда непосредственные откровения стали невозможны.*

Удаляясь от духовного мира, погружаясь в чувственный мир и в свое развивающееся «Я», человек берет с собой в дорогу фантазию и сам, своим «Я», создает из неё снова духовный мир — новый, богочеловеческий. То, что больше не может видеть ясно-видческое сознание, творит человеческая фантазия как бы в тевом отражении. Действительно, крупнейшие художники сами ощущали свое творчество как откровение духовного мира, вдохновение, а свои творения — как вести из того мира.

Искусство истекло из духовного мира и втекает снова туда же в перспективе будущего. Отсюда становится прежде всего понятным тот факт, что искусство всегда как бы нисходило вместе с человечеством все ниже — и по содержанию своему, спускаясь

с божественной тематики к реализму человеческих будней, и по доступности его все более широким слоям человечества, т. е. по его демократизации. Так, в Средние века происходит постепенное отпочкование от духовного искусства самостоятельного светского европейского искусства.

И как бы низко ни спускался человек в чувственный мир, нить искусства прядется им все дальше и дальше и не должна выскальзывать из его рук.

Одно лишь внешне-научное развитие дает человеку только рассудочное и притом безличное, чисто материальное, объективное, скелетообразное понимание мира. Ослабление художественной фантазии и восприятия искусства является бедствием, особенно для ученого, т. е. человека, у которого как раз сильно развиты внешне-познавательные способности и логическое мышление.

Духовно-научный опыт показывает, что когда человек оказывается вынужденным отвернуться, отказаться вообще от невидимого духовного мира, в частности, от искусства, отрицать его, то это приводит всегда к ослаблению всей его жизни, отчаянию, даже к душевной смерти. Иссякает внутренняя сила человека, и вся сила жизни должна притекать извне, если ему вообще суждено обладать ею. Он воспринимает тогда вещи, существа и события, которые доходят до его внешних чувств, расчленяет их своим рассудком. Они доставляют ему радость и горе; они побуждают его к поступкам, на которые он способен. Так может он продолжать некоторое время, но все же когда-нибудь дойдет до такой точки, когда он внутренне умрет. Ибо то, что человек может таким образом впитать в себя из мира, истощается. От этого истощения предохраняет то скрытое, что покоится в глубине вещей, например, их духовные прообразы и ритмы, которые просвечивают через искусство. Когда в человеке отмирает сила опускаться в эти глубины, чтобы черпать из них все новую жизненную силу, то под конец и внешняя сторона вещей оказывается уже не в состоянии поддерживать жизнь.*)

*) С этой духовно-научной точки зрения является ошибочным утверждение Гегеля, что искусство отжило свое время, что «дух миновал уже ступень эстетического, и подлинный расцвет искусства уже никогда не наступит... Искусство теперь уже перестало доставлять то удовлетворение духовных потребностей, которое искали в нем прежние эпохи и народы... Мысль и размышление обогнали изящные искусства... Искусство... есть и останется для нас чем-то отошедшим в прошлое»...

(«Лекции по эстетике». Введение). — Д. Б.

Большой интерес представляет свидетельство Ч. Дарвина о себе самом. В своей «Автобиографии» он пишет, что приблизительно до 38 лет или позже ему доставляла большое удовольствие «всякого рода поэзия», например, произведения Мильтона, Грея, Байрона и др. Еще в школьные годы «с огромным наслаждением читал Шекспира», находил «наслаждение в живописи и еще больше — в музыке».

«Но вот уже много лет, как я не могу заставить себя прочитать ни одной стихотворной строчки. Недавно я пробовал читать Шекспира, но это показалось мне невероятно, до отвращения скучным. Я почти потерял вкус к живописи и к музыке... музыка обычно заставляет меня особенно напряженно думать о том, над чем я в данный момент работаю».

Последствия этого таковы:

«Кажется, мой ум стал какой-то машиной, которая перемальвает большие собрания фактов и общие законы, но я не в состоянии понять, почему это должно было привести к атрофии одной части моего мозга, от которой зависят высшие вкусы. Полагаю, что человека с умом более высокоорганизованным или лучше устроенным, чем мой ум, такая беда не постигла бы, и, может быть, если бы мне пришлось вновь пережить свою жизнь, я установил бы для себя правило читать какое-то количество стихов и слушать какое-то количество музыки по крайней мере раз в неделю... Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а еще вероятнее — на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы».

Эти замечания Дарвина безусловно верны. В частности, из следующих его откровенных слов видно, что произошло с его собственными вкусами и умственными способностями:

«...Романы, которые являются плодом фантазии, хотя и фантазии не очень высокого порядка, в течение многих лет служат мне чудесным источником успокоения и удовольствия, и я часто благословляю всех романистов... Все романы... нравятся мне, если они более или менее хороши и имеют счастливую развязку. Нужно было бы издать закон, запрещающий романы с печальным концом. На мой вкус ни один роман нельзя считать первоклассным, если в нем нет хотя бы одного героя, которого можно по-настоящему полюбить, а если этот герой — хорошенькая женщина, то тем лучше».

Эта тенденция Дарвина регламентировать роман, между прочим, несколько напоминает «указующие» полицейские статьи нашей «Литературы».

Как видим, Дарвин — любопытный пример человека, так сказать, «свалившегося под откос» уже в зрелом возрасте — «на полпути земного бытия», — говоря языком Данте. Это была середи-

на XIX века — пора юношеского подъема и экспансии материалистической науки и мировоззрения. Но Дарвин был ещё из тех, кто ощущал свою потерю и мог откровенно пожаловаться на неё, ибо мог ещё более или менее самостоятельно мыслить. Заурядный же ученый материалист XX века уже не признается в таких «глупостях»: он «подкован», он самодовольно изрекает непререкаемые суждения, заблаговременно почерпнутые из какой-либо определенной, апробированной и признанной «идеологии».

Внешняя наука с её материалистическими методами являлась с конца Средних веков светильником знания и средством освобождения человеческого «Я», и эта её роль останется ещё за ней и на грядущие века. Но по инерции своего развития она стала вытеснять, затем заменять и наконец вовсе отрицать духовный мир, в частности, стала отрицать искусство как второй способ *познания*, и в настоящее время оставила за ним лишь роль предмета развлечения. Это и способствовало массовой духовной гибели огромного большинства работников науки и техники, вплоть до самых крупных, которые, например, охотно шли и идут на службу фашизму и милитаризму, «научно» организовывали истребление целых рас, вивисекцию людей и т. д. и спокойно готовят теперь термоядерную войну. Между тем, ни один подлинный художник не отдавал своего искусства на службу, например, фашизму. У фашизма, у капитализма, у милитаризма, у «культы личности» не было и нет подлинного искусства. Они довольствуются либо имитацией старого искусства, которое объявляется классическим, умерщвляется, сушится, затем разрезается на каноны, из которых уже препарируются имитации на конвейере, называемом, например, Союзом писателей, либо «своим собственным» противоискусством, например, джазом, абстракционизмом и тому подобными вещами, происходящими уже не из высшего духовного мира, а из другого, противоположного, низшего мира.

В качестве конкретного примера коснемся лишь важнейших вех одного вида искусства словесного — поэзии (европейской). Её начало — гомеровы «Илиада» и «Одиссея». Обе поэмы начинаются с обращения к музе: «Муза воспой»... Это не риторическая формула, как, например, у Пушкина, и не символ, а точное указание на то, что устами Гомера высказывается некая высшая сила. Поэмы же безличны, что современному человеку, разумеется, непонятно. В них мы видим ещё свежий отзвук древнейшего до-гомеровского прасознания, когда человек жил ещё полностью в духовном мире и чувствовал себя как сосуд, через который выражались духовные силы и существа — боги. Среди богов сил и

богов властей ищет древний догомеровский грек, со своим древним ясновидческим сознанием, причины земных событий, войн, в которых непосредственно участвовали и боги. Во времена Гомера ясновидящее сознание закрывалось, и осталось только живое воспоминание об открытом духовном мире. И Гомер ощущает, что взамен старых ясновидческих сил в его душе живет и инспирирует его Муза — поэтическая фантазия, творящая через образы и формы.

Но уход от духовного мира продолжается. Через 3-4 столетия после Гомера, у Эсхила отзвук древних видений деяний богов был уже так слаб, что в его душе выступало уже нечто вроде неверия в эти видения. Зато на Эсхила действовало уже с особой силой человеческое «Я» (пришедшее с Запада), внутренняя замкнутость человеческой души, и он впервые в состоянии представить человека, который действует из своего «Я» и начинает освобождаться своим сознанием от втекающих в него божественных сил. Вместо богов у Гомера, у Эсхила начинает действовать человек, которого он как драматург ставит в центр действия (Орест против Аполлона). Эсхил же создал и образ Прометея — героя, представляющего освобождение человечества от божественных властей.

Через тысячу лет Данте вводит нас в область, которую может достигнуть человеческое «Я», если оно пробивается *само из себя*, но не к созерцанию непосредственных данных духовных реальностей, как это было у древнего грека, а к погружению в собственную душу, развитию дремлющих в ней сил и самостоятельной победе над препятствующими ей силами («Волчица», «Рысь»). Данте делает также важный шаг к демократизации поэзии: он пишет свою «комедию» на народном языке.

В отличие от Данте, создавшего мир одного человека — свой собственный личный мир, Шекспир создал множество образов, единичных индивидуальностей, но сам он не присутствует ни в одной из них, и за ними мы не видим ничего божественного. Он полностью гасит себя и живет своей творческой силой в своих персонажах. Искусство у Шекспира зашло так далеко, что миром художника стали другие Я. Для этого искусство должно было снизойти с духовных высот, из которых оно произошло, в физически-чувственные реальности бытия.

В смысле демократизации искусства Шекспир также должен был пойти дальше: снизойти в самый презренный повседневный мир — в полутрактирного типа театр в лондонском пригороде, куда высшим сословиям не полагалось ходить. Так снизошло искус-

ство и низвело с собой с высот вниз духовный поток, и благодаря этому создало нечто столь жизнеспособное, как индивидуальные образы шекспировских персонажей.

Перейдем к Гёте. Он, как и Данте, описал личный мир откровений одного человека, но не себя самого, как Данте, а объективно созданного им Фауста, который отнюдь не есть Гёте, хотя все приписываемое ему пережито Гёте. Невозможно представить себе, что Фауст мог бы быть создан в столь многих образах, как галерея шекспировских героев. Это, по существу, каждый человек. Гёте снизошел в то, что в каждом отдельном человеке есть высшее человеческое, создал синтетический образ, ценный для каждого отдельного человека, включающий его будущее, ибо Фауст — первый человек, завершивший великий земной цикл, т. е. достигнувший, после погружения вниз, духовного мира. Таким образом, Гёте первый в европейской культуре осветил великий поворот и перебросил мост в сверхчувственный мир.

В своих научных трудах по оптике (и др.) Гёте положил уже реальное начало будущей европейской науке, которая будет пользоваться двумя методами познания и мышления — логическим и образным — художественным, ибо красота и истина, по Гёте, — одна идея. «Фауст» — это судьба Европы, может быть, более точно — Западной Европы, в нем зашифрована основа и будущее европейской цивилизации. Сам Фауст завершает свой многообразный путь через науку, через соблазны, через дружбу с чертом, через общественное служение, через познание, но не академическое, а с кипением человеческой крови, с душевным жаром, которые он и уносит с собой в высший мир. Поэтому в величественной заключительной сцене «Фауста» обитатели того мира («блаженные младенцы» и др.) и встречают его так торжественно:

«Радостно мы принимаем его... Он и велик и прекрасен, к жизни святой возродясь... Перерастает он нас мощностью членов своих; щедрой наградой воздаст за наши о нем попеченья... Он многому сам научился, научит и нас».

Фауст явился в духовный мир как новый бог, как учитель, как власть имущий. Он выполнил свою человеческую миссию и указал путь каждому человеку.

Таким образом, Гёте уже как бы прочертил первый замкнутый круг великого человеческого земного цикла.

Таково приблизительно воззрение духовной науки на миссию искусства.

После Гёте ведущая роль в мировой литературе переходит преимущественно к русской литературе; Гоголь, Достоевский, Не-

красов, Островский, Толстой, Чехов и другие нисходят все глубже в человеческие и социальные тайники и низины («инфернальные» области), проводя за собой туда духовный свет через нити поэзии, как по электропроводам проводится свет физический.

Русская литература принесла непосредственное ощущение правды, любви, страдания за чужую боль. Она просвечивала и разрыхляла зло. Никакая другая национальная литература не может сравниться с русской по её разоблачительной и сострадательной силе, по её физическому болевому ощущению зла и лжи (например, в «Бесприданнице» Островского). В социальном отношении Горький продолжил эту традицию русской литературы, как ему казалось, до конца, до босяков, до «дна». Но он жестоко ошибся: ни ему (и никому другому) не было тогда ведомо, что то, что он наблюдал в Москве в начале XX века на Хитровом рынке, совсем ещё не было дном, а как теперь говорят — «курорт», где ещё изрекались возвышенные сентенции о человеке, звучащем гордо. А что настоящее дно откроется через 35 лет, в 1937 году, тоже в России, — на Колыме, Воркуте и других местах, что там человек уже не будет звучать гордо, но что одновременно с этим на другом дне — в Москве — человек будет опять звучать гордо, причем это будет провозглашать не одиночка — босяк Сатин, а целый хор босяков из Союза писателей с их «Литературной газетой» во главе. Одним словом, Горький не предвидел *культ личности*, но в конце жизни, кажется, сам попал к нему в зубы (едва не «на дно») физически и духовно.

3. КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

Что такое культ личности (имя Сталина уже привыкли опускать)? Этим «жреческим» названием принято обозначать величайшую в мировой истории диверсию зла и смерти (именовавшихся раньше Сатаной и Дьяволом), дошедшую, по-видимому, до своего предела, действительно до дна, и поэтому, как можно надеяться, последнюю в данном цикле эволюции. Молодой, недостаточно созревший ещё русский народ, на долю которого выпало это испытание за весь мир, выдержал её, правда, с огромными потерями, как вынес и немецко-фашистское нашествие также с огромными жертвами, и тем самым отвоевал свое великое будущее, хотя и очень долго ещё будет залечивать свою душу.

Культ личности это то, о чем Христос предупреждал как о единственном, чего следует бояться — *убийство души*: «Не

бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне».

В сталинских концлагерях — этом последнем звене культа личности — убивали физически людей, предварительно уже духовно обезоруженных, предавших себя, свое Я, свою свободу, своих близких.

Отнимая от них еще и физическую жизнь, их лишали возможности что-либо исправить или вернуть в этой жизни. Только духовная наука может дать представление об их ужасной участи. Дело в том, что в наше время мы вступаем в эпоху свободы, неотделимой от личной моральной ответственности. Свобода (также и образование, наука) уже не остается достоянием небольшого числа избранников, стоящих над народами, а быстро распространяется в мире, настойчиво стучится к каждому человеку, хочет он этого или нет, аналогично тому, как общее образование, например, грамота или арифметика, настойчиво, неодолимо внедряются теперь в каждого человека, независимо от его желания, как внедряется техника в производство и быт. И так же, как был бы губительным возврат людей к старым, примитивным мелкособственническим формам в промышленности и сельском хозяйстве, как было бы губительно для современного человека лишиться по какой-либо причине усвоенного им образования и способности научно, логически мыслить, так же губительно для человека, достигшего некой ступени внутренней свободы, отбрасывание его назад из нашей эпохи, лишение его этой свободы, личности, Я, моральной ответственности. Губительно всякое движение вспять по ступеням эволюции.

Потеряв свою свободу, передоверив её кому-либо вместе с моральной ответственностью, человек немедленно попадает в духовную эксплуатацию каких-нибудь людей, нелюдей, или организаций. Что может из этого получиться, видно, хотя бы, на примере гитлеризма, который устами своего фюрера заявил, что желает сделать из своей молодежи диких зверей, и действительно сделал из людей, передоверивших ему свою свободу, собственно не зверей, а нечто гораздо более низкое.

Чтобы разобраться в таких явлениях, нельзя упускать из виду, что значительная часть людей обретает свободу как бы принудительно, по велению времени, и сами люди пытаются даже сопротивляться ей. Ведь свобода (как и образование) не даруется человеку; её нужно завоевывать долго, всю жизнь, и эпоха толкает человека к её завоеванию, к усилиям, жертвам. Отказаться же от этого завоевания значит скатиться назад. Такова тяжесть

свободы, ответственности, таков трагический искуc нашей эпохи.

И как много людей не выносит этой тяжести и пытается отделаться от своей свободы, сбывать её куда-нибудь за кусок хлеба. Отсюда такое гигантское развитие в наше время партий — этих массовых скупщиков свободы.

Ясно и резко высказал это Великий Инквизитор Достоевского:

«Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается».

И уже совсем популярно сказал об этом поэт Окуджава:

Как славно быть ни в чем не виноватым,
Совсем простым солдатом, солдатом!

Величайшее значение имеет изучение *методики* массового духовного умерщвления людей, разработанной врагами человечества. В данном случае она выглядела примерно так.

Сначала в сознании человека расшатывались до конца традиционные духовные устои: религия, искусство, нравственные идеалы и т. д. Материалистическая односторонность науки, породившая материалистическую идеологию, а также в огромных размерах падение влияния церкви (её исторические преступления) подготовили это расшатывание уже давно, но здесь дело доводится до конца — до полного отрицания духовного мира.

Человек есть животное, *случайно* выбившееся в люди. Именно такова «новейшая» теория происхождения людей, причем доказывается, что сама эта случайность имеет ничтожнейшую вероятность, т. е. существование людей, вообще говоря, практически невероятно.

Правда, для приличия имеется такое кисейное прикрытие: *диалектика*, якобы взятая Марксом напрокат у Гегеля, у этой «идеалистической сволочи» (как обозвал его Ленин), и якобы поставленная им при этом вверх тормашками. Вот при помощи этой перекувырнутой диалектики можно, оказывается, вывести разные тонкие «качественные переходы», «скачки», «базисы и надстройки» и, в конце концов, «объяснить» не только пищеварение, но и эти проклятые «психические процессы», вплоть до трижды проклятого искусства, которое существует несмотря ни на что, не лезет ни в какие материалистические ворота и о котором так обидно мало цитат оставили после себя беззаботные классики марксизм-ленинизма.

После Маркса, Энгельса и Ленина эта диалектика хранится как золотое обеспечение в подвалах философского «банка» — Ин-

ститута философии Академии Наук, являющегося одним из духовных управлений страны, — где ею балуется несколько начитанных молодых ребят — «философов». Старики же «академики», «профессора», идеологическое начальство (так и не успевшие переварить философию в объеме 4-ой главы «гениального краткого курса» Сталина), как и широкие массы интеллигенции, ничего в этом не понимают, но твердо верят в существование указанного обеспечения, при помощи которого можно будет, если понадобится, все объяснить, а сами довольствуются бумажными философскими деньгами, т. е. самым оголтелым, механическим, первобытным материализмом. Безотчетная казенная вера в имеющуюся в запасе диалектику, с одной стороны, идеологические комиссии, отделы кадров и КГБ, с другой, окончательно убеждают и утверждают людей в этом мировоззрении.

Когда, таким образом, весь духовный мир, вместе с душой, изъят, в образовавшийся вакуум вставляется другой бог, вернее целая иерархия, составленная по старым привычным церковным образцам: общество, класс, партия, центральный комитет и наконец вождь — первосвященник, без которого, как выяснилось, все начинает разваливаться. И вот оказывается, что собственная индивидуальность человека — это, строго говоря, его кишки, мозг и т. п., сознание же его, т. е. вся психическая жизнь, — это общественное. Личности нет. Поэтому все добродетели и грехи, т. е. вся мораль существует только по отношению к обществу, а пока — по отношению к классу. Аморально делать то, что вредит классу, обществу, а морально то, что полезно ему. Нельзя воровать общественную собственность (особенно военного и железнодорожного ведомства), но соблазнить чужую жену, собственную мать или корову или же прикончить больных стариков-родителей, чтобы ни себе, ни им не мучиться — этого никакой «научный» диалектический материализм осудить не может, и следовательно это вполне допустимо, ибо общество от этого «очевидно» никакого ущерба не несет (а иногда может получить материальную пользу).

Этой общественной иерархической башней, «научно» построенной человеческими руками против благих сил духовного мира, за короткий срок овладели силы зла и смерти, враждебные человеку согласно незыблемым законам. Люди, лишённые личности, Я, а следовательно свободы, стали игрушкой «общественных» сил — классов, партий, фракций, комитетов, вождей. Иерархическая башня заработала сама по себе, как башенный робот, сорвавшийся с программы. Отобрав у людей личность, она для различения их нашлапала на каждую людскую штуку ярлык — анкету, состояв-

шую сначала из двух вопросов (друг или враг), а потом, по мере её «научного» развития, — из 5-ти, 10-ти, 50-ти и т. д. вопросов. По этим ярлыкам было удобно сортировать людей как мелкий скот или галантерейный товар и быстро сбрасывать их в разные ящики. После отнятия личности и свободы, т. е. духовного убийства, началось физическое взаимное истребление людей: сегодня истребляется группа невинных людей, завтра истребители этой группы истребляются новой группой и т. д. Это и есть то, что называют культом личности.

Наиболее поразительным явлением в этой истории была полнейшая безропотность жертв, среди которых были волевые люди величайшего мужества, например, вожди революции, полководцы гражданской войны. Поведение подсудимых на первых процессах (когда ещё были процессы), когда жертвы покорно сами себя оговаривали, казалось всему миру необъяснимой тайной. А было то, что люди, которые могли беспрепятственно, даже в одиночку, бороться с открытым врагом — с царскими или белогвардейскими палачами — оказались безвольными, пустыми мешками перед судилищем «церкви», созданной их собственными усилиями вокруг себя и внутри себя. Им некуда было уйти от этого, негде искать поддержки и некому жаловаться.

Обычная стандартная методика убийства такова:

1. У намеченной жертвы обнаруживается индивидуальное отклонение, «уклон», «ошибка» организационная, документальная, письменная или устная, по показаниям свидетелей (позже и лже-свидетелей).

2. На собрании, конференции, пленуме и т. д. уклон разоблачается. Чтобы сохранить свое место в партии, или вообще под солнцем, виновник вынужден обязательно публично «признать свою ошибку» и свою вредную деятельность, «отмежеваться» от неё, будучи действительно уверенным в своей правоте. Это уже наполовину убивает его «Я». (Кстати «иметь свое я», считается вообще отрицательным, антиобщественным качеством, «показать своё я», — поступок, свидетельствующий о наличии чуждой идеологии).

3. Но виновник не может просто признать себя побежденным, выйти из борьбы и претендовать, скажем, в качестве пленного на сохранение жизни и человеческого достоинства, как это делается во всех цивилизованных армиях. Нет, он должен ещё «идейно» разоружиться и «покаяться», т. е. публично обмазать себя нечистотами.

4. Наконец виновник обязан ещё «помочь партии» бороться

с его же уклоном, т. е. предать своих единомышленников — предать кого-нибудь.

После этих четырех процедур, несчастные освобождаются наконец почти полностью от источника мучений — от своего Я, от своей доли в духовном мире, — и превращаются в пустышки, в нули или отрицательные существа, лишённые творческих сил. Часто они опускаются на уровень, ниже человеческого: питаются ненавистью или завистью, наслаждаются чужими страданиями, их радость — злорадство. Они пополняют ряды палачей, провокаторов и т. п. и являются ближайшими кандидатами на физическое истребление в концлагерях, несмотря на всё их покаяние.

Только этим обезличиванием людей объясняется пресловутая «тайна» пассивного поведения и послушного самообвинения знаменитых оппозиционеров на первых процессах 30-х годов. В последние годы эту операцию обезличивания можно было наблюдать, например, на Булганине. Недавний маршал и премьер-министр великой державы вышел на трибуну, высек себя, обмазал нечистотами и на глазах у почтеннейшей публики превратился в дохлую крысу, исчез из памяти людской, сохранив, однако, этой ценой оседлую и достаточно жирную жизнь.

Была в лагерях ещё одна категория обесчеловеченных людей — это уголовники, «блатари». Они могли всегда открыто ограбить, избить, зарезать любого заключенного, изнасиловать любого мужчину, женщину, девушку (например, целой группой в тюремной камере изнасиловать девушку, после чего снять с неё туфли и через конвой тут же обменять на водку — все это в присутствии нескольких других молчаливых арестантов). В некоторых лагерях они ходили в женские бараки, оплачивая женские услуги хлебом так: женщине давался кусок хлеба, который она имела право есть только во время случки, после чего остаток она должна была вернуть. Были изобретательные блатари, которые предварительно подмораживали хлеб в снегу, чтобы женщине было трудно его грызть.

Политические заключенные, так называемые «социально чуждые» и «враги народа», были отданы под бесконтрольную власть блатарей, именовавшихся соответственно «социально-близкими», и являвшихся опорой лагерного начальства. Они обзывали политических заключенных фашистами, бахвалились своим своеобразным патриотизмом и заставляли их служить себе самым унижительным способом, вплоть до того, что заставляли кого хотели, брать на себя вину за убийство, совершаемое блатарем.

Это уже были нелюди, существа из царства, ниже человеческого, — вампиры, нетопыри, ведьмы из народной фантазии.

Выдача им на расправу политических заключенных было одним из страшнейших преступлений «культа».

Силы смерти («дьявола») раскрыли свои главные «секреты» — свои самые сильные методы умерщвления людей, и поэтому изучение опыта эпохи культа личности жизненно важно для будущих судеб всего человечества. Эта великая битва в духовном мире в XX веке будет на веки веков одним из основных предметов изучения для науки и искусства. Забвение её, пренебрежение её изучением будет таить всегда смертельную опасность для человеческой души, как пренебрежение знанием свойств токов высокого напряжения или внутриатомных излучений таит смертельную опасность для человеческого тела.

Конечно, не все те, кто подвергся описанной методике умерщвления, потеряли душу. Были и в лагерях люди, прошедшие воспитание по указанной методике и сохранившие в какой-то степени душу и достоинство. Это значит, что в них уцелели, может быть, неожиданно для них самих, глубокие духовные силы, сохранившие их личность, Я.

Были в лагерях и люди, вовсе не обезоруженные духовно, например, религиозные, верующие люди (таким блестяще показан у Солженицына баптист Алеша). По словам наблюдателей, все они сохранили душу и следовательно были только «мучениками плоти», духовно же закалялись. Были и герои, совершавшие до конца выпавший им на долю подвиг — подвиг за всех нас...

Наоборот, нет более жалкого зрелища, чем духовно убитые и физически выжившие там люди, особенно из «начальства». После того, как, спустя три года после смерти Сталина, их соизволили наконец реабилитировать, они бросились искать и восстанавливать свои жизненные формуляры — свои заслуги, честные жертвы, понесенные ими за народ, и свои... кровавые расписки о продаже души Сталину. Но ничего не оказалось, все исчезло на глазах вместе с душой в какой-то гнилой тлеющей куче, от которой все отворачивались, не хотели её замечать. Даже пресловутого дьявольского хохота, как в старину, не было явственно слышно, ибо в дьявола ведь нельзя верить. Родная же партия вовсе не встретила их как родных страстотерпцев, а хмуро отворачивалась от них как от неудобных, надоедливых старичков-инвалидов и вовсе не собиралась призвать их к руководству как консультантов по перестройке партийной жизни в духе ленинских норм, тем более, что у многих из ее членов у самих рыльце в пуху и са-

ми же они продали любимому Сталину эти нормы. Молодежь не хочет их слушать... Она рвется слушать любовные стихи, ибо молодежь любит жизнь, а не смерть.

Из всего сказанного здесь о массовом умерщвлении человеческих душ вовсе не следует, что все дело революции и революционных кадров было ложным или порочным с самого начала, как пытаются утверждать некоторые люди под влиянием горестных разочарований. Нет, что бы ни произошло в эпоху Сталина, а также до и после неё, не подлежит никакому сомнению очевидный факт, что революцию делали, главным образом, самоотверженные честные люди, которые выполнили высший подвиг, отдавая жизнь свою «за други своя» и ничего не ведая о приготовленных для них в будущем бюрократических креслах министров и прокуроров и не испытывая ещё той похоти власти, которая впоследствии захватила многих из них. Революция *произошла*, и следовательно была *необходимым* актом истории, деянием высоких духовных сил, и как происшедший факт не нуждается ни в каких вымышленных человеческих оправданиях или отрицаниях. Засвидетельствовал же поэт, современник революции, хорошо слышавший и видевший её, что «впереди Иисус Христос».

Как смешалось здесь добро и зло, правда и ложь — это великий вопрос для великих мудрецов. Мы можем здесь только привести слова одного из таких мудрецов — Вл. Соловьева.

«Всякое заблуждение... содержит в себе несомненную истину, которой оно есть лишь более или менее глубокое искажение, — эту истину оно держится, ею привлекает, ею опасно, и через неё же только может быть как следует обличено и опровергнуто. Поэтому первое дело разумной критики относительно какого-нибудь заблуждения — найти ту истину, которой оно держится и которую оно извращает».

4. МИССИЯ А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Большие наводнения, потопа оставляют после себя плотные отложения земли, песка, ила, покрывающие все живое, как-могила, твердые наносы, не сдуваемые, не смываемые и зачастую не поддающиеся даже лопате. (Такие гладкие твердые поверхности на больших площадях обнаружены, между прочим, при раскопках на некоторых территориях Ближнего Востока, где происходили гигантские наводнения, описанные в еврейских и вавилонских сказаниях о всемирном потопе).

Нечто подобное оставил после себя в духовном мире грандиозный потоп зла и смерти в эту эпоху сталинских лагерей и тюрем. Это имеет вид духовных окаменелостей, омертвелостей, аналогичных омертвелым образованиям в живом теле (опухоли, «дикое мясо»).

Тяжелые твердые образования затемняют и тянут вниз прозрачную и легкую духовную атмосферу общества, порождают равнодушие — этот самый большой грех, эту самую страшную форму духовной смерти — равнодушие к судьбам всех, всего общества, в том числе к своей судьбе, своему будущему и, между прочим, в невиданных масштабах стимулирует всенародное пьянство.

Эти духовные камни лежат на сердце всех думающих советских людей, а особенно, конечно, бывших мучеников лагерей — заключенных («зеков»), как ледяные глыбы, как застывшие металлические «козлы» в доменной печи при внезапном её остывании. Эти камни вообще не поддаются ни разрушению ударами «извне» (т. е. внешними доводами, рассуждениями), ни механическому удалению, «вырезанию», как почечные камни. Просвечивание же каким-либо духовным светом не может быть применено, ибо непосредственные источники этого света отвергнуты и недоступны. Люди застыли между жизнью и смертью. Единственная связь с духовным миром, которая может быть восстановлена, — это *искусство*.

Единственное пока спасение, первая помощь — это СОШЕСТВИЕ ИСКУССТВА В СТАЛИНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ. Необходимо доплести нить искусства, этот проводник из духовного мира, до концлагеря. ЭТОТ ЖЕРТВЕННЫЙ ПОДВИГ, ЭТУ СВЕТЛУЮ МИССИЮ ДЛЯ СВОЕГО, И НЕ ТОЛЬКО СВОЕГО, НАРОДА И ВЫПОЛНИЛ ПЕРВЫМ ИЗ МУЧЕНИКОВ ЛАГЕРЕЙ — А. И. СОЛЖЕНИЦЫН.

Солженицын, следуя своей миссии, должен был написать не мемуары, не исторический анализ или разоблачение, а *поэму* с ритмическим текстом и композицией, вернее — *былину*, подобную, например, «Слову о полку Игореве», что он и выполнил, написав «Один день Ивана Денисовича». В этой былине концлагерь с его злом *ритмизированы* — конечно, не метрическими ритмами во времени или рифмами, а внутренними, композиционными духовными ритмами, которые при помощи как бы резонанса или «индукции» проникают в душу, например, «реабилитированного» заключенного, глубоко подогревают её подобно УВЧ, разрыхляют лежащий там камень, превращают его в пыль, уносимую духов-

ными ветрами, восстанавливают жизненные функции заочневших частей души, в частности, возвращают слезы и смех.

В этой связи уместно привести следующее указание из духовной науки. У немолодых людей наблюдаются нервные заболевания (приводящие к физическим болезням), причины которых медицина не может постигнуть. Может оказаться, что причиной такой болезни является какое-либо страшное событие в прошлой жизни человека, которое спустилось в подсознательное, обитает там и образовало некую скрытую, замкнутую «душевную» провинцию, которую человек не сознает, «забыл», но которая все же является болезнетворной. И вот, когда человеку напоминают, «вскрывают» это замкнутое душевное образование, поднимают его и вносят в сознание, то это может привести к исцелению.

История этой миссии Солженицына представляет, конечно, огромный непреходящий интерес. Известно, что до своего заключения он не был писателем и, по-видимому, проявлял лишь некоторый интерес к литературе и сочинительству — интерес, во всяком случае, настолько несущественный, что учиться он пошел на физико-математический факультет и ни одного литературного произведения, по-видимому, не напечатал и не сохранил. Между тем, в лагере он почувствовал призвание, призыв, точнее — инспирацию, приказ высших духовных властей: стать поэтом событий, разыгрывающихся вокруг него, иначе говоря, ритмизировать их. Свободный человек может принять или не принять такое назначение, но приняв его, он делает его своим личным, собственным призванием, долгом, связывает с ним свое Я и судьбу, идет ради него на муки, на подвиг. Так и получилось с Солженицыным. Он уже не мог ограничиться борьбой за поддержание своего физического существования и достоинства, что само по себе требовало напряжения всех сил заключенного. Он должен был ещё пребывать в духовном мире и творить образы или, говоря языком духовной науки, переводить образы из хаоса в космос. Но в лагере запрещалось писать. Он мучительно старался запомнить поток мыслей и образов, иногда пытаясь для облегчения памяти переводить их в стихотворную форму, становясь поэтом поневоле. А духовный мир продолжал непрерывно нагнетать в него мысли, образы, ритмы, невыносимо распирая его душу и память.

Не будет! Не было сверкающего мира!

Портянка в инее — повязкой у лица.

О к а ш а х спор, да окрик бригадира,

И — день, и — день, и — нет ему конца.

Искрит о землю мерзлую бессильная кирка.
А солнце блещет, блещет свысока:
Мир — есть! И будет мир! Довлеет злоба днєви,
Но не замкнуться человеку днєм.
Со светлым пониманием, не в гнєве —
Писать! Писать — тепєрь, тепєрь — не потом!
Едва ворочаются мысли жєрновами.
Чуть вспыхнет свет в душе по временам.
Да, тесен круг здєсь очертили нам, —
Просторный круг открою в нем — стихами!
Созвучной, мерной, может быть, сумею уберечь
Такой цєной открывшуюся рєчь!
Тогда напрасно вы по телу шарить станете:
Вот я. Вєсь ваш. Ищите! Ни строки...
А к чуду Божьему, к неистребимой нашей памяти
Вы не дотянете палаческой руки!!
Мой труд! Год за год ты со мной созрєешь,
Год по году Владимиркой пройдєшь.
Наступит дєнь — не одного меня согрєешь,
Не одного меня ознобом обоймєшь...

* *

*

Пусть бьются строки — не шепни.
Пускай колотятся — а ты губой не шевельни.
Не вспыхни взглядом при другом.
И ни при ком, и ни при ком
Не проводи карандашом:
Из всех углов следит за мной тюрьма.
НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА!
Я разных не писал стихов для развлєчєнья,
Ни — от избытка сил.
Не с озорства сквозь обыски в мозгу их проносил.
Купил я дорого стихов свободное течєньє,
Права поэта я жестоко оплатил —
Всю молодость свою отдавшей мне бесплодно
Жєны десятилетним одиночеством холодным,
Непрозвучавшим криком неродившихся детей,
В труде голодном смертью матери моей,
Безумьєм б о к с о в следственных, полночными
допросами,

Карьера глиняного рыжей жижей осени,
Безмолвной, скрытою, медлительной огранкой
Зимой на кладке каменной и летом у вагранки —
Да если б это — в с я цена моих стихов! —
Но тоже и за них платили жизнью те,
Кто в реве моря заморен в молчаньи Соловков,
Бессудно в ночь полярную убит на Воркуте.
Любовь, и гнев, и жалобы расстрелянные их
В моей груди скрестились, чтобы высечь
Вот этой повести вместительный печальный стих,
Вот этих строк неёмких горстку тысяч.
Убогий труд мой! По плечу тебе цена?
Одной единой жизни — ты пойдешь в уплату?
Который век уже моя страна
Счастливым смехом женщин так бедна,
Рыданиями поэтов так богата!
Стихи, стихи! — за все, утерянное нами,
Накап смолы душистой в срубленном лесу!

Но ими жив сегодня я! Стихами, как крылами,
Сквозь тюрьмы тело слабое несу,
Когда-нибудь в далекой темной ссылке
Дождусь, освобожу измученную память —
Бумагой, берестой в засмоленной бутылке,
Укрою повесть под хвою, под снега заметить.
Но — если раньше хлеб отравленный дадут?
Но если разум мой задернет тьма?
Пусть т а м умру! — не дай погибнуть т у т!
НЕ ДАЙ МНЕ БОГ СОЙТИ С УМА!!!

1948-1950

Об этой нечеловечески трудной миссии — выполнять в сталинском концлагере свое высшее личное предназначение — рассказал ещё другой поэт, выполнявший такую же миссию в местах гораздо более страшных, чем лагерь, описанный в «Иване Денисовиче», где его много лет заставляли работать голодного, работать под землей в забое при морозах до 60°, а когда он падал — его били сапогами в лицо. Этот поэт засвидетельствовал:

Нынче я пораньше лягу,
Нынче отдохну.
Убери же с глаз бумагу,
Дай дорогу сну.

Мне лучи дневного света
Тяжелы для глаз.
Каменистый путь поэта
Людям не указ.

Легче в угольном забое,
Легче как-нибудь,
Только не с самим собою
Прошагать свой путь.

И. С. М.

Оказывается, легче просто подневольно работать в забое! Там можно быть пассивным, сбросить страшный груз свободы, выпустить из рук нити своего разума, воли, жизни, потерять сознание и успокоиться, замерзнуть или умереть под сапогами бригадира. Выполнять свою свободную миссию (даже не работая в забое) гораздо труднее! Так, тонущему, замерзающему или голодающему человеку становится, в конце концов, легче, приятнее отдаться смерти, чем бороться против нее.

Эти богатыри боролись *в одиночку* со всеми необъятными силами зла и смерти, физическими и духовными, боролись за всех. Они умирали и воскресали, побеждая смерть. Они пропускали страдания и смерть через свое богатырское сердце, омывали их своею кровью, чутко и нежно ритмизовали их в стихах и прозе, чтобы для тех из нас, кто глубоко переживает их произведения, это заменило личное, физическое и моральное прохождение через лагерный ад, и чтобы таким образом этот ад действительно не повторился. Они честно и до конца прошли путь страдания, по-видимому, единственный, оставшийся в наше время ещё открытым путь очищения и прозрения в духовный мир.

Мы ещё не знаем, сколько всего их выжило духовно и физически — этих героев-победителей из многих миллионов бессловесных мучеников. Может быть, меньше, чем пальцев на одной руке. Но они спасли достоинство эпохи, достоинство русского духа, как горстка повстанцев в варшавском гетто спасла национальное достоинство живых и шести миллионов погибших от рук немецких фашистов евреев.

Нужно еще добавить, что оба наших поэта не имели даже той поддержки, которой располагали в лагере многие — религии. Оба они были люди *сознательно* нерелигиозные. Они боролись буквально в одиночку — даже не призывая на помощь Бога, не философствуя и сознательно не помышляя ни о каких там объективных духовных силах, возложивших на них какие-то миссии.

Солженицын вышел из лагеря тяжело больным, еле выжил, но остался с такой злокачественной опухолью, которая «практически» всегда сводит человека в могилу. Но ей «приказано» было отступить, и она отступила. Солженицын стал здоровым человеком с огромным творческим потенциалом.

В течение примерно пяти лет — это были его первые звездные дни — в глубокой тишине, возможной в наше время только для безвестно затерявшегося подпольного писателя, в обстановке, описанной в «Матренином дворе», или близкой к ней, без помех создавал он свой шедевр — «Ивана Денисовича», а, возможно, и другие, неизвестные еще нам.

В 1962 году время созрело. Подпольный писатель Солженицын, не знавший до сих пор, как бы спрятать получше своего «Ивана Денисовича», передает его редактору журнала, члену ЦК КПСС Твардовскому, который не затрясся от негодования или страха, а немедленно принялся за продвижение этого произведения в верхах, как за дело своей жизни.

Дальше произошла уже настоящая чертовщина, невиданная в благородном советском семействе. В самом деле, известно, что все мало-мальски грамотные советские люди, большие политики, умеют оценивать «с точки зрения», объяснять и предвидеть, чем очень гордятся. («Везде мыслители сидят!», огорчается Евтушенко. Ильф и Петров называли их «пикейными жилетами»). Так вот, если бы ознакомить любого из них в 1961-1962 годах с «Иваном Денисовичем», он сказал бы, что начальство, конечно, не только никогда не разрешит издать такой соблазн, но его и не стоит издавать, ибо он вызовет по меньшей мере «нездоровый интерес» (при этом, «пикейный жилет» сделал бы непроницаемо умное, надменное лицо), а отсюда один шаг к потрясению основ. Но само начальство, которое должно было лучше всех понимать это, вдруг ни с того, ни с сего... разрешило издать «Ивана Денисовича», а редакциям советских газет было приказано расхвалить это произведение! Так, в ноябре 1962 года родился на свет «Иван Денисович» после, примерно, девятимесячного журнального утробного состояния, к великому посрамлению всех мыслителей и политиков — от серой инженерно-чиновничьей массы до серо-черной писательской сотни.

Куда же смотрело высшее начальство? А оно на то и есть высшее начальство, чтобы к нему сходились нити со всех сторон и чтобы примечать больше других; а если оно не досмотрит, не приметит или не захочет приметить, то нечто (назовем его «вре-

мя») тронет его, поначалу вежливо, за локоть, и покажет пальцем: не зевай, открывай шлагбаум.

Всякое же новое общественное или духовное явление, идея или течение входит в мир только тогда, когда в нем имеются соответствующие для этого притяжения, предрасположения, вакуум. Если же общество насыщено определенными идеями или течениями, то невозможно ничего проталкивать туда, как невозможно качать воздух в надутую до предела камеру или насыщать влагой перенасыщенный уже ею воздух. Так вот, «Ивана Денисовича» ждал глубочайший жадный вакуум. В 1962 году, еще задолго до получения разрешения к печати, можно было «слышать», как «Иван Денисович» «со свистом» проникает через щели в вакуумную камеру советских живых читателей и писателей. Несмотря на строжайшие правила обращения в редакциях с рукописями как с секретным материалом, «Ивана Денисовича» беззастенчиво воровали из сейфа Твардовского, перепечатывали и давали возможность читать тысячам людей. Честные писатели успели уже воздать хвалу и поклониться ему как восходящему светилу. К счастью, но непонятно почему, рукопись не успела за это время попасть в руки иностранных издателей, что могло бы принести большой вред и автору и рукописи. А такой свист должен быть услышан начальством, если оно есть начальство и не хочет прятать голову в песок.

В течение считанных дней полуподпольный Солженицын, известный доселе какому-нибудь десятку родственников и односельцев (причем из них даже никто не оценил по-настоящему его деяния), стал известен всему культурному миру. Но такое внезапное — «адиабатическое» — расширение не смутило его, не оглушило ни в малейшей степени. Он был и остается невозмутимым, собранным исполнителем своей миссии, полным творческого накала.

Начальство потрясено, ума не приложит: ведь на XX и XXII съездах с высочайшей трибуны было рассказано всему миру о злодеяниях Сталина, были раскрыты более страшные вещи, чем в «Иване Денисовиче», где даже как будто и никаких ужасов-то нет, *на наш советский взгляд*, и все же официальные разоблачения были приняты спокойно, деловито, а от «Ивана Денисовича» весь мир вздрогнул. Какой-то джин был выпущен из бутылки, и растерянность начальства не прекращается до сих пор. Между тем, «Иван Денисович» уже год как отделился от своего отца Солженицына и как хороший «работяга» крепко орудует самостоятельно.

5. ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В духовной атмосфере вокруг Солженицына завертелись, продолжая расширяться, духовные вихри: вихрь любви и вихрь ненависти. «Иван Денисович» стал неким пробным камнем или, как сказал один читатель, рентгеновским аппаратом, почти автоматически сортирующим людей на живых и мертвых, засохших душ, причем результаты сортировки бывают очень, очень часто неожиданными!

Вот бывшие зеки и подобные им люди, те, у которых на душе самые тяжелые камни, люди, не смеющиеся, не плачущие, «забывшие радость свою», сухие кости. Оживут ли сухие кости? Эти люди, давно оторванные от духовной жизни, думали о себе, вернее, тайно ощущали, что нет, нет, не оживут. Они не знали великого пророчества Иезекииля!

Это пророчество относится непосредственно к Израилю. Но уж если должны ожить старые, засохшие и пересохшие, сожженные в немецких крематориях израильские кости, а они действительно ожили на наших глазах (и не только в государстве Израиль), то тем паче могут быть оживлены кости, засохшие в течение жизни одного-двух поколений. Но для этого нужно слово, творческое слово пророка, поэта, несущее в себе частицу того «Слова», которое некогда сотворило из Хаоса весь Космос, и о котором было сказано в могучем магическом ритме, что Оно было в начале, что «все чрез Него начало быть», что «в Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Многие из «засохших» или «окаменевших» людей (зеков и не зеков) рассказывают о том, что с ними произошло, устно или в письмах (в журнал «Новый мир», в газеты). Вот примеры:

«...Обильные слезы заливали мое лицо, и я их не вытирала, я не стыдилась их, ибо это все, что уложилось в несколько страниц журнала, мое, кровное мое, изо дня в день мое во все 15 лет пребывания в лагере».

«Я плакала и смеялась... Я теперь плачу, а тогда у меня не было слез».

«...Я счастлив. Повесть подтверждает великую истину несовместимости искусства и лжи. После появления такой повести любой писатель устыдится лить розовую водичку. И ни один прохвост не сможет обелить необелимое».

«...Наконец растапливается холод отчуждения. Вот и к нам ко всем обращается человеческое сочувствие...»

«...Я хоть и плакал, читая, но чувствовал себя среди окружающих полноправным гражданином, до сих пор же я чувствовал от них холодные взгляды, напоминающие Печору и Норильск».

«...Чувство счастья, которое испытываешь, читая... трудно передать словами. Счастье — странно звучит рядом с содержанием написанного, но именно им я наполнилась от правды, от соков земли, от давно невиданной настоящей человечности, от того, что вступила в недра большого ума и таланта, от того, что есть изумительный человек, который все знает, все понял...»

«...сегодня я прочитала «Матренин двор» и замерла, в горле сдавило от предельной силы, от человечности, от гениального совершенства, от бесконечной толстовской глубины...»

«...Книга заставила нас с особенной радостью почувствовать — жива Россия! Жива! После долгого мертвящего оцепенения жива!... Связь времен восстановлена — нить, связывающая нашу литературу с Чеховым и Толстым».

«...У меня одно чувство — страшной силы правды».

«...Повесть для меня и мне подобных — последняя надежда на то, что есть где-то правда, что еще не сгинула она, не зачахла до смерти».

Описание мук зеков... «сделано с таким громадным мастерством... да еще проникнуто глубочайшим милосердием и любовью к человеку... Поэтому страдания Шухова каждый считает своими и, читая о них, читает о себе».

«...«Иван Денисович» был для всех нас откровением: испорченная соц-реализмом, я и не подозревала даже возможности создавать на русском материале действительно по-настоящему гуманистические и со всепрощающей любовью вещи».

В этих немногих отзывах ясно чувствуется, как читатели были внезапно ошеломлены, как ударом, шоком от правды, любви, человечности, милосердия, потрясшими их в «Иване Денисовиче» (а также в «Матренином дворе»).

А вот несколько строчек из вихря любви и благодарности, несущегося к Солженицыну из многих, многих сердец, через письма в «Новый мир»:

«Целую Ваши золотые руки». «Спасибо за правдивость». «Земной поклон, Вам, дорогой человек». «Спасибо Вам за Ваше сердце, мужество и за правду».

«...Простите мне мою смелость и назойливость. Но если у Вас есть настоящий дом, где Вас любят, передайте мой привет всем Вашим близким и друзьям... Почтительно жму руку как читатель. И от всего сердца зека желаю Вам счастья как близкому человеку... Спасибо за все».

«...Спасибо Вам, дорогой друг, товарищ и брат! Спасибо за твой великий подвиг, спасибо от всей души. Ничего тебе не жалко отдать, ничего. Читая твою повесть, я вспомнил Сивую Маску, Воркуту... морозы и пурги, унижения и оскорбления... Читал, плакал — все знакомые лица, как

будто сказано о моей бригаде... Еще раз спасибо! Продолжай в том же духе — пиши, пиши. Тебя судьба наградила способностью, которой лишила меня — умением записывать историческую правду... Будь здоров, дорогой друг! Ты уже оставил в истории советской литературы свое имя, и ничем никто его не сотрет...»

«...В пятый раз прочитал про Матрену. Сами Вы тот человек, без которого не стояла бы земля наша. И от этого так хочется в пояс, по-русски, низко, низко поклониться Вам за всю нашу землю, за всех русских людей...»

«...Спасибо за то, что Вы есть... Берегите себя. Счастье, что Вы есть...»

«...Россия — страна писательская, по преимуществу. Как бы в ней ни складывалось, всегда нам было легче, когда у нас был Тургенев, Толстой, Чехов. Нам было мало, чтобы писатель был хороший, даже великий. Нам нужно было, чтобы он был такой, которого можно любить. Вы — тот, кого мы полюбили сразу, кому мы благодарны за это чувство, потому что без любви человеку плохо... Мы очень гордимся Вами, товарищ Солженицын. Ваша слава — это наша слава. Если бы Вы изменили большой правде, это было бы горем для всех нас. Была в России Ясная Поляна, было Мелехово, вот теперь в Рязани Солженицын. Это я не Вам говорю приятное, это — себе... Берегите себя, Александр Исаевич, потому что после того, как Вы написали «Ивана Денисовича», Ваша жизнь уже не принадлежит Вам одному. Ведь Вы даже не понимаете, вероятно, кто Вы и кем Вы стали для нас».

«...Мы Вас любим, мы Вам верим, желаем Вам сил, здоровья. Спасибо».

«...Примите нашу любовь и благодарность, родной писатель, великий писатель!»

«...Ведь нет сейчас города милее, чем Рязань, и нет писателя дорожее... К вам я отношусь коленопреклоненно — и как бы это слово ни звучало выпренно, оно выражает суть дела».

«...Спасибо Вам за любовь и мужество...»

Этот свежий вихрь, бушующий в духовной атмосфере русской земли, уже невозможно погасить никакими «мероприятиями» и зажимами. Поздно!

6. ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ

Наряду с этим отслаивается и консолидируется всё злое и мертвое.

1. «ЗАПЛЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА». Это большие и малые сталинские последыши (зачастую работники лагерей и просто палачи), очень чувствительные к угрозе их положению, чинам и

пенсиям (появилось, как будто, уже и название СТОП — сталинская оппозиция). Эти люди отозвались на «Ивана Денисовича» неслыханно злобным змеиным шипением. Не так легко слушать или читать их, поверить, что они говорят всерьез. Они не могут даже скрыть своей злобной, бессильной палаческой похоти по отношению к самому персонажу — Шухову. Несмотря, например, на утверждение рассказа, являющееся в данном случае документальным «фактом», что Шухов действительно был с утра нездоров, один палач утверждает:

«...Шухов ваш за здоровьишко свое, за свой живот пуще всего трясется. Холодно на улице — к фельдшеру побежал. Даже сам себя убедил, что болен. А на деле-то оказался совершенно здоровым».

И дальше палач не может уже сдержать своего шипения:

«...Он в бою-то, наверно, первым руки поднял, чтобы шкуру свою спасти. А, может, он нарочно сам на себя наговорил у следователя? Знал, что в лагере живой останется».

«...Шухов — законченный эгоист, типичный себялюбек. По-умному хитрый, живущий только ради своего брюха».

«...Шухов — «шакал» квалифицированный, изворотливый, безжалостный. Такой зверь без зазрения совести вырвет кусок изо рта другого, более слабого зверя... За день насобирав Ваш герой килограммы хлеба, и в матрас спрятал и за пазухой держит. Запихивает всё в свою утробу. С голодающими товарищами никак уж не поделится, будьте спокойны!»

Что этому палачу подробное описание и рассказы полного достоинства поведения Шухова по отношению к товарищам, в частности, именно того, как он, действительно, делился «куском». Он читает и не видит, не понимает. Он чует запах пропотевшего зека, кровь ударяет ему в голову, он забывается, как волк, почуявший запах ягненка, «виноватого» уж тем, что волку хочется кушать, как белый плантатор, заметивший ускользающего от него черного раба, или барская собака при виде нищего.

Вот из другого письма:

«...А. Солженицын оправдывает з/к Шухова, что осужден зря. Я, правда, с ним не знаком и не могу об этом судить, но как видно из книги(!), я лично считаю, что он осужден правильно».

О стукачах: «...убивают «стукачей», и это со стороны писателя как бы заслуга заключенных. Все же знают, что такое разведчик, «стукач». В Советском Союзе этих людей уважают... Это передовые, сознательные люди, которые помогают выявить врагов... В лагерях они были из самих заключенных, которые осознали свою вину, они выявляли з/к, которые не хотели работать, предупреждали побег и диверсии против надзирателей и офицерского состава. Если бы не было «стукачей», совершались бы побег, а что

з/к делать на воле(!), ведь ему честным трудом не прожить, значит, он будет заниматься грабежом и убийством мирных граждан».

Есть и спокойные, «рассудительные» лагерные деятели, утверждающие, что лагерь есть лагерь, а не курорт, и все так и должно быть, и что теперь, после Сталина, режим в лагерях стал не легче, а даже суровее в некоторых отношениях. Правда, говорят они, есть одно, по-видимому, *небольшое различие*: тогда сидели невинные, а теперь их нет, но ведь это не характеризует, мол, охранников и лагерный режим.

Но есть и угрожающие письма. Вот письмо Твардовскому:

«...Много разной литературы прочитано мной и, к сожалению, больше плохого качества: уж очень много расплодилось нынче старателей от литературы, но такой дряни, которой Вы попотчевали в одиннадцатом номере журнала «Новый мир», еще не доводилось переваривать. Да по правде говоря, и не переварилась она... И это не только мое мнение — много нас таких, и имя нам — легион».

Это солидная фигура, по меньшей мере крупный сталинский прокурор, привыкший чувствовать себя хозяином земли русской и помыкать даже литературой («уж очень много расплодилось нынче...»), т. е. помпадур, которому ничего не стоит «сжечь гимназию и упразднить науки». Но по своему грязному невежеству (хорошее выражение Достоевского), не заглянув никогда в Евангелие, гражданин прокурор не знает, что обозвал себя и своих единомышленников... свиньячими бесами. «Имя нам — легион», — так именно называли себя бесы, покинувшие человека и, с разрешения Христа, переселившиеся в свиней. На сей раз устами палача глаголет Истина.

2. «БЕСНОВАТЫЕ». Впрочем, многие читатели, в том числе и бывшие зеки(!), напоминают евангельских бесов или бесноватых. В самом деле, тех корчило при приближении Христа, в котором они чуяли Праведника. Они начинали вопить: «Оставь, что Тебе до нас... Ты пришел мучить нас...»

Нынешние бесноватые корчатся при чтении «Ивана Денисовича» и вопят: «Не надо, не надо! Зачем? Отойди, молчи!...» Они инстинктивно боятся правды, ее целебного эффекта. Вот пишет бывшая заключенная:

«...Я бы не напечатала. Да, да! Даже несмотря на красивое предисловие тов. Твардовского. Я прекрасно знаю, что это не выдумка, что все это жуткая правда, что в печати это освещено еще мало. Я была в лагере... поэтому все это хорошо знаю. Печатая «Ивана Денисовича» и ему подобное, мы только даем лишний козырь в руки реакционной печати, которая может

показать, что режим в наших лагерях был близок к режиму фашистских лагерей. Зачем и кому это нужно?... Изъян на собственном теле стараешься как-нибудь и чем-нибудь прикрыть, а не выставлять напоказ... Мы имели жуткую язву на теле нашей Родины. Так не лучше ли ее несколько прикрыть, а не выставлять напоказ всем на обозрение... Все давно прошло(!). Люди выстоявшие вернулись к семьям и творческому труду. Но зачем молодежь на этом учить?»

Все эти аргументы в точности повторяют не только палачи, но и бывшие зеки, у которых это уже является проявлением бесноватости, именно — боязни исцеления от душевного недуга, от внутренней опухоли, «камня» беса. Это — бегство с истерической руганью от целительной правды.

«...Удовлетворены ли Вы, что Ваша рукопись опубликована?... Это ли было Вам нужно? Чего же больше — Зла или Добра Вы сделали сейчас? Понимаете ли, какую борозду глубокую пропадет в душах не литературных, а нормальных ребят наших каждая строка этих воспоминаний?»

Умилительна эта трогательная родительская забота о молодежи, которую нужно оградить от правды.

Еще сильнее корчит тех же читателей от языка «Ивана Денисовича». Люди, за много лет питания казенной многотиражной литературой давно потерявшие слух и вкус к русской поэзии, кричат:

«...Это невиданное по своей дикости словоблудие... издевательство... Я не могу говорить по этому поводу сдержанно и спокойно. Да разве об этом можно говорить без негодования и протеста?»

«...Это настоящая нечистоплотность языка человека, вообразившего, что он так может писать... Следует рекомендовать этому Солженицыну, вместо того, чтобы писать, пусть лучше читает на сон грядущий «За далью даль», особенно обращая внимание на главу «Так было».

Автор этого письма добавляет о себе: «Это... боль души человека, любящего язык и родную литературу, обожающего всю свою сознательную жизнь А. С. Пушкина, его великие творения».

Характерно, что наиболее резкое беснование вызывает именно язык, где читатели явственно подвергаются воздействию ритма рассказа. Например, автор первого из цитированных выше писем, «разоблачая» Шухова как эгоиста и т. д., еще сохраняет видимость нормального полемического стиля, но, говоря о языке Солженицына, уже не может сдержаться и начинает браниться:

«...И за каким дьяволом понадобилось Вам такое махровое выдрючивание!»... «Словесные гадости» и т. д.

Следует уточнить, что нападки на язык Солженицына идут по двум линиям: во-первых, нападки на стиль и словотворчество

во автора (один автор даже назвал его футуристом) и, во-вторых, — особенно резко — на «блатные» слова.

Палачи, следователи, прокуроры, спокойно «паявшие» полумертвым невинным людям после пятнадцати-двадцатилетней каторги очередную «десятку», не выносят «грубых» слов в рассказе о лагерях. Обижаются, волнуются, вопят... разумеется, все это из боязни «развращения» молодежи.

Следует еще отметить у некоторых читателей тенденцию поучения, командования писателем и даже всем искусством вообще:

«... Покажите, что нет у этих людей личной обиды, и живут они, движимые большими чувствами...»

«...Этим критерием (доступности), по моему мнению, и должны руководствоваться в своем творчестве все работники искусства, в том числе и литераторы».

Точное знание того, о чем *«должен писать»* каждый писатель (и «все работники искусства») — это, конечно, результат многолетнего чтения «Литературки».

3. ПЕЧАТЬ. Поскольку случилось так, что «Иван Денисович» был сразу же одобрен высочайшим начальством, то, естественно, что вся печать тут же, наперегонки расхваливала его. Опомнились несколько позже, так что пришлось уже пускать в ход запасное оружие: замалчивание, а основное оружие — облаивание — применять только к другим рассказам Солженицына.

Есть, впрочем, одно исключение: «Комсомольская правда» осмелилась не пойти на поводу у начальства и ни разу «не замаралась» об «Ивана Денисовича» — ни разу даже не произнесла этого сакраментального имени, попросту скрыла его от своих читателей. Она одна устояла на ногах, когда были повергнуты на колени все органы печати. Может быть, это опять-таки заботливое «ограждение» молодежи, а может быть, просто дальновидная газетка хочет всех перехитрить, и когда все отрекутся от Солженицына (а это «буди, буди!»), получить право выпятить живот, ткнуть указательным пальцем, расхохотаться: «Дурачье! Растерялись!..» И однажды, в феврале-марте 1963 года, казалось, что этот сладчайший миг наступает, чуть-чуть не наступил... Газетка уже начинала рычать на Твардовского и на «Новый мир»... Но что-то не сработало... Что ж, старенькая, многоопытная молодежная газетка будет терпеливо ждать и, вероятно, дождется скоро...

Впрочем, может быть, дело здесь еще в тенденции сохра-

нить наметившуюся странную традицию перехода лидера комсомола на должность министра КГБ. А всему миру известно, что руководить ведомством государственной безопасности могут только люди надежные, консервативные, не имеющие ничего общего с подрывателями полицейских основ, как тюрьмы и лагеря, и вообще с либеральными болтунами, вроде «Литературки», которая то и дело получает затрещины то в мозолистую задницу, то в заплеванную морду. Но ей-то что! Ведь какой-нибудь Чаковский или Ермилов не метят в министры КГБ...

④ ПИСАТЕЛИ. Кроме немногих «стариков», «в гроб сходя, благословивших» Солженицына, вся остальная писательская масса с ужасом почувствовала то, что почувствовал гоголевский колдун, когда всадник на Карпатах схватил его и поднял над бездной: «...Вмиг умер колдун и открыл после смерти очи».

До ноября 1962 года они могли еще как-то считать себя литературными «колдунами». Но в момент выхода «Нового мира» с «Иваном Денисовичем» они мгновенно умерли, несмотря на то, что осталась слава, у некоторых всемирная, миллионные тиражи и доходы, автомобили, виллы, почести. Гоголь, великий знаток мертвых душ, с потрясающей силой и точностью сказал об этих «колдунах»:

«Но уже был он мертвец и глядел, как мертвец. Так страшно не глядит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по сторонам мертвыми глазами и увидел поднявшихся мертвецов от Киева и от земли Галичской, и от Карпат, как две капли воды схожих лицом на него...»

Вот, оказывается, где настоящий соцреализм: в гоголевских кошмарных образах, а не в кошмарной «оптимистической» лжи Бабаевских и Сурковых. Такова призрачная, трупная жизнь этих писателей. Они устраивают и еще долго будут устраивать «семинары», где обучают молодежь писать по их образцам, «симпозиумы»; где болтают со своими иностранными приятелями, сами разъезжают и пишат, пишат... Но все это призрачно. Жизнь ушла. Все это происходит уже на «том свете» Твардовского. Они растерялись до смешного, раскрыли рты, как глупая баба при встрече с губернатором, забыв даже поздороваться. Да, уже в течение полутора лет у них не хватает духу просто познакомиться со своим новым прославленным собратом. Они избегают его, молчат о нем, может быть, плачут на груди у своих любовниц, стараются не издавать его, не замечать, но сами же чувствуют, как все это глупо. Только немногие, самые тупые и лакейские души из них, соглашаются еще иногда тявкнуть на Солженицына из

грязной подворотни «Литературки», но и они чувствуют, как это стыдно. Другие же — писательские бонзы — пытаются за кулисами рядиться в мундир графа Бенкендорфа, а братьи поменьше не дают покоя лавры Греча и Булгарина. А ведь все они, как будто совсем недавно, в старших классах средней школы (как время-то бежит) получали пятерки по русской литературе за то, что бойко и гневно разделявали под орех этих жандармов, которые душили русскую литературу, свободное слово, Пушкина!.. И еще получали пятерки за сочинения на тему о «Портрете» Гоголя. Потом выросли и уже сами, своими словами, писали, печатали и читали лекции об этом. Как время бежит... И куда девалось дыхание, свежее дыхание, чистый воздух? Ничего этого нет. Есть только свиное рыло.

Мгновенную смерть литературных «колдунов» ощущают и некоторые писатели. Так, писатель Г. Бакланов писал в «Литературке», что после «Ивана Денисовича»... «становится совершенно очевидно, что писать так, как писали еще недавно, нельзя уже». А Твардовский заявил на симпозиуме с иностранными писателями, что «ни одно литературное явление уже не может быть рассматриваемо без сопоставления с этим художником».

И то и другое означает по существу, что появился живой писатель, и с этого момента уже нельзя жевать мертвечину.

Впрочем, нельзя сказать, что писатели из живых стали мертвыми в один миг. До этого смертельного сдвига, скачка, они долго гнили, эти инженеры человеческих душ, и сгноили целые пласты русской литературы. Сколько они опошили, сгноили за много лет одних только хороших русских слов! — раздумье, взволнованный, идейность, труженики («труженики совхоза» и т. д.), «полюбившийся народу», общественность, вождь, принципиальность, чуткость и много, много других слов, которые для человека с нормальным слухом невыносимо теперь ни читать, ни писать в их прямом смысле. Как не вспомнить «словесный гной» Иудушки Головлева!

Впрочем, некоторые слова устояли, не сгнили, например: коллектив, патриотизм, родина, трудящиеся и др. Справедливость требует отметить, что дореволюционная литература и интеллигенция, в свою очередь, опошили немало высоких слов: истина, красота, добро, возвышенный идеал, духовность и другие. Любопытно, что эти «подгнившие слова» как будто проветрились, отдохнули без употребления и в настоящее время начинают звучать свежо и полнозвучно. Может быть, и всяким «раздумьям»,

«взволнованностям» и т. п. тоже удастся отдохнуть и когда-нибудь восстановиться...

Мертвые писатели и все прочие представляемые ими мертвые души хотят не более, не менее, как покончить с «лагерной» тематикой. Промелькнула, дескать, такая эпизодическая «модная» тема, и хватит. Незачем копаться в старом грязном белье. Вернемся лучше к описанию нашего чудесного *завтра* (тоже протухшее словечко). Но это — безумное желание. Покончить с этой «тематикой» можно только покончив с русским народом. Ибо нет и не может быть для русского народа более важной тематики, чем точное знание постигшего его исторического зла, чем тщательное изучение вредоносных сил, нанесших его душе такие страшные раны, чтобы отражать эти силы в будущем, как изучение болезней, необходимое для борьбы с ними.

Много статей будут писать по этой «тематике». Будут великие писатели и великие эпопеи. Это будет очередной вклад русского народа в мирную духовную жизнь. Но никогда не забудет мир великую битву на дне человеческой души в сталинских концлагерях против всех торжествующих дьявольских сил зла, лжи и смерти, не забудет тех мужественных одиночек, которые победили в этой битве, мертвые и живые, и тем спасли душу человечества, и среди них с благодарностью будут вспоминать первого живого вестника победы — *Александра Исаевича Солженицына*.

(Окончание следует)

Квадрильон

С птичьего полета или из подворотни я глядел — не знаю. Как розу ни назови, она одинаково хорошо пахнет. Но в один прекрасный день я увидел, что люди, мои современники, распадаются совсем не на те группы, про которые учат в школе. Гораздо более важно разделить людей по тому, какому писателю они могли бы присниться во сне: Толстому? Гоголю? Достоевскому?

С классами или профессионально-техническими группами эти привидевшиеся мне слои не совпадают. В некоторых отношениях классы продолжают существовать: у одного инфаркт, у другого геморрой, у одного дача, у другого нет дачи и т. д. Один с удовольствием слушает Чайковского и даже Баха, другой — только Окуджаву. Но всё это потеряло для меня значение.

Я не страдаю от голода, от невозможности купить автомобиль — Бог с ним, доеду в метро. Но у меня какая-то другая тоска. Нельзя насытить её, накормив ее согласно труду и даже по потребностям, сколько влезет. Я знаю, что влезет (из того, что можно взять) немного. А хочется чего-то такого, что не укусишь, как локоть. Что мне до того, как новый класс, описанный Джиласом, по-новому организует производство и распределение барахла, — если мне плевать на барахло? На хлеб и кров над головой не плевать. Но ведь это решенная проблема. Правда, не во всех странах. Китайцам сейчас не до того, чтобы кусать локоть. Им бы чего посущественнее. Но наша земля велика и обильна, в том числе техникой и химией, нехватает ей только одного — порядка. В конце концов, порядок будет наведен, вопрос «принцип или масло» будет решен в пользу масла, и в трактирах — как уже было предугадано в сказке о ретивом начальнике — станут торговать паюсной икрой. Что же будет тогда?

Тогда всем станет ясно, что главный вопрос двадцатого века — вопрос о неукушенном локте. Голод, который нас мучит, заставляет просто отдать кесарю кесарево. В форме динария, если кесарь не глуп, или в форме сдачи (бывает и такая плата). А еще лучше — заменить кесаря каким-нибудь счетно-решающим устройством.

Людям надо делать другое: копать колодец в ничто, в никуда, к нерожденному, неставшему, безусловленному...

И я, по-видимому, ищу товарищей в этой работе. И с этой новой точки зрения заново пересматриваю общество. Я нахожу что-то общее у *всех* героев Гоголя, у *всех* героев Толстого и т. д., и это что-то кажется мне важнее, чем разное отношение к средствам производства. Граф Ростов богат, а Тихон Щербатый беден, но оба они принадлежат к одной породе. Что их объединяет? Вот что мне важно!

В «толстовском» слое есть что-то родовое, роевое, архаическое, как поэмы Гомера. Сохраняется след племенной культуры: нераздельность Бога и рода, связанность общей святыней и общей землей (община — вместо рода, земля — вместо тотема)... «О русская земле! Уже за шеломянем еси!» Это возрождалось почти без перемен, от замыслов Бояна до черновигов «Войны и мира»; но сейчас родовое исчезает. Там, где поля пахут тракторами, толстовский слой выпахан. Осталось несколько стариков: старики Кирсановы, старуха Матрена, немолодой уже Иван Денисович. Они как-то знают тайну (сами не зная, как). Но их самих почти уже нет.

Второй слой, гоголевский, я назвал бы псевдонародным. Это мир городничих и держиморд, хлестаковых и осипов, майоров ковалевых и поручиков пироговых, иванов ивановичей и иванов никифоровичей. Все они существа только отчасти живые, — как хвост змеи, который продолжает извиваться, отрубленный от тела, как ногти, растущие на трупе. В сущности, с любым из них может случиться, как с майором Ковалевым: думали все, что человек, а оказалось — нос. Это не люди, а рыла (кувшинные и прочие), или другие органы, еще менее почтенные. Органы рода (роя), отрубленные от него и приросшие к какому-то агрегату (чаще всего — государству). И если род относится к Богу, как дикий и вольный зверь к человеку, то рыла — это приученный к ярму зверь, скот. Журавель в небе рылам ни к чему. Для них найкраща птыця е ковбаса.

Гоголь назвал их мертвыми душами. Мертвые, потому что органической, живой связи с целым (через род и землю) у них уже

нет. Остались только привычки, рефлексy родовой жизни (как рефлекс извиваться у отрубленного хвоста.) И эти рефлексy создают видимость существования, — даже неплохого, если в положенные часы поступают питательные соки.

Когда мертвая душа голодна, ее охватывает беспокойство, и поведение ее резко меняется. Поэтому мертвые души делятся на два разряда:

Два сорта крыс на свете:
Те сыты — голодны эти...

О тех и других всё сказано у Цветаевой:

Два на миру у меня врага,
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных и сытость сытых.

Дорвавшись до пирога, голодные рыла быстро наедаются и отъедаются. Святое беспокойство исчезает (вместе с памятью о тех, кто вытолкнул их распоряжаться пирогом). Происходит простая перемена мест слагаемых, которая, как известно, не меняет суммы. Исключения укладываются в одну десятую (или сотую) и добродетелями своими вызывают несбыточные надежды, необходимые, по-видимому, для нормального хода процесса.

Оторванные от земли и рода люди гоголевских глин, привыкшие за что-то цепляться, схватились за место. Место не только красит их: оно создает их, как Бог создал мир, из ничего. Место определяет их взгляды, вкусы, мораль. Мораль, которую Сквозник-Дмухановский совершенно серьезно преподносит Держиморде: «Не по чину берешь!» Не та номенклатура.

Ибо человек гоголевских глин совершенно полно, искренне, без малейшего надлома отождествляет себя с местом, а место — и доходы от этого места — с собой. Все они воры, но в то же время патриоты. «Если завтра война», — люди гоголевских глин, за немногими презренными исключениями, готовы (не переставая воровать) положить свой живот на алтарь отечества. При этом понятие отечества они никогда, даже умирая за него, неспособны еще отделить от понятия «ваше превосходительство».

Всё это кажется очень нелогичным. Но рылам плевать на логику. Логике рыло воспринимает как путаницу; логика нарушает, путает привычный уклад жизни рыла. А рыла любят жизнь, — во всяком случае, не меньше, чем миргородская свинья любит свою лужу.

Рыла любят пожить, и если не разбираются в цветах жизни, то очень даже обожают ее ягодки, её, так сказать, клубничку. Рыло, безусловно, предпочтет попользоваться насчет клубнички, чем взорвать триста миллионов людей ради вящей славы Божьей. В двадцатом веке это не так уж плохо. Рыла по-своему совершенны в своей любви к жизнедеятельности прежде, чем к смыслу ее. Когда война стала грозить атомной бомбой, мертвые души стали сторонниками мира. Сравнительно с Павлом Федоровичем Смердяковым в мертвых душах есть что-то живое и теплое. Само слово рыло невольно ассоциируется с теплокровными; оно пахнет жизнью. И не рыл ли воспел поэт?

Немного теплого куриного помета
и бестолкового овечьего тепла...
Я всё отдам за жизнь. Мне так нужна забота.
И спичка серная меня б согреть могла...

Третий слой в девятнадцатом веке никем не был описан. Его только называли: Чернышевский — «новыми людьми», Митенька Карамазов — Бернарами. Это не мертвые души, а скорее неродившиеся, вылупившиеся из книги, как гомункулус из колбы. Иногда, ценой огромных мучений, они способны ожить. По отношению к народу в старом смысле этого слова, гомункулусы — слой народолобивый и в то же время антинародный. Почему — ясно будет из дальнейшего.

Гомункулусы так же, как мертвые души, — функционеры. Можно рассматривать их, как и рыл, в качестве продуктов распада первоначального рода (роя), обособление отдельных его органов и прилипание к новым агрегатам. В гомункулусах обособился мозг; они созданы из лобных долей родового мозга, иссеченных скальпелем анатома, и защищены от жизни стеклянным колпачком понятий. Тогда как рыла (судя по частым воспоминаниям, мелькающим в их языке) возникли путем естественной эволюции из гениталий или аннуса; понятия, идеи, принципы их не стесняют.

Говоря точнее, рыло воспринимает действительность спинным мозгом; у него особый ум, аппаратный (образец такого ума описан Толстым в князе Василии Курагине); он почти инстинктивно делает всё, чтобы получить место, удержать его, передвигаться на лучшее и т. п. Напротив, гомункулус обладает в своих больших полушариях исправно действующим счетно-решающим устройством, и деятельность этого устройства иногда становится для него самоцелью, до полного забвения практических выгод.

При распаде рода будущие рыла прилепились к тому, что непосредственно дает хлеб — к аппарату царского дома, купеческого дома, публичного дома и т. п., смотря по тому, что доступнее и выгоднее. Гомункулусы — в известном смысле идеалисты. Они прилепились к науке, — то, что в них функционирует, — интеллект. И хотя интеллект — только функция, а не целостность человеческого бытия, но функция превосходная, несравнимая с деятельностью желудка и зубов. Она не может быть стопроцентной работой рычага в агрегате; часть работы интеллекта уходит, с точки зрения агрегата, вхолостую, на жизнь духа. Вслед за Невтонами земля российская начинает рождать Платонов. Или сами Невтоны начинают вести себя как Платоны:

Открылась бездна, звезд полна.

Звездам числа нет, бездне — дна...

Гомункулусы — прирожденные враги и соперники рыл. Что рылу здорово, то гомункулусу смерть, и наоборот. Гомункулус открывает форточку (потому что он знает, что свежий воздух полезен), рыло закрывает: боится сквозняков. Гомункулус не может без логики — рыло ее не выносит. Гомункулус любит инструментальную музыку, рыло — хор Пятницкого, парады и равнения. Наконец, задумавшись и перестав добросовестно функционировать, интеллектуал превращается в Ивана Карамазова, рыло — в Смердякова.

Некоторые считают, что механизм современной цивилизации, слишком сложный для понимания рыл, требует замены их интеллектуалами. Власть гомункулусов уже получила название (технократия). Однако в наличии ее нигде нет.

Чисто теоретически рассуждения интеллектуалов кажутся безупречными. Но практически рыла всегда берут верх. У них великолепно развито чувство коллективного самосохранения, инстинкты стадности, партийности. Рыла могут драться между собой — и с гадами, о которых речь будет ниже, но запах интеллектуала сразу вносит единство в их ряды. Чтобы посрамить рыл, нужно разрушить инстинкты, поголовно испортить человечество средним и высшим образованием. Это — возможный, но (как мы увидим дальше) очень опасный путь.

Бернары, как я уже говорил, не были хорошенько описаны в нашей классической литературе, но сейчас их развелось так много, я столько встречал (а с некоторыми и дружил), что попытаюсь самостоятельно разработать тему.

Рост популяции бернардов связан с развитием точных наук; но бернар — вовсе не обязательно ученый. Бернгард Фильберт (написавший книгу «Христианское пророчество и атомная физика»), вопреки своему имени и профессии, совсем не бернар. Вообще современные ученые, по большей части, только одним боком бернары. Бернар — тип ученого прошлого века. Современные — какие-то метафизики: Шредингер пропагандирует веданту, Флоренский читал лекции о диэлектриках в рясе и клобуке...

Раскалываясь на своих вершинах, тип бернара широко входит в быт, становится популярным. Бернары умножились среди инженеров, учителей, встречаются они и между бухгалтеров, создающих новые формы учета и отчетности. Наконец в эпохи революций некоторые бернары (начиная с Карно) становятся теоретиками и практиками политического действия. В этой функции они участвуют в отсечении голов других бернардов, равнодушных к политике (случай с Лавуазье). Марксизм привлек в ряды рабочего движения большое число бернардов (ракитиных, о которых речь пойдет ниже). Они внесли свою лепту в историю девятистых, десятистых и двадцатых годов.

Бернар в спокойном, аполитическом состоянии и бернар в возбужденном, политическом состоянии одинаково убежден в разрешимости всех вопросов научными методами. Но бернар нормальный режет лягушек, а бернар взбаламученный — людей. Поэтому их деятельность невозможно одинаково оценить. Нормальный бернар занят решением задач, которые могут быть строго сформулированы. О явлениях, не поддающихся строгому описанию (например, о счастье личности или общества), он позволяет себе выразить твердую уверенность, что когда-нибудь и эти явления будут описаны языком математики, и тогда счетно-решающие устройства будут щелкать вопрос «быть или не быть?», как орешек. Эти разговоры, однако, не выходят за рамки курительной комнаты Ленинской библиотеки или самое большее — страниц «Литературной газеты».

Наоборот, бернар, сорвавшийся со своей орбиты, начинает решать вопрос «быть или не быть?», ударивший ему в сердце, без всякого промедления, и вместо науки получается научная идеология, вместо эксперимента — красногвардейская атака на капитал, ликвидация кулачества, большой скачок...

К сожалению, чрезвычайные обстоятельства и вызванные ими страсти почти совершенно лишают бернара, втянутого в политику, способности к трезвой и честной научной самооценке. Все возражения против научной идеологии расцениваются по принципу

«кому на пользу», и наука по всем правилам диалектики превращается в собственную противоположность.

Чем больше эта научная догма воплощается в жизнь, тем глубже рана, нанесенная жизни, безысходней тупик, недостижимее выход из него. Словно проклятие лежит на всем, что начал великий преобразователь, гений человечества, Фауст — Бернар. Сами добродетели его становятся скрытыми пороками. Он неподкупен, настойчив, деятелен, справедлив, умен, он плавает в волнах революции, как рыба в воде; он отзывчив, чуток, добр (да, добр, несмотря на террор), он любит народ. Всё равно. Тем прочнее традиция, которую он создал, и тем она страшнее.

Фауст-Бернар, вождь трудящегося человечества, обычно обладает прожекторным типом ума, со страшной силой нацеленного в одну точку и в то же время способного быстро поворачиваться, освещая предмет с разных сторон. Вся его огромная энергия сосредоточена в одном кругу вопросов, так или иначе связанных с одной технической задачей — захватом власти. Здесь он великолепен. Но победа — катастрофа для Бернара. Захватив власть, он, по характеру своему, неспособен остановиться, предоставить жизни, освобожденной от препятствий, течь своим путем. И начинает планировать, экспериментировать, калечить...

И всё же, несмотря на вред, который бернары иногда приносят, это, несомненно, самая здоровая часть современного общества. К ним не может подступиться тоска — мать всех пороков и идеалистических вывертов. У них есть здоровое занятие: решать интеллектуальные задачи. Этот кретинизм интеллектуальной жизни сравним с кретинизмом жизни деревенской так же, как и поэзия научных открытий — с поэзией сельского труда.

Бернар весь ушел в функционирование своего интеллекта. То, что вне интеллекта (с освещенного интеллектом подопытного угла действительности), для него только место отдыха или пустырь.

Бернар *чувствует* поэзию, музыку, живопись. Он любит Баха (а не Соловьева-Седого: вкусы интеллектуалов резко и даже полемически противопоставлены вкусам рыл). Но попробуйте сказать, что музыка Баха — более глубокое познание Целого, чем квантовая или еще какая-нибудь теория; физик только презрительно улыбнется. Так улыбался Иван, слушая Алешу. Но у Ивана бывали минуты, когда он хочет понять, что не укладывается в эвклидовский разум. Иван тоскует, Иван знает, что ему чего-то недостает. Бернар в этом отношении — недоразвитый Иван. Недоразвитый в целом из-за слишком сильного развития интеллект-

туальной машины. Представим себе Ивана, который бы написал не маленькую статейку о монастырском суде, а пишет один трактат за другим, или режет лягушек и т. д. Беседовать с чертом у него бы просто не было времени. Инерция размахавшегося интеллекта так велика, что самые жгучие моральные вопросы не в силах из нее вырваться. Энрико Ферми закончил разговор об атомной бомбе словами: «В конце концов, всё это — превосходная физика!» Тут есть надежда, что развитие науки, в конце концов, ведет к добру. Так сказать, «что хорошо для Джeneralал моторс — хорошо и для американского народа». Но больше всего — профессионального кренинизма.

Нормальные бернары любят свое дело так же, как герой Глеба Успенского — поле, лошадь, хитроумную несущую... Это честные пахари научно-технической цивилизации. В интеллектуальном блеске они находят своеобразную поэзию и музыку, и она кажется им высшей музыкой (как некрасовскому помещику — лай собак: «Что твой Россини! Что твой Бетховен!»). Кто бы ни правил столицей, крестьянин не может оставить неубранное поле, бернар — незаконченный опыт: «в конце концов, всё это — превосходная физика».

Бернары гордятся тем, что увеличивают власть человека над природой. Но власть — не безусловное благо. Она оправдана как альтернатива анархии, как меньшее зло. Это меньшее зло легко может стать большим, если люди перестали понимать, что имеют дело со злом, а не с добром.

Власть над природой хороша, поскольку освобождает человека от страха, голода и болезней. Но власть эта сама по себе болезнь, похуже чумы. Она отчуждает человека от всеобщего ритма и строя, от самого себя. Вся человеческая культура — только конденсация ритмов, разлитых в природе. Стремительное развитие власти над природой прорывает пуповину, питающую душу зародыша. Агрегаты цивилизации, растущие как опухоль, разваливают целые культуры. Ученые решили вопросы, которые тысячелетия ставили в тупик пахарей и пастухов. Но решение создало новую ситуацию, с которой наука не в силах справиться. И если завтрашний день принадлежит ученым, то послезавтрашний — кому-то другому. Тому, кто освободит нас от апокалиптического страха, созданного самой властью над природой. Не только от страха атомной, бактериологической, черт знает какой войны; еще сильнее давит страх пустоты...

Слой гомункулусов имеет не только благородную разновидность (бернаров), но и вульгарную (ракитиных). Скажем несколько

ко слов о ней. Ракитин, как и Бернар, верит в науку; но в отличие от Бернара, он и себя не забывает. Для Бернара наука сама по себе — величайшая ценность и радость. Для Ракитина она скорее средство, средство добиться успеха. Ракитин относится к Бернару, как купец к мужику. Это не специалист-идеалист, а специалист-рвач. Но как в купце есть что-то здоровое, мужицкое, так и в Ракитине есть что-то бернарское, положительное. Ракитин до крайности легко приспосабливается к обстоятельствам; в обществе гадов и рыл он ведет себя как гад и рыло, но особенного удовольствия это ему не доставляет; он человек порядочный и предпочитает более мягкие формы борьбы за существование.

Получив телевизор и дачу, ракитин благодушествует и ведет жизнь, мало чем отличающуюся от жизни Ивана Ивановича (разве книжки читает поумнее). Между ними может возникнуть спор из-за разрушенного забора, но, в общем, Ракитин (как и Иван Иванович) — сторонник мира.

Ракитин не чужд поэзии и иногда пописывает стихи.

Эта ножка, эта ножка
разболелася немножко...

Технически его стихи бывают довольно совершенными (техника — сильная сторона Ракитина); они вполне современны по форме и по идее — см. «Сорок отступлений из поэмы «Треугольная груша».

В общем, в ракитине обнаруживается нечто, связывающее головоногих (гомункулусов) с рылами. Помню, я был на творческом вечере одного юного поэта из рода ракитиных. Он удивительно напоминал резвого нахального поросенка, и даже лавровый венок, которым девушки, ликуя, порывались венчать его, очень подошел бы к делу. Нехватало только хрена. Впрочем, через некоторое время рыла и гады сожрали бы его без всякого хрена, в собственном соку.

Четвертый слой — это неприкаянные, ни к чему не способные прилепиться (ни к государству, ни к науке). Они могут найти себя только в соприкосновении с миром иным, в Боге или в дьяволе.

Достоевский пытался спасти безотцовщину, затолкав ее назад — в род, в народ. Но даже сто лет назад это было утопией. А сейчас просто некуда заталкивать. За словом народ стоит только желание Ивана Никифоровича, чтобы его считали Тарасом Бульбой; желание само по себе очень любопытное и может стать предметом специального исследования, но принимать его за реальность

невозможно. Народа больше нет. Есть масса, сохраняющая смутную память, что когда-то она была народом и несла в себе Бога, а сейчас совершенно пустая. Окунать в народ — это значит сейчас окунать в пустоту. Это — испытание, которое может выдержать разве святой, а не спасение для слабого. Первый шаг, который вынужден сделать слабый, — замкнуться в себе, обособиться и спасти себя от растворения во всеобщей жиже. Второй — найти друзей, схватиться за них и замкнуться в искусственной, обособившейся от болота среде, в своего рода оранжерее, защищенной хрупкой стенкой гордыни. Здесь, где никто не наступает на ноги, можно дать кристалликам человека возможность немного окрепнуть и развиваться. Третий шаг — выйти на несколько шагов из оранжереи... И только двадцать третий — вернуться в массу. Вернуться как власть имущие, вернуться как боги, знающие добро и зло, способные вдохнуть душу в вязкую глину.

Народа нет. Есть отдельные люди, но народа нет. Народ должен быть воссоздан. И зерно народа — это кучка, которая имеет мужество не подчиняться массе, кучка, которая ищет.

Безотцовщина более или менее образованна, просвещена, стоит на почве разума. Но разум ее бьется на пороге жизни, — не в силах войти в нее. И это мучение не каждому по силам. Многим не по силам, и они начинают думать: а может, жизни вовсе нет? Может, жизнь выдумана, и есть только смерть?

Очень важно понять, что Смердяков — не обязательно повар. Он может быть юристом, как горьковский Самгин, академиком, как Л., художником, как С., поэтом, как Г. Совершенно неважно, к какой профессионально-технической группе случай его приткнул. Смердяков — специалист, и с презрением относится к карамазовым, у которых нет специальных знаний, тогда как он всегда может открыть ресторан в Питере. Но это одна оболочка, как фрак и орден Льва и Солнца у ночного гостя Ивана Карамазова или должность архивариуса у персонажа из сказок Гофмана. Под форменным пиджачком Павла Федоровича поблескивает зеленовато-серая чешуя. И когда он сидит в президиуме, красная бархатная скатерть чуть заметно колыхнется: это, вздрагивая от аплодисментов, сладострастно извивается драконий хвост.

Смердяков может окончить сельскохозяйственный политехникум и четыре курса заочной сельскохозяйственной академии, а потом всё бросить и приняться за романы — доносы. Или двинуть вперед мичуринскую биологию и втайне писать те же доносы.

Что бы ни делал Смердяков для пользы трудящихся, это

один обман. Настоящее дело его — интрига, донос, гадость. Порядочные люди гадят ближнему по необходимости, без удовольствия. Смердяков от гадостей пьянеет, как кот от валерьяновых капель. Гадить, уничтожать, отравлять ядом — пафос и смысл жизни Павла Федоровича. Убить отца, истребить всё, что можно, а потом, в заключение, истребить самого себя... Вот всё, на что он способен. Как Гитлер, как Геббельс.

Ни в коем случае нельзя путать Смердякова со специалистами в точном смысле этого слова, с добросовестными функционерами науки и техники. Смердяков — недоносок, выкидыш. Выкидыш интеллигента, науки, просвещения, болезненное отклонение от нормы. Он, как раковая клетка, сам по себе жить не может и существует только за счет других, разрушая среду, которая питает его.

Этот тип одновременно наглый и неуверенный в себе. Наглость сближает его с некоторыми гоголевскими типами — Ноздревым, Пироговым. Но Пирогов, как и другие мертвые души, превосходно обходится без души и поражает могучей жизненностью. Он не знает сомнений в основах своего бытия. Отсюда его неколебимость в бедствиях. Будучи высечен, он тут же утешается, съев слоеный пирожок.

Пирогов — рыло, персонаж скотного двора. Он попахивает навозом, а не бензином. С конвейера его не выпустишь. И даже из десятилетки, как она ни плоха. Как правило, за спиной поручика только ЦППШ (церковно-приходская школа).

Поэтому образование приводит к опасному упадку реальности. Опасному потому, что связано с распространением гадства.

И рыла, и гады — недоучки. Те самые, о которых писал Монтень: простые крестьяне — прекрасные люди, и прекрасные люди — философы; но всё зло от полуобразованности... Или, говоря языком монахов, — на полпути сторожит дьявол.

Рыла стоят в самом начале пути от крестьянина к философу, от зверя к Богу. В них еще много скотского добродушия. Гады — как раз на полпути. Они прогрессивнее и потому страшнее.

Все фашистские режимы в слаборазвитых странах немного напоминают оперетту. За исключением, может быть, Испании, но Испания — особый случай. Даже воскресное развлечение не обходится здесь без убийства — по крайней мере, быка и 2-3 лошадей. Поэтому число убитых в Испании ничего не доказывает. И я отказываю генералиссимусу Франко в титуле настоящего злодея. Он, как один из Топтыгиных (второй, кажется) — чижику съел. Потом Топтыгин истребил полтора миллиона душ, и всё же он шут. Не

будь на свете Гитлера с Муссолини, ничего бы у него, кроме буффонады, не вышло.

Для настоящего, всемирно исторического злодеяствия нужна чистоплотность и методичность, воспитанная в массах трудящихся всеобщим образованием, лучше всего — неполным средним (можно и полным, но это опасно: возникает интеллигенция). Итальянский фашизм отдает скорее касторкой, чем кровью; только аккуратные, поголовно грамотные немцы могли построить Майданек.

Поэтому я с тревогой смотрю на распространение цивилизации. Не потому, что не доверяю ее возможностям. Они очень велики. Человечество может подняться на ступень, с которой нынешний век покажется чуть ли не каменным. И не только с точки зрения техники (в это теперь все верят), но и духовно человечество (если выживет) будет оглядываться на нас с почти недосыгаемой высоты. Но пока что мы стоим на полдороге. В том самом месте, где стоит дьявол.

Пирогов, Ноздрев и всякое рыло живет, не думая, живет рефлексивно; его невозможно судить (разве только высечь, если свинство превзойдет меру). Смердяков думает, но не живет; видимость жизни, которой он может обмануть — призрачное существование вампира. Кровь, которая переливается в его жилах и иногда окрашивает щеки — чужая кровь, выпитая по ночам на допросах. Он настолько пуст, что Хейдеггер спутал его с подлежащим неопределенно-личного предложения. Но это подлежащее вполне ответственно, вполне подлежит суду. Он ведает, что творит. Он гадит не стихийно, по природе, а сознательно, идейно, принципиально (природы, почвы у Смердякова вообще нет). Гадит, чтобы почувствовать вкус жизни (чужой жизни), чтобы утвердить, упрочить себя в бытие. Это не рыло, а гад.

Пирогов не тщеславен. Если судьба подымет его наверх — хорошо; если забросит заведующим складом — тоже неплохо. Перефразируя Веспасиана, Пирогов мог бы сказать: место не пахнет. Лишь бы оно кормило. Всякого рода гамлетовские сомнения ему совершенно чужды. Напротив, Смердяков — гамлет лакейский. Боров — скорее его эстетический и моральный идеал, идеальный расовый (классовый) тип, — увы! — недостижимый.

Пирогов, выйдя в отставку, становится добродушнейшим Иваном Никофоровичем. Смердяков в отставке немыслим. Его гложет жажда деятельности. Он пуст, как шелуха, и томительно чувствует свою пустоту. Ему кажется, что он по-пироговски наполнится бытием, заняв место. Но место неспособно наполнить бездонную

пустоту дьявола и кажется поэтому незначительным. Нужно непременно первое место: директора, генерала, фюрера и райхс-канцлера. Но и это место не успокаивает его.

Он продолжает действовать, метаться, интриговать. Всякое ведомство, всякое царство слишком мало для него. Кажется, что ему нужен весь мир. Но если бы все планеты, все звезды, все галактики подчинились ему, он еще раз почувствует свою пустоту и тогда наконец поймет, что ему нужно только одно: удавиться.

Жить для Смердякова — значит руководить. Руководить — в смысле запрещать, указывать, пресекать, карать. В конечном счете — разрушать. И если создавать, то только средства полного, всеобщего уничтожения.

Война для него — благо (как для Гитлера, как для нашего современника Мао). Это в полном смысле слова *ретивый начальник* (по Щедрина).

Любознательные бернары создали средства, достаточные, чтобы взорвать земной шар. А смердяковы сладострастно смотрят на кнопку, которую стоит только нажать... Может быть, после этого останется 300 млн. дрожащих подданных, а с ними он создаст образцовую, примерную каторгу. А может быть, без них еще лучше. Ах, грезится иногда по ночам — если бы у человечества была одна голова, чтобы отрубить ее одним взмахом бистурия!

Эта безоглядность или, лучше сказать, высокая идейность и принципиальность Павла Федоровича вызывает иногда конфликты между гадами и рылами. Вообще говоря, рыла (там, где они многочисленны, т. е. в слаборазвитых странах) играют роль вспомогательного состава в воинстве сатаны (в странах совершенно цивилизованных, как, например, Германия, рыл, по-видимому, отчасти заменяют вульгарные штампы интеллектуалов, ракинины и их однокорытники). Но иногда рыла, призванные из местечек и деревень, чтобы подвигать и улюлюкать в большой травле, изменяют своим обязанностям. Особенно если Павел Федорович заглянется или чего доброго помрет. Тогда рыла, начавшие со скромных и совершенно не номенклатурных должностей и выхлятников, могут очень даже себя показать.

Рыла хотят жить; уничтожать всё подряд им нет расчета; нажравшись сладкого человеческого мяса, они укладываются в логовище и, мирно урча, переваривают пищу, — пока не подрастет следующая порция, резвясь и тучнея на зеленых лугах. Гадов это раздражает, их бесит вид откормленных овец; они требуют продолжать кампанию, им лишь бы горло перегрызть, глотнуть

крови — и бежать за следующей жертвой, оставляя труп гнить. На завтрашний день им наплевать.

Так возникают серьезные конфликты в рамках несокрушимого единства рыл и гадов. Следует, однако, помнить, что непримиримых, антагонистических противоречий между рылами и гадами нет. Споры между ними следует скорее рассматривать в духе эстетики 1952 года — как конфликт хорошего с отличным. Когда побеждают рыла, полугады и четвертьгады маскируют свою неполноценность, подражая лучшим образцам рыльности, преподанным учителями и наставниками. Напротив, при покойном Павле Федоровиче рыла отрачивали усики и шевелили тазом, как будто у них в самом деле топорщился драконий хвост...



Мысль о кнопке на столе Павла Федоровича лишает сна миллионы людей; но смерть, в конце концов, не самое страшное. Страшнее была бы жизнь, устроенная по-смердяковски: предбанник с телевизором в углу, и так целая вечность. И вот здесь я могу наконец успокоить читателя: это немыслимо!

Смердяков ничего не создает. Он как тень ученого из пьесы Шварца. Если отрубить ученому голову, упадет и ее голова. Или как Цахес: если не будет студента, не будет и стихов, которые крошка может себе приписать. Смердяков, тень, Цахес могут доводить до безумия Ивана, ученого, студента. Но без них Смердяков сразу же исчезнет, как тень без человека. Смердяков — наша тень, без нас он немыслим.

Есть чувство более сильное, чем чувство самосохранения. Пока оно молчит — говорит Смердяков. Но когда оно заговорит, смердяковщина исчезнет, растает, как тень, как дым перед лицом огня. Стопроцентных смердяковых не так много. Они утонут, как Цахес, в своих ночных горшках. Страшны не они. Страшно то, что делает Павла Федоровича арбитром, властью, страшна смердяковщина во всех нас, смердяковское отношение к подвигу, к мученичеству (вспомним рассуждения сына Смердящей о русском солдате, попавшем в плен к хивинцам); смердяковская улыбочка над Дон Кихотом... лакейская улыбочка... Если бы ее выдавили, как Чехов по капле выдавливал из себя раба!



Рядом со Смердяковым, как известно, стоит Иван Карамазов. Павел Федорович ему многим обязан и в хорошую минуту называет себя учеником Карамазова, карамазовцем. Но действитель-

ной власти Ивану не дает. А на старости лет, становясь подозрительным, душит.

Отношение Ивана к Павлу Федоровичу еще более странное. Сперва он пренебрегает Смердяковым, потому что Смердяков глуп. Но глупость, в известном смысле, сила. Тонкий Иван говорил: «всё позволено» — и ничего себе не позволял. А Смердяков, прикидываясь дурачком, обвел его вокруг пальца и сел в хозяйское кресло. Павел Федорович фыркает, Иван ошеломлен: «Ведь я не лакей. Каким же образом я смог породить такого лакея?»

Иван думает, что он сам мог бы сидеть в кресле отца. Хейдеггер заявил в тридцатые годы, что истинная идеология национал-социализма очень глубока и не имеет ничего общего со взглядами толпы. Иначе говоря — со взглядами Гитлера или Розенберга. И конечно (хотя прямо это из скромности не сказано), совпадает с философией Хейдеггера...

Из этих деклараций никогда ничего не выходит. В лучшем случае на них не обращают внимания (потому что кто одолеет «бытие и время»?). Однако иногда у Павла Федоровича бывает по-восточному ревнивый характер. Карамазовых хватают за шиворот, призывают пред очи и заставляют вылизывать языком пол. А тех, кто отплевывается, сажают на кол. И тогда, наевшись грязи, иваны начинают думать: «а может быть, в этом и есть сермяжная правда? может быть, в лакействе — истина (классовая, национальная, религиозная), а Смердяков гений?» И в конце концов, современный Иван начинает добросовестно верить в гениальность Смердякова, и крушение этой веры становится для него тяжелым ударом.

Поэтому так грустно читать, как молодые карамазаччо (или бернардини) издеваются над смердяковщиной, поплевывают на рыл и гадов.

Аргументы молодежи тонки, язвительны, блестящи — но мне хочется спросить их: да, но «всё позволено»? — всё позволено для...» Неважно, для чего. Если всё позволено, то через двадцать лет после победы вы сами будете слизывать языком пыль и находить в этом смысл...



Карамазовы — это не только Иван. Есть еще Алеша и есть Митя. Каждый из братьев — задача для Ивана. Самая простая и самая трудная — Митя. Всего только надо понять, что Митя — брат твой. И тогда ты действительно будешь то, что думаешь о себе, не думая об этом вовсе. А сейчас ты пуст, хотя думаешь о человечестве. Это человечество — только поле твоего собственного

я. Ты можешь быть совершенно искренним в любви к нему (то есть к самому себе), ты можешь жизнь отдать ради него — и не стать ближе ни к одной живой душе, оставаться в ослепительном одиночестве. А когда солнце разума перестает ослеплять по ночам, к одинокому приходит дьявол. Понять всё это можно только сердцем, не умом. Только сердце может подсказать Ивану, что существование другого — не только скандал; что в другом (даже если он молчит или говорит невнятно) может открыться тебе твой собственный второй глаз, и ты вдруг увидишь такое, чего раньше, одним глазом, не видел, и ты тогда поймешь, что был просто-напросто кривым, уродом, хотя очень умным. И очень умно рассуждал о том, чего не видел.

Этой самой простой своей задачи — увидеть мир двумя глазами — Иван просто не сознает. Люди нужны ему только как слушатели. Люди умные, беспокойные, не умеющие прилично себя вести, не только не нужны, а прямо противны. Некоторый интерес представляют идеологи. Но Митя — не идеолог; о чем с ним говорить?

Поэтому приходится начинать с другого конца, с младшего брата, Алеши. Алеша идеолог, и очень необыкновенный, хотя еще совсем сбивающийся в словах. Алеша один из всех братьев вне власти Павла Федоровича. Он владеет тайной, нужной всем; но он не умеет передать её. Может быть, он скорее чувствует правду, чем видит её; может быть, это такая правда, которую нельзя объяснить, нельзя выразить словами, понятными каждому. Ивану приходится решать трудную задачу: понять то, что Алеша не в силах рассказать. И здесь ум Ивана отказывается работать. Во-первых, Предмет, именуемый Богом, немислим и невозможен. Во-вторых, если допустить Бога, а вслед за Ним и рай, жизнь становится еще более нелепой. В рамках, поставленных разумом Ивана, этот тезис неопровержим. Мир — только царство осколков, целого нет. А если так, то зачем жертвовать одним осколком ради других? Зачем жертвовать собой? зачем заботиться о счастье человечества?

Арифметика здесь не помогает. Конечно, миллион больше одного. И если надо «расстрелять трех, чтобы спасти четырех», как говорил Жюльен Сорель, то почему бы и не расстрелять? Да, но почему бы не расстрелять и всех семерых? Лиха беда начало.

К гармонии так нельзя подойти. Миллион и даже миллиард, согласившиеся достичь гармонии ценой одной растоптанной жизни (пусть не деточки, а взрослого, как во время дела Дрейфуса), наверняка ни к какой гармонии не придут. Трудно только *начать*

жертвовать ради всеобщего блага. Дальше пойдут сотни, за сотнями миллионы, а гармония будет всё отодвигаться и отодвигаться.

Тайна в том (Иван об этом не догадывается), что осколки, не осознавшие себя как осколки, фрагменты целого, воображающие себя элементарными частицами бытия, невозможно сложить в замкнутую, устойчивую фигуру.

В царстве осколков нет ничего **безусловного**, ничего до конца совершенного. В царстве осколков всё пытается быть само по себе, а на самом деле оказывается другим. Все перемены с осколками — пустые перемены. Они не имеют ничего общего с гармонией, свободой, с подлинным бытием. Гармония и Свобода не могут быть атрибутами осколка. Это атрибуты целого. Чтобы быть свободным, надо быть в Целом, быть Целым.

Поэтому все попытки достигнуть гармонического состояния общества, оставляя в стороне человеческую личность, душу, бесконечность души, в конце концов, ведут только к разочарованию, раздражению, злобным попыткам подчинить разумом непокорную природу и, в конце концов, — к такой вакханалии насилия, в которой тонут последние остатки разума; воцаряется дичь, бред, сравнительно с которыми старое, неразумное состояние общества кажется царством разума, добра и красоты.

Но ведь не об этой «гармонии», не о хрустальном дворце идет речь! И конечно, не о переносе хрустального дворца в потустороннее, с теми же земными представлениями о справедливости, с той же костоломкой в аду (только вечной) и вечным торжественно-дружеским приемом у самого Господа Бога в раю.

А о чем же? Какая еще гармония может быть? Этого именно Иван не может понять, и ломает себе голову, и сходит с ума, и в бреду своем плодит новых и новых гадов. Мерзость их дыхания, размноженная современными средствами телекоммуникации (печатью, радио, телевидением, кино) — переполняет землю.

1962-1963 гг.

Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире

РЕДАКЦИОННЫЙ КОММЕНТАРИЙ
ЖУРНАЛА «ФЕНИКС 1966»

Статья Ю. Галанскова «Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире» была написана автором с целью распространения ее среди сторонников движения, главным образом, путем рассылки по почте в штаб-квартиры и центры движения, а также в целях персонального обращения к виднейшим представителям этого движения.

Однако по ряду технических и юридических трудностей сделать этого не удалось. И редакция будет признательна всякому, кто найдет нужным проделать эту, на наш взгляд, важную работу.

Разумеется, и автор и редакция готовы выслушать любую позитивную и негативную критику в свой адрес по существу затронутой проблемы, от кого бы эта критика ни исходила. Для нас это важно еще и по той причине, что наше отечественное движение в настоящее время, по меткому выражению автора, носит «бюрократически-официозный» характер и, являясь по своей сущности вульгарно-академическим институтом, нацелено на выполнение узко специфической функции в общем пропагандистском механизме государства, что, естественно, обрекает это движение на бесплодность.

Автор будет благодарен всякому, кто сможет прислать ему (или присылать систематически) любые материалы документационного, политического, этического и религиозного характера, имеющие прямое или косвенное отношение к затронутому вопросу. Ибо в недалеком будущем автор намерен начать выпуск социал-пацифистского журнала и одновременно создать в России «Союз сторонников полного и всеобщего разоружения», разумеется, при условии, если он прежде не будет подвергнут юридической и административной расправе. А такая опасность для автора всегда существует. Дело в том, что создание такого «Союза» в условиях тоталитарного государства равносильно прорыву в системе глобальной монополии на право организации и объективно ведет к повышению политической и идеологической активности и, следовательно, к ослаблению политической и идеологической монополии.

Но система глобальной монополии допустима и оправдана (а следовательно, и жизнеспособна) только на каком-то историческом промежутке времени. Выполнив свою историческую роль, система глобальной монополии теряет всякий смысл, превращается в систему глобального торможения и в силу этого, в зависимости от комбинаций общественных отношений, подлежит постоянной или ускоренной ликвидации.

Так что создание свободных организаций в России — это процесс сложный, но исторически неизбежный. В этой (дай Бог бескровной) войне за свободу сторонники дембнополизации всегда могут проиграть бой, но они неотвратимо выиграют войну, если термоядерная война не опрокинет вообще всю нашу подлую цивилизацию.

Редакция сообщает адрес автора: Москва Ж-180,

3-й Голутвинский пер.,

дом 7/9, кв. 4

Галансков Юрий Тимофеевич

Тот, кто верит в возможность достижения разоружения и мира в результате нескончаемых переговоров и разговоров о разоружении и мире, кто думает, что различные соглашения и частичные уступки хоть сколько-нибудь приближают человечество к разоружению и миру, тот не понимает самой сущности дела и, поддавшись прекраснодушию сентиментальных болтунов, проявляет непростительную наивность.

Можно, разумеется, вести бесконечные переговоры, печатать декларации, заключать соглашения, создавать комитеты и подкомитеты по вопросам разоружения, можно даже на какое-то время приостановить испытания ядерного оружия, можно, в зависимости от обстоятельств, сокращать или увеличивать численность войск и размеры ассигнований на военные расходы, но от этого милитаризм не перестанет быть милитаризмом, от этого не исчезнет международная напряженность и постоянная угроза ядерной катастрофы.

Сторонники всеобщего и полного разоружения должны ясно понимать, что разоружение и мир во всем мире не могут быть достигнуты в результате только политических усилий правительств, что всякие переговоры, соглашения и частичные уступки в вопросах мира и разоружения создают только иллюзию деятельности в направлении обеспечения разоружения и мира, дезориентируя, таким образом, общественное сознание, и что действительное, полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире мыслимы и возможны только как социально-психологический продукт экономи-

ческого и нравственного развития человечества в направлении осуществления экономической справедливости и нравственного совершенства. Так что, в некотором смысле, каждый, кто хочет мира, обязан готовиться к войне с противниками утверждения на земле этой социальной справедливости и этого нравственного совершенства. Мы обязаны готовиться к этой войне против социально-психологической базы всякой войны, и мы эту войну обязаны организованно начать. И пусть не напоминают нам непротивленцы, что благими намерениями вымощен ад, ибо мы вовсе не собираемся шагать через трупы ближних. Мы только призовем каждого перешагнуть через труп собственной глупости и порочности. Мы призовем каждого вырваться из ямы взаимной вражды на простор взаимопомощи.

На сегодняшний день жизнь человеческая слишком греховна, чтобы рай на земле мог быть утвержден в результате каких-либо переговоров и соглашений между прекрасодушными болтунами. Может быть, прекрасодушные политики и рады бы в рай — да грехи не пускают, поэтому все их демагогические призывы оказываются на деле всего лишь сентиментальной болтовней. И не случайно вся официальная и неофициальная политика ходит вокруг проблемы мира и разоружения, как кот вокруг горячего молока.

Обычно говорят, что разоружение — гарантия мира, но это пустая фраза. Ибо только в международном масштабе организованная работа ради мира и крайнее напряжение всех миролюбивых сил является единственной гарантией разоружения и мира. В мире современных противоречий разоружение просто не может быть достигнуто без соответствующей, выработанной для этой цели, *ценой постоянной самоотверженной работы*, готовности жить в разоруженном мире.

Яблоко должно созреть, но оно должно и может созреть только в потоке солнечного тепла и жизненной влаги.

Яблоко должно и может созреть, но яблоко может и не созреть, если червь вражды и паразитизма будет пожирать его сердцевину, если глупые свиньи будут подрывать корни дерева, и если человечество будет забавлять себя в это время пустяками. Много, очень много проблем в человеческой голове, но где-то в арсенале лежит бомба, которая однажды разможжит эту легкомысленную голову. Поэтому именно немедленно — сегодня — нужно оказать самое решительное сопротивление милитаризму и начать самую серьезную работу ради разоружения и мира.

Организация движения за полное и всеобщее разоружение и мир является одной из основных задач ООН. Поэтому организационные проблемы этого движения неразрывно связаны с организационными проблемами самой Организации Объединенных Наций.

В настоящее время ООН существует как добровольное объединение государств. Следовательно, в известном смысле, Организация Объединенных Наций могла бы быть названа Организацией Объединенной Власти. В силу различных объективных причин между интересами государственной власти и интересами народа в рамках одного государства всегда существуют известные противоречия. За то, что интересы всякой государственной власти и интересы народа всегда взаимно противоречивы, говорит, например, факт постоянной смены власти и порой даже в форме насильственного свержения ее. Например, интересы гитлеровской власти и интересы немецкого народа, несмотря на кажущееся совпадение, в действительности не совпадали. Гитлеризм только фальсифицировал это совпадение. В итоге гитлеризм принес немцам колоссальные бедствия.

Итак, через ООН, являющуюся в действительности международной организацией объединенной государственной власти, эта государственная власть через своих представителей осуществляет свою международную деятельность с позиций государственной власти и в интересах государственной власти, но не всегда с позиций народа и в интересах народа, так как интересы государственной власти и подлинные интересы народа в той или иной мере всегда взаимно противоречивы. Из этого следует, что в ООН, наряду с интересами государственной власти, должны быть представлены интересы народа. Но интересы народа в ООН могут быть представлены в форме персонального представительства только при условии создания массовых организаций, осуществляющих свою деятельность под организационным руководством ООН внутри государств-членов ООН. Через посредство этих организаций ООН могла бы распространить свое влияние на все слои населения всех государств. Эти массовые организации ООН должны способствовать проведению в жизнь решений ООН, вести работу в направлении защиты прав человека, международной охраны труда, охраны здоровья, движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире и т. д. Вполне возможно, что для целей деятельности этих массовых организаций государства-члены ООН могли бы выделить в распоряжение ООН незначитель-

ные территориальные участки в столицах и крупнейших городах для размещения на этих суверенных территориях соответствующих административно-издательских центров. Только таким образом организм ООН может получить жизненную силу миллионов своих работников. Для этого ООН должна преодолеть ограничивающие ее деятельность рамки международного парламентаризма и пустить жизненные корни во все слои населения всех государств. Только в таком смысле реорганизация ООН сможет наиболее эффективным образом осуществлять свою международную деятельность. Только таким образом организованная деятельность ООН сможет вовлечь широкие слои населения в сферу международной жизни. Вот о чем должны подумать теоретики ООН и юристы-международники. Вот чего должна потребовать мировая общественность от своих правительств. Вот ради чего правительство любого государства могло бы поставить этот вопрос перед ООН, продемонстрировав всему миру свое истинное понимание задач международной жизни.

Полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире — основной вопрос современности. Поэтому в сфере международной деятельности ООН организационные и теоретические проблемы, связанные с этим вопросом, необходимо выделить особо.

В настоящее время работа ради мира организована совершенно неудовлетворительно и носит, в основном, или бюрократически-официозный, или стихийный, и часто случайный характер.

Организационный примитивизм сковывает возможности движения, не позволяет организовать связь и информацию, мешает разработке стратегических и тактических вопросов этого движения.

В этом смысле, прежде всего, необходимо четко определить исходный принцип организации движения.

Движение за полное разоружение и мир во всем мире может быть организовано в форме единой массовой организации, непосредственно подчиненной Генеральной Ассамблее ООН или какому-либо другому главному органу ООН и, в силу этого, обладающей специфической организационной автономией и специфическим организационным иммунитетом и распространяющей эту организационную автономию и этот организационный иммунитет на свои массовые организации, пронизывающие все слои населения всех государств.

Почему наиболее целесообразен такой организационный принцип? Именно потому, что, объединяя на взаимоприемлемой основе

все антивоенные и антимилитаристские силы различных наций в единую, специфически автономную и обладающую специфическим иммунитетом структуру, он в то же время позволяет антивоенным и антимилитаристским силам каждой отдельной нации вырваться идейно и организационно из-под влияния узконациональной ограниченности. Ибо, по естественным причинам, всякое государство, исходя из своих узконациональных интересов, стремится узаконить всякие антивоенные и антимилитаристские тенденции, возникающие внутри нации, в форме академических институтов, допустимых с точки зрения официально-государственного туманизма, или же в форме организаций-придатков, выполняющих специфическую функцию в общем пропагандистском механизме. Последнее особенно характерно для государств тоталитарного типа. Такая опека антивоенных и антимилитаристских организаций со стороны государства опутывает эти организации сетью национальных предрассудков, убивает творческую инициативу и обрекает их на бесплодность.

Ноябрьский номер «Курьера» ЮНЕСКО за 1964 год полностью посвящен вопросам разоружения и мира.

В статье «Ядерное оружие и будущие поколения» двукратный лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг пишет:

«Мы вынуждены теперь изгнать войну из мира так, как это предвидел Альфред Нобель. Но это трудная и сложная проблема. И все же я считаю, что каждый должен согласиться с этим выводом. Долг каждого — любыми доступными ему путями способствовать созданию мира, из которого будет изгнана война».

Здесь мы сразу же должны возразить Полингу в том смысле, что «изгнать войну из мира... любыми... доступными путями» нельзя. Полинг призывает человека в борьбе за мир и разоружение встать на «любые» доступные ему пути только потому, что не видит наиболее эффективных путей, по которым могло бы развиваться движение. Тем самым Полинг как бы признает, что пути, по которым в настоящее время развивается движение, не являются достаточно эффективными.

Далее, цитируя из заявления норвежского стортинга:

«Война все больше и больше предстает в глазах общественности «как пережиток доисторического варварства», «бич рода человеческого»,

Полинг пишет:

«Мы подошли теперь к такому периоду мировой истории, когда мы должны уничтожить этот пережиток доисторического варварства, этот бич человечества».

Но если мы серьезно намерены «уничтожить» войну, «этот пережиток доисторического варварства, этот бич человечества», мы должны серьезно подумать о том, как это сделать.

Обеспечить разоружение и мир, создать общество разоруженных государств и умов — задача чрезвычайно сложная. Для этого необходима работа, организованная в соответствии с масштабом и важностью поставленной задачи.

В статье «Курьера» «Экономические последствия разоружения» высказывается явно ошибочное, на мой взгляд, положение:

«В наш век быстрых перемен мы вполне можем стать свидетелями переговоров о заключении многостороннего соглашения о разоружении».

Однако «в наш век быстрых перемен» мы являемся «свидетелями» бесконечно долгих и бесплодных разговоров о разоружении. Более того, если мы позволим себе быть всего лишь «свидетелями» бесплодных разговоров о разоружении, то «в наш век быстрых перемен» мы вполне будем свидетелями, участниками и жертвами дальнейшей милитаризации мира и вполне можем стать участниками и жертвами всеуничтожающей термоядерной войны.

Непонимание важности именно организационных проблем движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире, а также непосредственно связанная с этим неразвитость стратегических и тактических концепций этого движения, сказывается всюду.

Профессор истории международных отношений Эдинбургского университета Ричи Колдер, отмечая, что:

«При всеобщем разоружении проблема переустройства рабочей силы и реконверсии промышленности не сложнее, чем была проблема сокращения вооружений и свертывания военной промышленности по окончании Второй мировой войны»,
здесь же пишет:

«Все, что нам нужно — это решимость пойти на всеобщее разоружение».

Но вот о том, где взять эту необходимую нам «решимость», эдинбургский профессор, к сожалению, ничего не пишет.

Вместе с тем, нужно отметить, что «Курьер» ЮНЕСКО сообщает читателю ценные объективные данные, связанные с проблемой разоружения и мира. Например, Л. Полинг пишет:

«Взрыв 20-мегатонной бомбы над любым городом приведет к его полному разрушению и к гибели большей части его населения. При взрыве образуется воронка диаметром в 20 км; в радиусе 50-100 км возникнут пожары, которые превратятся в гигантский

огненный шквал; люди подвергнутся пагубному воздействию мгновенного излучения высокой энергии и последующих радиоактивных выпадений. Будут убиты даже находящиеся на расстоянии 300 км от места взрыва... По моим подсчетам мировые запасы составляют около 16 тысяч таких 20-мегатонных бомб или их эквивалент. Во всем мире нет 16 тысяч крупных городов...»

В заключение мне хотелось бы особо подчеркнуть ошибочность мысли о том, что *разоружение является гарантией мира*. На мой взгляд, это пустая фраза.. Пора бы и понять, что только в международном масштабе организованная работа ради разоружения и мира является **ЕДИНСТВЕННОЙ ГАРАНТИЕЙ** разоружения и мира, и что организация этой работы должна идти в направлении **СОЗДАНИЯ МАССОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ВО ВСЕХ СЛОЯХ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ** и обладающих в какой-то мере **ОРГАНИЗАЦИОННОЙ АВТОНОМИЕЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ИММУНИТЕТОМ** в целях обеспечения необходимой для работы этих организаций свободы рук. Поэтому, на мой взгляд, в настоящее время наиболее необходимо сосредоточить внимание всех сил, работающих ради мира и разоружения, на организационных вопросах этого движения.

Москва, 1966 год

Редакция «Г р а н е й» сообщает, что напечатанная выше статья принадлежит перу молодого московского поэта Юрия Галанскова, известного нашим читателям по журналу «Феникс 1962» своей талантливой поэмой «Человеческий манифест» (см. «Г р а н и» № 52, 1962 г.). Ю. Галансков является редактором журнала «Феникс 1966», из которого и взята эта статья; ему принадлежит ставшая уже крылатой фраза, обращенная к советскому правительству, — «Вы можете выиграть этот бой, но всё равно вы проиграете эту войну. Войну за демократию и Россию». После выхода «Феникса 1966», в середине января с. г. Ю. Галансков был арестован.

Коммунистические методы перестройки общества

Коммунистическая партия представляет собою организацию строителей коммунизма. Поэтому коммунистический переворот не конец, а только начало коммунистической революции. Захватив политическую власть в стране, партия приступает к наиболее трудной и наиболее болезненной части революции — к принудительному построению коммунизма и первой его стадии — коммунистического социализма. Перестройка эта предполагает обобществление всех средств производства и организацию новой социалистической экономики, а следовательно и нового социалистического общества. Но так как организация социалистической экономики и нового социалистического общества производится принудительно, то она неизбежно сопровождается и специфическими методами — коммунистической пропагандой (которая называется воспитанием и перевоспитанием людей) и коммунистическим террором. На коммунистическом терроре мы и остановимся здесь.

ТЕРРОР

Необходимость террора. В свое время Маркс писал, что

«есть только одно средство ускорить, упростить, концентрировать смертельные корчи старого общества и кровавые родовые муки нового, — лишь одно средство: революционный террор».¹)*)

В принудительной перестройке общества, в превращении его из свободно развивающегося общества в организованный и дисциплинированный коллектив, планомерно развивающийся по коммунистической схеме, террор и его «высшая мера» — смертная казнь, конечно, неизбежны. Как, скажем, фермер ежегодно уби-

Вторая статья проф. И. А. Курганова из серии, начатой в № 63 «Грани» статьей «Коммунистическая революция в России». — Ред.

*) Нумерованные сноски помещены в конце статьи. — Ред.

вает какой-то процент кур, являющихся с его точки зрения не полноценными и, заменяя их новым поколением, не только воспроизводит, но и улучшает свое стадо, так и руководство партии, перестраивая общество, убивает какой-то процент людей, являющихся с его точки зрения не полноценными и, воспитывая новые поколения в коммунистическом духе, пополняет и улучшает в коммунистическом отношении человеческое общество. Это особенно важно на первых стадиях перестройки общества. Философ, экономист и врач А. А. Богданов, имея в виду развернувшийся при Ленине красный террор, писал в его оправдание в 1920 году:

«Садовнику-артисту приходится устроить прекрасный сад там, где сада не было. Разумеется, он должен расчищать почву, ему приходится уничтожать, вырывать неподходящие растения, резать, выжигать и т. д.»²⁾

То же самое приходится делать и руководству партии, оно стремится организовать на месте старого общества свое, новое коммунистическое общество. Большая Советская Энциклопедия говорит поэтому, что пролетариат, т. е. партия

«...не проповедует лицемерного «не убий», зная, что в борьбе с ожесточенным классовым врагом, в интересах победы социализма он не может не вести войны, не может не прибегать и к оружию революционного террора, к физическому уничтожению наиболее закоренелых своих врагов».³⁾

И партия пользуется террором в самых широких масштабах.

Организатором революционного террора был Ленин. Ленин совершенно беспощадно расправлялся с «буржуазными» элементами страны и потенциальными врагами партии.⁴⁾ Сталин продолжил и развил дело Ленина до логического конца. Он охватил террором не только весь народ, но в последнее время и партию.⁵⁾ И именно потому, что он в последнее время коснулся террором партии, партия заговорила о социалистической законности и о коммунистах, погибших от сталинского произвола. В действительности террор направлен не на партию, а на народ со стороны руководства партии и его террористического партийного аппарата, называвшегося в разное время по-разному (ВЧК-ГПУ-НКВД-МВД) и теперь называющегося КГБ — Комитетом Государственной Безопасности.

Д о н о с ы. В системе террора играли и в известной мере продолжают играть большую роль доносы. В начале революционного периода доносов было немного, поэтому 15 мая 1920 г. ВЧК обратилась к населению со следующим воззванием, напечатанным на первой странице столичных газет:

КО ВСЕМ ТОВАРИЩАМ КОММУНИСТАМ И ГРАЖДАНАМ РСФСР

Отдел обработки материалов УОО ВЧК настоящим призывает тов. рабочих, красноармейцев, коммунистов и всех граждан придти ему на помощь в его борьбе с врагами советской республики, не стесняясь ни формами, ни изложением, присылать сведения о всех замеченных случаях, где можно заподозрить шпионаж, злостный саботаж, измену, а также о всех других действиях тайных врагов республики, направленных к подрыву мощи красной армии. Все указанные сведения должны быть доставлены почтой или лично в Бюро писем... ВЧК по адресу: Лубянка 2.

Просьба ко всем редакциям провинциальных газет перепечатать настоящее объявление.

Отдел Обработки Материалов Особого Отдела ВЧК

Призыв ВЧК обращен, как видим, прежде всего к коммунистам, которые вообще обязаны сообщать или доносить на всех, кто вызывает у них подозрение. Эта обязанность сохраняется и сейчас. По уставу партии, принятому на XXII съезде КПСС, коммунист обязан

«...выступать против любых действий, наносящих ущерб партии и государству и сообщать о них в партийные органы».⁷⁾

Для многих коммунистов это не только обязанность по уставу, но и работа по должности. К числу этих коммунистов относятся, например, отдельные работники партийного аппарата, все работники террористического аппарата партии — КГБ, все работники «спецотделов», существующих в каждом предприятии и учреждении для наблюдения за людьми *по месту их работы*, отдельные работники домоуправлений, наблюдающие за людьми *по месту их жительства*, отдельные работники культурно-бытовых учреждений, наблюдающие за людьми *по месту их отдыха и развлечений* и т. д. Но призыв ЧК обращен и к беспартийной массе народа. И среди беспартийных появилось немало доносчиков, которые, преследуя чаще всего свои личные цели, объективно помогали партии развертывать террор и укреплять свою власть. Ленин с гордостью говорил, что заговоры

«...потому открываются, что заговорщикам приходится жить среди масс... а тут они, в конце концов, всегда натываются на людей, которые идут в... ЧК».⁸⁾

При Сталине кадры доносчиков были увеличены, причем наряду со случайными доносчиками партия организовала систему постоянных доносчиков в виде не состоящих в штатах секретных

сотрудников (сокращенно сексотов). В систему сексотов привлекались не столько добровольцы, сколько люди, испытывавшие вследствие тех или иных причин особый страх перед властью и пошедшие для спасения себя и своей семьи на вынужденное сотрудничество с террористическим аппаратом партии.

К системе сексотов можно прибавить еще доносчиков из состава комсомольцев, рабкоров, селькоров⁹⁾, дружинников, общественных контролеров.¹⁰⁾ Добровольной и вынужденной слежкой и доносами занимаются в СССР миллионы людей. Партия прославляет доносчиков как героев; погибшим доносчикам ставит памятники.¹¹⁾ Доносы пропагандируются партией в качестве священного долга советского человека, а уклонение от доносов — в качестве предательства. Недонесение считается уголовным преступлением, которое карается по закону тюрьмой от двух до трех лет или высылкой на срок от пяти до семи лет.¹²⁾ Доносить обязаны все.¹³⁾ Доносы партийных и околопартийных активистов превратились постепенно в бедствие народа, тем более, что в условиях коммунистического террора, как это пишут советские авторы,

«Личное недоброжелательство, клевета, наушничество, слежка соседей друг за другом, анонимные лжесвидетельства служат часто единственным поводом для жестоких репрессий».¹⁴⁾

А р е с т ы. По доносам, но не только по доносам, производятся аресты «подозрительных» лиц. В обычных условиях происходит, как правило, сначала следствие, а потом арест. В условиях коммунистического террора, наоборот, сначала арест, а затем следствие и расправа. Самый факт ареста считается при этом достаточным, чтобы объявить арестованного преступником и «врагом народа». Чаще всего арестовываются

«...не только люди, объявленные врагами народа, но и их родственники, знакомые, сослуживцы».¹⁴⁾

Все это кажется совершенно неправдоподобным, но все это общеизвестная в СССР система коммунистического террора, продолжавшегося в таком виде почти 40 лет. Для иллюстрации этой системы приведем одну из статей «Правды» 1937 года, в которой говорится о типичном случае ареста в сталинское время. Статья была напечатана в «Правде», вероятно, для того, чтобы показать подавленному террором народу, что репрессии производятся не одним ЦК партии, но и местными работниками партийного аппарата, которые по неопытности допускают иногда ошибки, но эти ошибки ЦК исправляет. Вот эта статья. Секретарю Каратузского райкома партии Тулкину донесли, что

«Член партии Заводник в своей речи на каком-то собрании произнес фразу: «Враг бродит не только у границ нашего государства, но и у границ нашей партии». Нашлись безграмотные мудрецы, которые усмотрели в этой фразе враждебную вылазку. Тулкин, не долго думая, постановляет: — Исключить! Как врага народа. — Заводник пытается дать объяснение. Но... Заводнику и слова не дали сказать. Так секретарь райкома и не узнал, что «преступная» фраза, из-за которой пострадал Заводник, была напечатана 9 августа 1936 г. в передовой «Правды».

Вслед за этим до сведения секретаря райкома дошло, что Заводник встречался с Мешалкиным и даже как будто пил с ним чай. Тесная связь с врагом народа? Исключить! Как предателя.

А кто такая Вархатова — член партии? Жена Заводника? Видимо, была связана с мужем. — Объявить строгий выговор! Снять с работы! Выселить из квартиры вместе с ребенком!»¹⁵⁾

Так пишет «Правда». Как видим, на основе доносов объявляют людей врагами народа и арестовывают без всякой вины. Арестовывают не только тех, кто объявлен врагом народа, но и их знакомых. Жен арестованных лишают работы, выселяют из квартиры вместе с детьми, обрекают таким образом на голод, а в дальнейшем, конечно, на высылку и гибель.

Но чистку общества путем арестов партия вела не только на основе доносов. Существуют многочисленные свидетельства о том, что с 1936 или 1937 года партия перешла к арестам по разверстке. Каждая область и каждый район получали сверху календарные планы изъятия «врагов народа» в определенном проценте к составу населения.¹⁶⁾ В соответствии с этими планами на местах составлялись списки лиц, подлежащих аресту, причем списки на районных работников утверждались секретарями райкомов, на областных работников — секретарями обкомов, а на работников союзного масштаба — первым секретарем партии Сталиным. Хрущев на XX съезде говорил, что

«В 1937-38 годах Сталину было направлено 383 списка с именами тысяч партийных, советских, комсомольских, армейских и хозяйственных работников. Он утверждал эти списки».¹⁷⁾

С л е д с т в и е. Внесение человека в список означало уже его гибель. Дальше шла чистейшая техника. Человека арестовывали, били, пытали, а если надо — вызывали его мать, жену, детей и истязали их на его глазах. В конце концов, арестованный неизбежно сознавался в предъявленном ему порой совершенно бессмысленном обвинении. В одной из ленинградских тюрем (Шпалерная ул.) для упрощения техники следствия все сидящие в корпусе «А» обвинялись в подготовке взрыва Бадаевских складов, в

корпусе «Б» — в подготовке взрыва Троицкого моста и т. д. Вновь арестованный помещался в зависимости от наличия свободного места в тот или иной корпус и затем сознавался в том преступлении, которое предъявлялось всем сидящим в этом корпусе.

Арестованный в сталинское время и затем освобожденный во время «оттепели» генерал советской армии А. В. Горбатов поделился на страницах советского журнала «Новый мир» своими воспоминаниями о том, как его допрашивал следователь Столбунский:

«Кроме следователя, в допросах принимали участие два дюжих палача. И сейчас в моих ушах, когда меня обессиленного и окровавленного уносили, звучал зловеще шипящий голос Столбунского: «Подпишешь, подпишешь».¹⁸⁾

Допрос при помощи палачей, избияния и пыток повторялся до тех пор, пока арестованный не сознавался и не подписывал соответствующий документ. Битие и сознание — всё, что требовалось для оформления приговора.

Н а к а з а н и е. Приговор выносили специальные «тройки» работников НКВД (а не суд). Оправданий не было. Все арестованные «сознавались» в своих преступлениях и получали до 25 лет принудительных работ в концлагерях, а некоторых расстреливали.

Лагери принудительных или каторжных работ существовали и в царской России. По советским данным количество заключенных каторжан при царском режиме было:¹⁹⁾

В XIX веке	от 5.000 до 10.000 человек.
В XX веке 1908 г.	„ 16.000 „
1910 г.	„ 28.000 „
1912 г.	„ 31.000 „

Количество заключенных каторжан при коммунистическом режиме неизвестно, но Объединенная Комиссия ООН и ИВТ (Интернациональное Ведомство Труда), производившая в начале пятидесятых годов опрос огромного количества людей, оказавшихся во время Второй мировой войны на Западе, сделала на основании тщательно документированных свидетельских показаний следующее заключение:

«...в концлагерях европейской и азиатской части Советского Союза находится не менее 10.000.000 человек заключенных: это, однако, минимальная цифра, выведенная со всей мыслимой осторожностью «статистической

жесткости». В действительности число заключенных... доходит до 15.000.000 человек». ²⁰⁾

Цифра 15 млн., конечно, условна, и возможно, что она невольно преувеличена. Допустим, что она преувеличена в два раза — не 15, а 7,5 млн.; допустим даже невероятное, что она преувеличена в три раза — не 15, а 5 млн., но и в этом случае она показывает гигантский «прогресс»: при царском режиме было каоторжан тридцать одна тысяча, а при коммунистическом режиме пять миллионов.

Коммунистический террор продолжался десятилетиями. В какой-то мере он продолжается и сейчас. И сейчас существуют доносы, ²¹⁾ применяются иногда и пытки, ²²⁾ сохраняются и концентрационные лагеря, ²³⁾ но обстановка сейчас изменилась. Партия, напуганная недовольством народа и тем, что одно время террор коснулся и ее рядов, стремится ввести террор в контролируемое русло. Террор существует (при однопартийной системе это неизбежно), но его масштабы и характер уже не те: не та эпоха.

ГОЛОД

В процессе переустройства общества партия пользуется и голодом как средством террора и подавления народа. Голод, связанный с неурожаем, бывал и в царской России и в СССР. Скажем, в СССР был голод 1921-1922 гг. от неурожая в Поволжье, когда погибло 5.053.000 человек. Но здесь речь идет о другом — о голоде и полуголоде, сознательно организуемом партией для подавления и принуждения народа. Скажем, в 1932-33 гг., стремясь сломить сопротивление крестьян коллективизации и заставить их работать в колхозах, партия решила провести в некоторых районах — на Украине, Северном Кавказе, в Казахстане — специально завышенные хлебозаготовки. Крестьяне не могли сдать государству установленного количества хлеба, и партия организовала сплошные обыски. Тщательно обыскивался каждый крестьянский дом, вскрывались полы, потолки, обшивка стен, перерывались сундуки и все хранилища. В поисках закопанного хлеба в землю, земля в подвалах, в хлевах, сараях, огородах прощупывалась железными прутьями. Весь найденный хлеб «под метелку» вывозился в город. Крестьяне остались без хлеба. Наступил голод. Распространилось людоедство. Вымирали целые районы. Погибло около пяти млн. человек.

Еще пример. В 1946-47 гг. в центральных районах СССР люди

не имели хлеба и голодали. Партия заготовленный у крестьян хлеб вывозила за границу. Хрущев на пленуме ЦК КПСС 9 декабря 1963 г. говорил, что руководители партии

«...продавали зерно, даже когда в некоторых районах страны люди пухли с голоду и умирали. Да, товарищи, это — факт, что в ряде районов страны, например, в Курской области, в 1947 году люди умирали от голода, а мы в то время продавали зерно за границу».²⁴⁾

Однако характерным для СССР является не столько организованный голод, сколько полуголод. В течение пятидесяти лет полуголод, перемежающийся голодом, был постоянным явлением, преследовавшим людей как некий «закон коммунизма». Полуголод также применялся партией для давления на народ. Вот три примера:

а) Чтобы перестроить общество и создать для себя более прочную социальную базу, партия развивает прежде всего промышленность, создает вместо крестьянства рабочий класс. Партия сознательно организует в деревне полуголод. Полуголод гонит крестьянское население в город, где оно превращается в рабочее население. Но чтобы не ушло из деревни в город все крестьянское население, партия вводит паспортную систему, при помощи которой регулирует это «добровольное» движение людей в город. С 1926 по 1959 год ушло из деревни в город 43,5 млн. человек — население, равное целой Франции. Ушло не принудительно, а «добровольно», гонимое специально организованным партией полуголодом в деревне.

б) Чтобы заставить оставшихся в деревне полуголодных людей работать в колхозах интенсивнее, партия вводит систему трудодней. Та мизерная часть колхозных доходов, которую партия оставляет для выдачи колхозникам, распределяется между ними по числу выработанных трудодней. Каждый стремится выработать больше трудодней, чтобы повысить свою долю в общей сумме распределяемых доходов и ослабить остроту полуголода своей семьи. Но распределяется общая сумма, и чем больше получит один, тем меньше получит другой. Люди борются не с политикой партии, обрекающей их на голод и нищету, а между собой, за увеличение своей доли при распределении тех крох, которые партия оставляет колхозникам.²⁵⁾

в) В городе рабочие и служащие получают заработную плату, но заработная плата сознательно держится на таком низком уровне, чтобы и в городе был полуголод, менее острый, чем в деревне, но достаточно эффективный, чтобы заставить работать в народном хозяйстве всех взрослых членов городской семьи и в

то же время не допустить таких заработков семьи, которых государство не смогло бы «отоварить». Так как казенное земледелие (колхозное и совхозное) дает недостаточное количество продуктов, а промышленность на 73,7 % работает по линии производства средств производства и средств истребления и только на 26,3 % по линии производства средств потребления, то ясно, что государство не имеет достаточного количества товаров. Чтобы не допустить обесценения рубля, партия, с одной стороны, держит заработную плату на низком уровне, а, с другой стороны, цены на товары держит на высоком уровне. Вот почему Хрущев 17 января 1964 года говорил в г. Калинин:

«Если бы мы дешевле стали продавать... продукцию, то у нас была бы огромная нехватка товаров, и надо было бы магазины делать из железобетона, иначе их бы развалили локтями».²⁰⁾

Понятно, что и в городе царит полуголод. Полуголод и гонит из дома всех взрослых членов семьи на работу в предприятиях и учреждениях: иначе не прожить.

Так голод и полуголод превращены партией в одно из основных орудий коммунистического переустройства общества.

ПОТЕРИ

Неслыханный террор, голод, войны, нищета и ломка всего общественного уклада во имя коммунистического переустройства общества вызвали среди населения СССР огромные людские потери. Эти потери были и остаются величайшей за всю историю человечества трагедией. Миллионы людей физически погибли, миллионы из оставшихся в живых морально покалечены. Чтобы установить, какое количество людей погибло и потеряно страной, мы с максимальной тщательностью и объективностью сделали на основе, главным образом, официальных материалов советской статистики соответствующие подсчеты, которые и приведем здесь в общей их части.

Общие потери. В свое время Ф. Достоевский, стремясь проникнуть своим умственным взором в будущее и обрисовать то новое общество, во имя которого в прошлом столетии началась борьба крайних элементов в России, высказал в своем романе «Бесы» ряд соображений, касающихся, в частности, и возможных людских потерь. Напомним одно место из этого романа. На небольшом собрании герой романа Шигалев, написавший книгу о социальном устройстве будущего общества, делает соответствующую

щий доклад. Из одной реплики, связанной с докладом, выясняется, что Шигалев в своей книге

«...предлагает, в виде конечного решения вопроса — разделение человечества на две неравных части. Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо... Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и перedelки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, — весьма замечательны...»²⁷⁾

Значит, границу или канавку, отделявшую тогдашнее общество от будущего шигалевского общества, предполагалось перескочить при помощи перевоспитания людей и вообще мер «всяма замечательных». Конечно, эти меры могут вызвать и некоторые жертвы, но другая реплика по докладу Шигалева говорит, что, в конце концов,

«...как мир ни лечи, всё равно не вылечишь, а срезав радикально сто миллионов голов и тем облегчив себя, можно вернее перескочить через канавку...»²⁷⁾

Таким образом, гениальнейший Достоевский еще в 1871 году высказал ряд пророческих предположений и, в частности, предположение, что социальное переустройство страны может обойтись народу в СТО МИЛЛИОНОВ ГОЛОВ. Цифра эта казалась в прошлом крайне несуразной. Но так ли уж она несуразна? Революция в России началась в 1917 году, затем она развернулась в гражданской войне, индустриализации, коллективизации и в полной перестройке общества, продолжающейся вплоть до наших дней. Народ за это время понес действительно огромные потери, особенно в начальный ленинский период революции и период диктатуры Сталина. Вот соответствующие цифры (в млн. человек):

Численность населения России в 1917 году

в границах до 17 сентября 1939 г. была 143,5 млн. чел.²⁸⁾

Естественный прирост населения за

1918-1939 гг. должен был быть нормально 64,4 млн. чел.²⁹⁾

Механический прирост населения в 1940 г.

вследствие присоединения к СССР ряда
новых территорий

20,1 млн. чел.³⁰⁾

Естественный прирост населения за

1940-59 гг. в современных границах

нормально должен был быть

91,5 млн. чел.²⁹⁾

Следовательно, общая численность населения в современных границах нормально в 1959 г. должна была быть	319,5 млн. чел.
В действительности по переписи населения 1959 г. оказалось	208,8 млн. чел.
ИТОГО, ОБЩИЕ ПОТЕРИ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ	110,7 „

Таким образом, население СССР потеряло в связи с событиями 1917-1959 гг. **СТО ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ ГОЛОВ.** Но это значит, что каждая или почти каждая семья в СССР кого-то потеряла и носит в душе живущих траур по погибшим.

Военные потери. Потери в людском составе населения объясняются в СССР военными событиями. Конечно, военные события имели очень большое значение. Сталин называл цифру погибших во Вторую мировую войну 7 млн. человек. В американской статистике называется цифра военных потерь СССР 7,5 млн. человек.³¹⁾ Хрущев назвал свою цифру, заявив, что

«...германские милитаристы развязали войну против Советского Союза, которая унесла два десятка миллионов жизней советских людей».³²⁾

Теперь имеет хождение цифра 20 млн. человек. В действительности потери СССР во Вторую мировую войну еще больше. Вот некоторые цифры.

	млн. чел.
Численность населения СССР к началу войны	197,1 ³³⁾
Естественный прирост населения за 1941-45 г.	15,4 ³⁴⁾
Следовательно, численность населения к началу 1946 г. должна была быть	212,5
К началу же 1946 г. было примерно	168,5 ³⁵⁾
Значит, людские потери СССР, связанные с войной	44,0

Сюда входят: а) боевые потери на фронте убитыми и умершими от ран; б) гражданские потери в тылу от бомбардировок, голода, болезней и террора; в) специальные потери на территории противника, связанные с гибелью людей в лагерях военнопленных и «остарбайтеров» в Германии; г) эмиграционные потери, связанные с беженством и невозвращенчеством; д) естественные потери, связанные с падением рождаемости во время войны. Общую сумму этих потерь и составляют сорок четыре миллиона человек.

Сорок четыре миллиона человек — величина очень большая, но размер этой величины во многом связан с особой коммунисти-

ческой тактикой ведения войны, не считавшейся с потерями «людского материала». Заметим, что по американской статистике³⁶⁾ военные потери союзников выражаются, например, в следующих цифрах:

1. Тринадцать государств: США, Англия, Франция, Бельгия, Дания, Греция, Голландия, Норвегия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Индия и Южно-Африканский союз — все вместе потеряли в войне: 940.707 чел.
2. Два государства: Польша и Югославия
потеряли 730.000 чел.
3. Одно государство СССР потеряло 7.500.000 чел.

По советской статистике,³⁷⁾ в Первую мировую войну естественный прирост населения перекрывал военные потери, и население России не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось, но во Вторую мировую войну, согласно приведенным выше расчетам, население СССР не увеличилось, а, наоборот, уменьшилось на 28,6 млн. человек (197,1—168,5). В процентах это выглядит так:

	Первая мировая война	Вторая мировая война
Население к началу войны	100 %	100 %
Население к концу войны	103 %	85,5 %

Как видим, население СССР за время Второй мировой войны потеряло весь свой естественный прирост (15,4 млн.) и, кроме того, значительную часть своего довоенного количества (28,6 млн.). Это — потрясающие итоги.

И тем не менее, утверждение, что все или большинство людских потерь СССР связаны с военными событиями, не правильно.

Революционные потери. Потери, связанные с военными событиями, грандиозны, но они далеко не покрыли всех потерь народа за время диктатуры партии. Они, вопреки распространенному в СССР мнению, составляют лишь часть, и притом меньшую часть этих потерь. Вот соответствующие цифры:

Общее количество людских потерь
в СССР за время диктатуры коммунизма с 1917 по 1959 г. . . . 110,7 млн. чел. — 100%
В том числе потери: в военное время 44,0 млн. чел. — 44%
в невоенное, революционное время 66,7 млн. чел. — 66%

Таким образом, в невоенное время, только в результате коммунистической революции и революционного переустройства общества, народ потерял 66, 7 млн. человек.

Советский поэт Е. Евтушенко в стихотворении, посвященном памяти поэта С. Есенина, говорит: «Потеряли мы... и двадцать миллионов на войне, и миллионы на войне с народом». Двадцать миллионов цифра хрущевская. На войне потеряно, как видим, не 20, а 44 миллиона. Цифру потерь на войне с народом Евтушенко не уточняет. Уточним ее: на войне партии с народом страна потеряла 66,7 миллионов человек. Такова цена коммунистического «эксперимента».

ИСТОЧНИКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

¹⁾ Из письма К. Маркса в «Новую Рейнскую Газету». См. К. Каутский, «Терроризм и коммунизм», стр. 54.

²⁾ А. Богданов, «Элементы пролетарской культуры в развитии рабочего класса», М., 1920, стр. 91.

³⁾ Б. С. Э., т. 64, стр 757.

⁴⁾ О ленинском терроре много пишут на Западе. Сошлемся лишь на две статьи в «Новом Русском Слове» за 1965 год. В одной статье говорится: «Когда в Москве после октября семнадцатого года начался террор, Кропоткин не верил, что Ленин сочувствует этому террору. Кропоткин писал Ленину письма, убеждал его «не пачкать кровью революцию». В конце августа 1918 года на Ленина было произведено покушение, и террор усилился. Кропоткин добился свидания с Лениным. Об этом свидании Кропоткин писал: «...Я упрекал его в том, что он за покушение на него допустил убийство 2500 невинных людей. Но оказалось, что это не произвело на него никакого впечатления...» Преступление совершила эсэрка Каплан, а расстреляны были люди, никакого отношения к преступлению не имевшие». (М. Коряков, НРС, 12. 12. 1965 г.). В другой статье мы читаем: «Сколько людей было расстреляно, убито и умучено в Сибири после поражения армии адм. Колчака в 1919 и 1922 гг., трудно даже себе представить... После ухода в изгнание армии ген. Миллера в 1920 г., весь Европейский Север России, Архангельская и Мурманская области, был превращен большевистскими карательными отрядами в пустыню. После отхода армии ген. Деникина в Крым, большевики огнем и мечом прошли по Югу России... А десятки тысяч расстрелянных и умученных в маленьком Крыму после ухода армии ген. Врангеля? А поголовно уничтоженные кронштадтские матросы? А 80 тысяч тамбовских крестьян, депортированных на север или в среднеазиатские пустыни в 1921 г. после подавления Антоновского восста-

ния? Сколько их было расстреляно на месте, об этом никто не знает. А кровавая баня... в Армении и Грузии в том же 1921 году» (Ю. Сречинский, НРС, 17. 7. 1965 г.).

5) В отдельных случаях и при Ленине террор затрагивал партийные кадры. Скажем, в начале 1965 года был, как отмечает советский журнал «Неделя», реабилитирован комкор В. Думенко, без вины расстрелянный Дзержинским 11 мая 1920 года по доносу Щаденко и Пескарева.

6) Газета «Экономическая жизнь» за 25 мая 1920 г. № 111.

7) «Программа и устав КПСС», М. 1964, стр. 246.

8) В. И. Ленин, Соч., т. 30, стр. 213.

9) Доносчики имеются не только в составе нештатных корреспондентов газет (селькоров, рабкоров), но и в составе штатных журналистов. Известна, например, Алла Трубникова, которая втирается в среду тех, кого диктатура стремится «разоблачить», и затем пишет свои очерки-доносы. То она прикидывается богомолкой, идет с богомольцами к святым местам и в беседах с доверчивыми людьми выясняет все, что ей нужно, а затем, извратив всё, пишет свои гнусные очерки-доносы (см. «Кликуши на походе», журнал «Октябрь», 1962, № 7 или «С крестом на шее», журнал «Октябрь», 1962, № 12). То она прикидывается «тунеядкой», втирается в доверие оппозиционных элементов и пишет очерк-донос «Две недели среди тунеядцев» («Октябрь», 1963, № 9). Штатных журналистов, занятых, главным образом, «сигналами с мест», очень много. Скажем, в одном только номере журнала «Крокодил» за 10. 8. 1963 г. имеется всего 50 статей и заметок, и из них 48 являются «сигналами», указывающими фамилии, адреса и место работы лиц, подлежащих преследованию. А сколько «сигналов» пересылается в соответствующие органы без опубликования в печати?

10) «...органы партийно-государственного контроля... располагают в настоящее время активом в несколько миллионов человек». (Н. Хрущев, 13 декабря 1963. См. «Правда» за 15 декабря, № 63).

11) Широко известен пионер Павлик Морозов (сын крестьянина деревни Герасимовки Свердловской области), который доносил на соседей, а затем донес и на своего отца. Отец был председателем сельсовета и выписывал крестьянам справки, дававшие им возможность уехать в город, поступить на работу и таким образом спастись от голода в деревне. Отец был расстрелян. Дед и соседи убили Павлика вместе с его младшим братом. Доносчик на отца «канонизирован» в СССР в качестве героя. Ему поставлен памятник в Москве. О нем пишутся книги для воспитания современных детей. Он прославляется в стихах и поэмах. Поэма С. Щипачева «Павлик Морозов» заканчивается, например, так: «Для смелых сердец примером Он в бронзе встал у древка. Ровесником пионерам Он будет во все века».

12) Указ от 4 июня 1947 г. См. Сборник законов и указов президиума ВС СССР 1938-1958», М., 1959, стр. 545.

¹³⁾ И. А. Бушуев, «Ответственность за укрывательство преступлений и недоносительство», М., 1965, стр. 111. Доносить обязаны и врачи. Врачебная и профессиональная тайна здесь не имеют значения.

¹⁴⁾ В. Лакшин, «Доверие». Журнал «Новый мир» М., 1962, стр. 236.

¹⁵⁾ ЦО «Правда» за 15 мая 1937 г. Статья «Самодур» в роли секретаря».

¹⁶⁾ А. А. Автарханов в своей работе «Технология власти» указывает норму арестов от трех до четырех процентов. Н. Рутыч в своей работе «КПСС у власти» говорит о норме даже в 5-10 % к составу населения.

¹⁷⁾ Это место из секретного доклада Хрущева широко известно на Западе. Цитируется по книге Н. Рутыча «КПСС у власти», 1960, стр. 351.

¹⁸⁾ Журнал «Новый мир», 1964, № 4, стр. 120.

¹⁹⁾ См. ВСЭ. Изд. 2. М., 1953, т. 20, слово «Каторга».

²⁰⁾ Цифра 10-15 млн. заключенных в СССР при Сталине указывается на Западе в большинстве источников, касающихся сталинского террора. Некоторые авторы пришли к этой цифре путем собственных расчетов, независимо от исчисления Объединенной Комиссии.)Напр., проф. В. Поздняков в его работе «Не забудь нас», 1955, стр. 9-10).

²¹⁾ Начальник Управления КГБ по Ленинградской области в газете «Известия» за 28. 8. 1963 г. рассказывает об арестованном экономисте Ю. Немецком, который брал у американских туристов «грязные клеветнические книжки» и допускал аполитичные высказывания, но, пишет этот чекист, «...аполитичные порочные высказывания Немецкого вскоре были замечены окружающими его сослуживцами. И они, выполняя свой гражданский долг, сообщили об этом в органы государственной безопасности». Как видим, сослуживцы донесли на Ю. Немецкого, хотя он высказывал даже не антикоммунистические, а только аполитичные мысли. Это происходит в 1963 году.

В журнале «Партийная жизнь» рассказывается, как жили два коммуниста, два самых близких и закадычных друга, но один из них в порыве задумчивого разговора сказал своему другу о проделке со своими документами об образовании. И другой немедленно донес на него. Журнал приводит этот факт как образец поведения коммуниста, обязанного по уставу партии доносить (см. «Партийная жизнь», 1965, № 6, стр. 46-50). И это происходит в 1965 году.

²²⁾ В 1963 году многие советские газеты писали о факте пыток в связи с внезапно всплывшем наружу делом об убийстве Тани Горкиной. По делу были осуждены двое — один на 15 лет, другой на 20 лет. В дальнейшем обнаружился подлинный убийца, и... выяснилось, что осужденные признали себя виновными в несовершенном ими убийстве под воздействием жестоких пыток во время допроса. Это происходило в 1963 году.

²³⁾ Концлагери называются сейчас трудовыми колониями. По указанию ЦК КПСС, Верховный Суд СССР 19 июня 1960 г. установил для взрос-

лых четыре типа колоний: общего режима, усиленного режима, строгого режима и особого режима, а для несовершеннолетних два типа общего и усиленного режима (см. газету «Советская Россия» за 27. 7. 1960 г., 20. 9. 1960, а также «Известия» за 10. 9. 1960).

²⁴⁾ ЦО «Правда», 10 декабря 1963 г.

²⁵⁾ При обсуждении девятого тома истории СССР в Академии Наук СССР 17-18 июня 1964 г. проф. Корушев говорил, что крестьяне-колхозники в 1933 году жили хуже, чем в 1929 году, и хуже, чем в 1913 году. Колхозники на трудодень получали по два кг. зерна, производя 69 кг.; 67 забирало государство. Проф. Генкина подала из зала реплику: «Если это так, то для чего была Октябрьская революция?!» Но это именно так, и действительно, для чего была Октябрьская революция, которая обрекла крестьян (82%) на величайшие бедствия, нищету и голод? Известно, что в колхозах на трудодень выдается какое-то количество продуктов натурой и какое-то количество денег. Какое? В романе Р. Киреева «Мать и дочь» (см. журнал «Новый мир», М., 1965, № 10, стр. 59) колхозница рассказывает: «...новый председатель Сергей Половин ...покаялся на общем собрании, что в этом году даст по двадцать копеек на трудодень. Все прежние председатели тоже обещали деньги на трудодень, но как ни старались, сдержать слово не смогли». Это в 1965 году.

²⁶⁾ Более подробно об этом выступлении см. «Посев» за 24. 1. 1964.

²⁷⁾ Ф. М. Достоевский, Собрание сочинений. Гос. Изд. Худож. Литературы. Москва. 1957 г. Том 7, Роман «Бесы», стр. 421-424.

²⁸⁾ Цифра 143,5 — официальная. См. «Итоги всесоюзной переписи населения 1959 года». М., 1962, стр. 13. В дальнейшем это издание будет называться сокращенно: «Итоги переписи».

²⁹⁾ Цифры естественного прироста населения вычислены по коэффициенту 1,7. В статистических материалах прошлого коэффициент прироста населения России, скажем, для 1900-1910 гг. указывается 1,7. В официальных сборниках «Народное хозяйство СССР» коэффициент для 1913 года указывается 1,68, то есть (при округлении) тоже 1,7. Для ряда лет советского времени коэффициент указывается выше. Скажем, в сборнике «Народное хозяйство СССР в 1956 году» (стр. 269) коэффициент для 1926 года указывается 2,37. (В последующих сборниках этот коэффициент выброшен, так как он относится к периоду нэпа и, характеризуя своим высоким уровнем наступившее тогда процветание, компрометирует последующие социалистические годы). В сборнике «Народное хозяйство СССР в 1961 г.» (стр. 28) коэффициент указывается для 1954 — 1,77, для 1958 — 1, 81 и для 1960 — 1,78. В будущем возможно некоторое понижение этого коэффициента. Но приведенные расчеты касаются не будущего, а прошлого. Для прошлого коэффициент 1,7 минимален.

³⁰⁾ Цифра 20,1 млн. представляет собою официальную и неоднократно уточнявшуюся величину, которая учитывает население присоединенных территорий (включая 900 тыс. населения Карпатской Руси и 100 тыс. Тувы) и произведенное в 1945 г. уточнение границ с Польшей.

³¹⁾ См. «The World Almanac 1963», стр. 736.

³²⁾ См. журнал «Международная жизнь», 1961, № 12, стр. 8, а также «Народное хозяйство СССР в 1962 году», стр. 8.

³³⁾ Цифра населения к началу войны 197,1 млн. вычислена так. Население по переписи 1939 года было 170,6 млн. Прирост населения по коэффициенту 1,7 за время с 17 января по 31 декабря 1939 — 2,9. Плюс население присоединенных территорий 20,1. Плюс прирост населения в 1940 г. по коэффициенту 1,3 за время с 1 января по 1 сентября — 1,5 млн. и за время с 1 сентября по 31 декабря 0,8 млн. Плюс прирост населения за первую половину 1941 г. — 1,2 млн.

Проф. Тимашев для начала войны предложил (см. «Новый журнал», кн. 19, стр. 202) более высокую цифру населения СССР — 200,2 млн., так как естественный прирост за 1939-41 исчислил по коэф. 2,0. Но, очевидно, в обстановке войны с Финляндией в 1940 г. рождаемость снизилась, а на присоединенных территориях она, как отмечает и сам проф. Тимашев, не превышала одного процента в год. Мы прирост населения за 1940-41 гг. исчислили по официальному коэффициенту — 1,32 (см. «Народное хозяйство СССР в 1961 году», стр. 28). Этот коэффициент в то время, когда проф. Тимашев писал свою работу, опубликован еще не был.

Советская статистика («СССР в цифрах в 1962 году», стр. 11) указывает численность населения к началу войны 190,7 млн. Эта цифра получена, очевидно, путем сложения $170,6 + 20,1$; она не учитывает прироста населения за 1939-41 гг. и является поэтому неправильной.

³⁴⁾ Цифра прироста населения за время с 1.7. 1941 по 1. 1. 1946 исчислена по коэффициенту 1,7. Эта цифра отвечает на вопрос: на какое количество могло бы увеличиться за это время население СССР, если бы не было войны и тяжелой обстановки.

³⁵⁾ Цифра населения к концу войны, вернее, к началу 1946 года в официальных источниках отсутствует. Она исчисляется обычно на основе косвенных показателей. Лоример в своей книге «Население Советского Союза» (1946) предложил цифру 188 млн. Советский профессор Александров назвал (1946) цифру 193 млн. На Западе такую же цифру назвал В. Леонтьев, и очень близкую к ней А. Зайцев, Е. Кулишер и др. Эта цифра приводилась и в статистическом сборнике ООН. Еще более высокую цифру — 197 млн. — назвал А. Марков в книге «Россия сегодня». Но цифра 197 млн. уже совершенно бессмысленна, т. к. показывает, что СССР во время войны не потерял ни одного человека.

Проф. Прокопович в своей работе «Народное хозяйство СССР» назвал

цифру 180,5. Проф. Н. С. Тимашев, со свойственной этому серьезному ученому добросовестностью, проанализировал эту цифру («Новый Журнал», кн. 19, стр. 201-210) и на основе своих расчетов пришел к заключению, что население СССР к началу 1946 г. было 180 млн. К цифре 180 млн. пришел при помощи иных расчетов и автор этой работы в своей книге «Нации СССР и русский вопрос». Однако с тех пор появились новые официальные материалы, которые дают возможность сделать новый расчет, а именно: население СССР в 1956 году по новым официальным данным было 197,9 млн. человек. (Раньше советская статистика называла для этого года цифру 200,2). На XX съезде партии Хрущев заявил, что «прирост населения нашей страны составил за годы пятой пятилетки 16 млн. 300 тыс. человек». (См. его доклад, стр. 84). Принимая во внимание эту цифру и численность населения СССР в 1954, 1955 и 1956 годах, впервые указанную в сборнике «СССР в цифрах в 1962 г.», можно путем ретроспективных расчетов установить прирост населения и за 1946-1950 гг. Он будет 13,1 млн. Обычно после войны прирост населения временно повышается, но мы это повышение не учитываем, т. к. в СССР оно было нейтрализовано продолжавшейся разрухой и голодом 1946-1947 гг. По нашим расчетам, население СССР к началу 1946 г. было: 197,9 минус 16,3 минус 13,1 = 168,5. Предыдущие расчеты давали повышенную цифру, так как исходили из пониженного прироста населения.

³⁶⁾ См. «The World Almanac 1963», стр. 736.

³⁷⁾ См. «Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года», стр. 14.

³⁸⁾ Среди историков существует мнение, что партия могла избавить народы СССР от войны, заключив договор о ненападении не с фашистами, а с демократами. Но партия заключила договор с фашистами, так как стремилась наверняка столкнуть капиталистические страны между собой и затем, когда они «извоются», превратить Европу, при помощи свежих сил СССР, в коммунистическую провинцию. Это была ошибка, приведшая к тому, что СССР принужден был не только воевать наряду со всеми, но и начать войну в самый неблагоприятный для себя момент. Может быть, всё это спорно, но бесспорно то, что в процессе войны народ понес сверхжертвы, в огромной своей части по вине партии. Вот несколько фактов.

Партия в порядке чистки 1937-38 гг. уничтожила значительную часть командного состава своей армии. Советские историки (см. «История Великой отечественной войны Советского Союза 1941-1945») отмечают, что были арестованы и погибли около 50 % командиров полков, почти все командиры бригад, дивизий и корпусов, почти все командующие военными округами и профессора военно-учебных заведений. Многие из них хорошо знали немецкую школу военного дела и были особенно ценны. К началу войны среди командиров советской армии было только семь процентов, имевших высшее военное образование. Армия была обезглавлена и отчасти поэтому несла огромные потери.

Партия игнорировала многочисленные и порой исключительно авторитетные (Черчилль и др.) сообщения в Москву о том, что фашисты, несмотря на договор о дружбе с коммунистами, готовят нападение на СССР. Игнорируя эти сигналы, партия никаких мер предосторожности не принимала.

Партия в ходе войны безрассудно расходовала «человеческий материал», скажем, отправляла навстречу наступающим немцам необученных и безоружных ополченцев, чтобы их телами немного затормозить движение немцев вглубь СССР. Партия организовала штрафные батальоны, которые бросались своими телами на мины для разрядки минных полей. Партия организовала специальные заградительные отряды, которые шли в тылу и расстреливали своих, когда они под напором противника отступали. Партия создала в армии специфическую обстановку, когда высшие командиры совершенно не считались с людскими потерями.

Партия уничтожала при отступлении все продовольственные запасы вместо того, чтобы раздать их населению, брошенному советской армией на произвол судьбы. Население обрекалось на голод и нищету.

Партия после войны произвела бесчеловечную чистку ею же брошенного населения в районах, побывавших под оккупацией немцев.

Партия произвела бесчеловечную расправу над людьми, попавшими в плен или принудительно увезенными гитлеровцами на работы в Германию и затем добровольно вернувшимися после войны в СССР или принудительно и бесчестно возвращенными в СССР демократическими государствами.

Партия бесчеловечно расправилась с теми народностями СССР, которые были обвинены в лояльности к оккупантам, и поголовно (включая глубоких стариков и младенцев) выслала целые республики в гиблые места.

Взаимоотношение знания и веры

АПОЛОГЕТИЧЕСКИЙ ОПЫТ АЛЕКСЕЯ ДОБРОВОЛЬСКОГО

Интересно подвергнуть анализу некоторые состояния человеческого сознания с точки зрения формулы $\mathcal{E} = \Pi (H - C)$.

Прежде всего рассмотрим саму формулу.

Здесь $\mathcal{E}$ — эмоция, испытываемая человеком при восприятии определенного жизненного отношения. Π — потребность разрешения данного отношения в желательном для субъекта виде, плане, направлении. H — информация, прогностически необходимая для организации действий, направленных к достижению цели (на удовлетворение потребности). Это предварительная разработка темы субъектом восприятия, его, так сказать, гипотеза о результате, сущности того или иного события, отношения. Это внутреннее чутье, догадка, интуиция. Основана ли она на прошлом опыте субъекта, или является априорным понятием, — к разбираемому вопросу имеет косвенное отношение. C — наличная информация, т. е. то, что есть на самом деле; форма решения данного отношения в реальной жизни. Если так можно выразиться, это ответ жизни на тот вопрос, в отношении которого ставились прогнозы.

Сфера применения этой формулы весьма обширна, потому что трудно найти область деятельности, где бы человек не испытывал эмоции. Начиная от игры в карты и кончая самыми возвышенными проявлениями человеческого духа. Искусство, наука, религия, война, мирный труд — все это области, составляющие предмет переживания человека. Предмет его эмоций.

Чтобы окончательно понять сущность разбираемой формулы, рассмотрим ее на примере двух борющихся людей.

Каждый из них имеет желание, потребность выйти победителем из этой схватки. Итак, налицо один элемент — потреб-

Эта статья была помещена в журнале «Феникс 1966». Ее автор А. Добровольский, после выхода «Феникс 1966», был арестован в середине января одновременно с редактором журнала Ю. Галансковым и двумя другими участниками его В. Лашковой и П. Родзиевским.

ность П. Что касается прогностической информации Н, то она тоже налицо, потому что не будь у борющегося предварительных мыслей о личности противника, о его слабостях, о манере его борьбы, о возможности победы над ним, одним словом, не будь у него прогностических сведений о характере конфликта, в который он вступает, и способах его разрешения, никакого конфликта (в его первоначальном смысле) не произошло бы. Потребность и прогностическая информация — вот два элемента, необходимые для того, чтобы начать действия по удовлетворению потребности, по достижению цели. Что же дальше? Дальше в дело вступает сама жизнь. Она показывает, насколько были верны прогнозы субъекта в отношении конкретной ситуации, в чем он ошибался и в чем оказался прав.

Здесь становится очевидной связь прогностической и наличной информации (Н и С), и не только связь, но и качественная их однородность. Н — прогностическая информация, это далеко не любая информация о противнике. Это предварительная информация о качествах, которые в дальнейшем жизнь покажет воочию, которые обнаружатся в борьбе.

Так вот от того, насколько прогностические сведения окажутся схожими с реальной жизнью, и зависит как характер, так и сила эмоций, испытываемых человеком в различных жизненных положениях.

В разбираемом примере допустим, что один из борющихся имел некоторые прогностические представления о слабостях противника, о том, как будет выглядеть картина боя, какие средства защиты и нападения он изберет сам и т. д. Но в самом начале борьбы противник оказался иным, нежели предполагалось (несколько более сильным, ловким). В результате этого должна возникнуть эмоция — ярость.

Эмоция возникла как следствие недостатка сведений, дефицита информации, причем той информации, которая необходима для удовлетворения потребности (в данном случае, победы над противником).

Возникает вопрос: чему же служит эмоция? Для чего она нужна? Каково биологическое назначение эмоции? Вопросы справедливые, и возникают они потому, что природа не создает ничего бесполезного. Но тогда в чем польза эмоции? По-видимому, в том, что она на каком-то отрезке способна стать компенсатором дефицита информации. Она возникает как реакция организма на этот дефицит и толкает живую систему на поиски новых путей, решений, действий, направленных на достижение цели. Эмоция

ярости (в нашем примере) заполняет информационные пустоты, она помогает человеку шагать через них. Правда, на некоторое время она делает его безрассудным, но какое значение это имеет, если в конечном счете приводит к победе! В том, что ярость в некоторых случаях оказывается спасительной, вряд ли нужно кого-либо убеждать. Не будь эмоции, человек при встрече с непредвиденным всегда отказывался бы от борьбы. Где нам не в силах помочь здравый смысл, там в действие вступает эмоция. Таким образом, эмоция помогает незнанию.

Если в качестве примера мы возьмем восприятие человеком произведений искусства, то картина окажется аналогичной. Есть потребность в эстетическом удовлетворении, т. е. в восприятии определенного решения жизненных задач формами и средствами искусства. Есть прогностическая информация относительно разрешения ситуации, рассматриваемой в произведении искусства. Эмоция будет зависеть от того, насколько совпадает прогностическая информация зрителя с объективизированной мыслью художника. Если прогностическая информация субъекта восприятия окажется глубже и обширней той, которую дает автор изображением решаемой проблемы, то первый не испытывает чувства эстетического удовлетворения. Скорее он будет разочарован. Наоборот, если автор художественного произведения дополнит мысли зрителя своими собственными, если он осветит новые стороны явления, или даже просто взглянет на вещи с иной стороны, он вправе рассчитывать на успех, на высокую оценку своего творчества. Эту черту искусства тонко подметил Шопенгауэр: «Мы тогда бываем вполне удовлетворены впечатлением от художественного произведения, когда оно оставляет после себя нечто такое, чего мы, при всем усилии мысли, не можем довести до полной ясности».

Но такое отношение Н и С, разумеется, имеет свои границы. Ясно, что если прогностическая информация практически отсутствует, то как бы талантливо и блестяще ни были разрешены проблемы в искусстве, они не будут оценены. Они будут просто непонятны!

Таким образом, недалеко дойти до мысли, что исключительная одаренность человека, гениальность, не сразу становится достоянием умов обыкновенных людей. История изобилует примерами, когда величайшие творения человеческого гения незаслуженно попирались. Они были поняты и оценены спустя много лет, когда общий уровень сознания (прогностическая информа-

ция) поднялся на ту ступень, на которой стояли гении, считавшиеся безумцами.

Когда Матисс впервые показал в Париже свою картину «Радость жизни», то не только непосвященные, но и маститые художники из его окружения высказывали мнение, что Матисс рехнулся. Время показало, что они ошибались.

Для окончательного понимания формулы $\mathcal{E}=\Pi (H-C)$ рассмотрим крайние значения букв. Всего здесь, по-видимому, четыре положения:

1) Эмоции не будет, если потребность равна 0, т. е. если ее нет или она уже удовлетворена.

2) Если $H=C$, или $H-C=0$. Эмоции отсутствуют у достаточно информированного субъекта, если даже учесть большую величину потребности.

3) H больше C . Эмоция будет, и тем больше, чем больше разница ($H-C$) и величина Π .

4) H меньше C . В этом случае правая часть формулы меняет знак на обратный, и эмоция меняется на свою противоположность. Если, например, наличная информация художника продолжает направление, в котором работала прогностическая информация субъекта восприятия, то неудовлетворенность сменяется радостью, восторгом.

Создав механизм эмоции, природа обеспечила постоянную компенсацию дефицита информации.

Если живая система достаточно хорошо информирована для нормальной ориентации в окружающей среде, она обходится без эмоций. Но если дефицит информации даст знать о себе, в движение обязательно придет и эмоциональный аппарат, помогая живому существу двигаться в желательном для него направлении.

Ввиду того, что окружающая человека среда меняется вероятно (т. е. человек не способен знать достоверно направление изменения), дефицит информации, а значит, и эмоции, носят постоянный характер. Любая живая система действует в условиях хронического дефицита информации. По-видимому, если бы человеку удалось добиться получения исчерпывающих сведений о всех возможных колебаниях окружающей среды, то в любой жизненной ситуации он оставался бы совершенно спокойным. Легко видеть, что такого рода знание вряд ли доступно человеку.

Рассмотрев сущность самой формулы, можно перейти к рассмотрению более обширных проблем, таких, как, например, *взаимоотношение знания и веры* с точки зрения формулы $\mathcal{E}=\Pi (H-C)$.

Люди небольших интеллектуальных запросов редко испытывают состояние неудовлетворенности окружающим. Им почти незнакомы приступы беспричинной хандры. Чаще всего они находятся в состоянии, близком к веселости, и если что-либо и огорчает их, то ненадолго.

Совсем другое дело у тех людей, интеллектуальный кругозор которых простирается далеко за традиционные пределы. Как бы ни складывались внешние условия, окружающие их, мысли подобных людей постоянно вращаются вокруг мрачных сторон жизни, и даже светлые стороны они способны окрасить в мрачные тона, если дадут волю своему воображению. Черная меланхолия — нередкая гостья в доме этих людей.

Замечу, что и в том, и в другом случаях речь идет о людях атеистического мирозерцания.

Из формулы $\mathcal{E} = \Pi (H - C)$ мы знаем, что положительную эмоцию можно испытать лишь тогда, когда C — наличная информация — очень велика и превышает H . Нет никаких оснований предполагать, что высокоинтеллектуальные люди обладают меньшим объемом наличной информации. Значит, все дело в прогностической информации. Несмотря на то, что абсолютное значение C велико, оно оказывается недостаточным относительно H . В результате — дефицит информации, а следствием его, как мы знаем, является эмоция.

Те, чей ум покидает пределы нашего мира и начинает скитаться по необъятным просторам Вселенной, видят бессмысленность всех земных устремлений. Их не волнуют житейские заботы; все жизненные невзгоды предстают перед ними в совершенно ином свете, нежели перед другими. Единственное, что способно их огорчить, это отклонение собственного поведения от требований идеала.

Величаво и спокойно взирают на нас лица великих философов древности. Что-то вневременное, вечное запечатлелось в безмятежном взгляде этих людей.

Но это уже сознание, преодолевшее ступень плоского атеистического миропонимания.

Как же отыскать ту грань, где знание соприкасается с верой?

Если обратиться к отдаленным временам, к истокам появления «жажды познания», то можно увидеть, что человек старался познавать не только в чисто практических, утилитарных целях. Наряду с конкретными, частными явлениями, человек старался охватить рамками мышления общие закономерности, сделать объектом мироощущения не только близкие ему предметы,

но всю Вселенную в целом. Более того, человек стремился познать не только вещи, находящиеся вне его, но и самого себя, свое место в этом мире, ограниченном пространством и временем. Через всю историю человечества красной нитью проходит стремление к познанию универсальных и абсолютных истин. Как существо, ограниченное во времени, человек не мог не задаваться вопросами о природе времени и пространства, общего и единичного, материи и сознания. Одним словом, чтобы иметь возможность жить, чтобы иметь уверенность, что, проснувшись завтра, он найдет себя в том же мире, человек должен был отыскать что-то вечное, нерушимое, чему подчинено все сущее. Этой тенденции придерживаются, пожалуй, все объективистски настроенные философы древности.

Но одно дело ставить вопрос, другое — добиться его разрешения. На заре познания философия поставила вопросы, которые и по сей день так же неразрешимы, как во времена Гомера и Фалеса.

Положительное знание могло помочь в разрешении любой частной проблемы, оно с полным успехом могло служить целям ориентации в мире, но когда дело касалось вечных вопросов, то все построения, основанные на этом условном знании, рушились, как построенные на песке.

В то же время потребность, насущная потребность в утверждении чего-то вечного, неизменного, придающего единственный смысл нашему краткому существованию, ни на минуту не оставляла человека.

Исходя из формулы $\mathcal{E} = \Pi (H - C)$, при наличии огромного дефицита информации, при наличии массы прогностических представлений и наличной информации, близкой к нулю, человек не мог испытывать ничего, кроме неудовлетворенности, недовольства и, если так можно выразиться, тоски по идеалу.

Постоянное чувство неудовлетворенности, тоски, угнетает человека и в конечном счете приводит к ослаблению жизнедеятельности, инстинкта самосохранения.

Природа сама с собой вступает в противоречие. Противоречие может быть разрешено лишь в том случае, если эмоция, выражающаяся в пессимистическом восприятии мира, изменится на свою противоположность. Но для того, чтобы произошла подобная метаморфоза, необходимо, чтобы величина C в формуле резко возросла.

Итак, если видимый, осязаемый, воспринимаемый мир не способен дать ответа на вопрос о смысле бытия, то природа за-

ставляет верить в то, что есть иной, отличный от нашего мир, в котором осуществимы столь желанные, но, увы, недоступные для человека вечные идеалы Добра, Красоты, Истины.

Под влиянием этого чувства Платон создает свой идеальный мир; и любой философ, пытающийся объяснить тайны бытия, вынужден ввести так или иначе понятие трансцендентного, т. е. в конечном итоге Божественного.

Противоречие познания состоит в том, что, открывая перед исследователем все новые и новые горизонты, оно постепенно подводит его к тому «последнему горизонту», за пределами которого бушуют волны Неведомого.

И не эту ли черту познания имел в виду древний мудрец, говоря: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это — томление духа; потому что во mnogой мудрости много печали; и кто умножает познания — умножает скорбь» (Екклесиаст, I, 17-18).

Характерно, что говорится «во mnogой мудрости много печали». Не «во многом знании», а «во mnogой мудрости», и подразумевается, без сомнения, под мудростью прогностический характер информации человека, т. е. его способность задумываться над сложностью жизненных проблем.

Итак, стимулируя расширение и углубление прогностических представлений и не отвечая на них определенным образом, познание в своих высших формах оставляет человека наедине с отчаянием и скорбью. Стоя на этой точке зрения, вполне можно понять слова Бергсона: «Религия является оборонительной реакцией природы против разлагающей силы человеческого разума».

Часто можно услышать мнение о том, что религия возникла в отдаленные времена, когда люди, наблюдая за многими явлениями природы, не могли дать им рационального объяснения. Есть еще одно мнение о религии как о спасительном убежище для всех слабых, обиженных, неполноценных.

В принципе нельзя не согласиться ни с одним из них. Религия действительно является порождением незнания, но незнания непреодолимого, которое вечно будет сопутствовать человеку. Даже стоя на диалектических позициях и признавая бесконечность процесса познания, придется согласиться с тем, что абсолютная истина недостижима. А раз так, то религия вечна, так как служит величайшей потребности человека — потребности общения с Абсолютной Истиной.

Будут, конечно, существовать и довольные жизнью, сытые

атеисты, которым ограниченный объем их ума не позволит совместить положительные знания с верой в Бога.

Но тот, кто постоянно бьется над вопросами о смысле бытия, кто не желает вжиться в настроение ученого-сектанта, всегда будет чувствовать на своих плечах гнетущую тяжесть необъяснимых тайн жизни, всегда будет считать себя слабым и неполноценным в этом мире, пока не обратит свои взоры к миру иному, высшему.

Хочется закончить словами Б. Паскаля: «Есть только два рода людей, которых можно назвать рассудительными: это, во-первых, те, которые служат Богу всем своим сердцем, потому что Его познали, во-вторых, те, которые ищут Его всем сердцем, потому что еще не познали Его».

Советская социология глазами западных ученых

С 4 по 11 сентября 1966 года в Эвиане (Франция) состоялся VI международный социологический конгресс. Он был исключительно многолюдным: со всех стран мира съехалось около 2000 участников, в основном, социологов, но также философов, психологов, историков, экономистов, демографов, педагогов, правоведов, публицистов, а то и просто студентов.

Были крупные делегации и из стран социалистического лагеря (но не из Китая). Советская делегация была в составе 83 человек.

Советские ученые принимали участие и на предыдущих конгрессах: в Амстердаме в 1956 году, в Стрезе в 1959 году (13 человек), в Вашингтоне в 1962 году (около 20 человек), но впервые в Эвиане советская делегация была столь внушительной. Столь же внушительным было и количество работ (около 80), представленных советскими учеными на всех секциях, заседаниях комитетов и семинарах, на которых протекала работа конгресса.

Такое интенсивное участие советских социологов не случайно — оно отразило быстрый рост социологических исследований в СССР, рост тем более знаменательный, что, как пишет проф. К. Одака (Токио): «10 лет назад в СССР, за исключением некоторых специалистов, почти никто не знал о существовании социологии»^{*)}. До этого советские социологические труды носили лишь теоретический характер и служили иллюстрацией известных положений исторического материализма.

Перелом произошел в конце 50-х годов, и на конгрессе в Стрезе впервые стало известно о существовании советской социологии как отдельной науки. С тех пор социология в СССР стала развиваться исключительно быстрыми темпами. В конце мая 1966 года на объединенном собрании Славянского института и Отделения

^{*)} «Асахи Шимбун», 7 ноября 1966 г.

социологии Колумбийского университета в Нью-Йорке Ю. А. Замошкин мог уже нарисовать убедительную картину (кстати, на хорошем английском языке) разнообразных и многочисленных социологических исследований, ведущихся в крупнейших научных центрах страны: в Ленинграде, Риге, Новосибирске, Киеве, Львове, Перми, Москве, Горьком и др.

В начале 1966 года в СССР состоялись два крупных совещания социологов: симпозиум в Ленинграде (16-19 февраля), на котором присутствовало около 600 человек из 68 городов страны, и симпозиум в Москве (3-4 марта), на котором участвовало около 700 человек. Интересно отметить, что средний возраст участников ленинградского симпозиума был ниже 30 лет.

25 февраля 1966 года Академия наук приняла решение «о мерах по улучшению организации и координации конкретных социологических исследований». Было намечено создание кафедр социологии в вузах, создание новых институтов, выпуск в свет специального журнала и т. п. К середине 1966 года в стране уже около 2000 работников вузов и научно-исследовательских институтов занимались конкретными социологическими исследованиями*), а всего работало в области социологии до 3000 человек. Это сказалось и на количестве социологических публикаций: свыше 3000 в 1965 году**) и, вероятно, до 5000 в 1966 году.

Чем же объясняется этот неожиданный и быстрый рост? Какую роль может сыграть этот новый отряд социологов, вливающийся сейчас в сотысячную армию социологов других стран, уже давно работающих в условиях, столь отличных от условий в Советском Союзе? Возможен ли контакт, взаимопонимание, взаимодействие и кооперация между ними? Эти вопросы невольно приходили в голову едва ли не всем участникам Эвианского конгресса, особенно после выступления на пленарном заседании академика Ф. В. Константинова, призвавшего к дружным поискам общего языка.

На эту тему могут быть приведены несколько соображений общего характера.

* *
*

Первая научно-техническая и промышленная революция середины прошлого века за короткое в исторических масштабах

*) «Марксистская социология, ее задачи и перспективы». Ак. П. Н. Федосеев. Вестник АН № 7, 1966.

**) Доклад проф. А. А. Зворыкина в Эвиане.

время радикально изменила экономическую и социально-политическую структуру общества тех стран, в которых она произошла.

Это изменение структуры в значительной степени явилось результатом внедрения новой техники, оказавшей решающее влияние на способы производства, условия труда и прочие важнейшие факторы экономического и социального прогресса. Однако изменение структуры происходило не только в силу этого непосредственно преобразующего фактора техники, но и окольным путем в результате политических реформ (порой революционных), которые стали возможными, а то и необходимыми из-за осознания политическими лидерами и народными массами закономерности выводов из обобщающих социальных теорий того времени.

Таким образом, новая техника или непосредственно ломала устоявшиеся экономические и социальные отношения или воодушевляла на реформы политическое руководство, пользовавшееся выводами и прогнозами социальных теорий, построенных на изучении большого количества конкретного социологического материала.

Ныне мы живем в эпоху *второй* научно-технической революции, отличающейся от предыдущей грандиозностью, планетарностью размаха и чрезвычайно быстрыми темпами вызываемых или требуемых ею изменений. Непосредственное влияние новой техники на нашу жизнь огромно и очевидно. Влияние же новых теоретических обобщений и нового политического их осмысления явно отстают от требований времени. И в этом в большой мере и вина и беда современной социологии.

Действительно, именно социология должна была бы обобщить безбрежное множество фактов, порожденных невиданным прогрессом науки и техники. Именно социология должна была бы обеспечить политическое руководство разных стран, да и всего мира, ориентиром для проведения радикальных и разумных реформ, отвечающих требованиям нашего бурного и *опасного* века.

Современная западная социология предлагает лишь частичные и локальные решения и явно уклоняется от разрешения больших задач.

Это положение имеет свое историческое объяснение (которое с течением времени все меньше и меньше может служить оправданием). Дело в том, что попытки создания крупных обобщающих социологических теорий привели во второй половине XIX века к

возникновению ряда конкурирующих, а то и антагонистических школ и течений. Одна из этих школ — марксистская — легла в основу политического режима, утвердившегося в России, а после Второй мировой войны и в ряде других стран. После этой знаменательной даты — 1917 года, — социология разделилась на два основных русла.

На Западе само обилие школ и течений привело к кризису, к потере веры в возможность крупных социальных обобщений, к уходу в мелкотемье и сугубый эмпиризм чисто практического назначения. Критическое отношение к марксистскому опыту времен культа личности также не способствовало тяге к социологическим обобщениям исторического масштаба.

По другим причинам отсутствовала эта тяга и в России. Там социологические проблемы казались разрешенными раз и навсегда, а поэтому не только не делались попытки новых социологических обобщений, но не велась и эмпирическая исследовательская работа, так как теория заранее давала ответы на все вопросы.

Естественно, что при этих условиях не могло быть и речи о каком-то взаимодействии или кооперации социологов Запада и России.

Перемены начали намечаться с пятидесятых годов. На Западе эмпирические исследования, благодаря выработке все более и более точной методологии (в частности, в связи с применением современных математических методов), стали приводить к частным положительным результатам, т. е. к возможности предвидеть события и явления в данной сфере наблюдаемой социальной действительности. Это возродило престиж социологии как науки. К услугам социологов стали прибегать все больше и больше, — сначала отдельные фирмы и предприятия, затем целые отрасли промышленности, потом государственные учреждения и министерства и наконец международные институты.

Все это привело к росту кадров социологов, к повышению их научного престижа и, как следствие, к возрождению веры в свои силы.

По другим причинам аналогичное явление роста престижа социологии стало наблюдаться и в странах социалистического лагеря — в Восточной Европе, а с 1960 года и в Советском Союзе.

К этому времени единое русло победившего в этих странах марксизма разбилось на ряд течений (Югославия, СССР, Китай), из которых каждое претендовало на ортодоксальность. Выйти из порочного круга чисто догматических споров можно было лишь путем научного обоснования той или иной точки зрения, а оно воз-

можно через осмысление нового и чрезвычайно обильного социального материала, требующего обработки минимум с той же тщательностью, с какой это было сделано Марксом более ста лет назад. Как ни опасным казался этот путь, отмеченный страшной указательной стрелкой с надписью «ревизия», — первые шаги на этом пути были все же сделаны.

Успехи эмпирической западной социологии также не могли не стать стимулом повышенного интереса к ней. По мере индустриализации стран социалистического лагеря на уровне современной техники и науки, в этих странах не могли не возникнуть проблемы, схожие с теми, с которыми встретились высокоиндустриализованные общества Западной Европы и США.

Итак, с одной стороны, на Западе преодоление самокритического скепсиса и пробуждение вкуса к обобщениям на базе уже достигнутых, хотя и фрагментарных, но несомненно положительных результатов, вызвали интерес к ученым Советского Союза, от которых ожидалось умение оперировать с масштабными умозаключениями.

А с другой стороны, в России насущная потребность практической политики серьезно считаться с данными современной науки вызвали интерес к достижениям эмпирической социологии Запада. На этих двух быках взаимного интереса и был переброшен мост, существование которого стало явным на Эвианском конгрессе.

Этот мост имеет, однако, не только это основание взаимного интереса. Это основание глубже и серьезнее.

Социологии второй половины XX века предстоит разрешать прежде всего задачи планетарного, глобального масштаба, далеко выходящие за рамки местных, национальных структур. И в этом плане можно понять резанувшее ухо своей политической заостренностью выступление академика П. Н. Федосеева, говорившего о проблемах войны и мира.

Действительно, как ни важны проблемы семьи, образования, труда, досуга и т. п., на первый план перед всем человечеством выдвигаются вопросы, связанные со страшной амбивалентностью современной техники. Огромные энергетические ресурсы атомного ядра уже в недалеком будущем сулят человечеству окончательное освобождение от физического труда, а в то же время грозят нашей планете тотальной катастрофой. Необычайные завоевания химии, биохимии, медицины, с одной стороны, обещают полностью исключить из человеческого обихода голод, недоедание и болезни, а с другой стороны, они же могут дать в руки тиранам такие

средства уничтожения ближнего (яды) и контроля над психикой индивидуумов и целых коллективов, которые и не снились не только Борджия, но и изощренным диктаторам нашей современности.

Освобождение от физического труда, голода и болезней — цель, к которой несомненно должно стремиться человечество, но каждое приближение к этой цели ведет к проблемам перенаселения, которые уже сейчас остро ставят вопросы о питьевой воде, обитаемой площади, охране природы и т. п. Эти вопросы радикально не могут быть разрешены в национальных и даже континентальных рамках. Банальность этого соображения не умаляет его актуальности.

Ряд технических задач международного масштаба уже вынесен за скобки ныне существующих национальных и идеологических перегородок, и по ним достигнуты частичные компромиссные соглашения, все более и более ущемляющие национальный суверенитет, этот идол XIX и начала XX века.

Но политическое руководство разных стран, приходящее к этим соглашениям под давлением объективных факторов техники и природы, не висит в безвоздушном социальном пространстве, на него давит в положительную или отрицательную сторону общественное мнение. Это руководство связано традициями, представлениями и настроениями народных масс, которые оно призвано представлять. А изучение этих социальных явлений и есть предмет социологии.

Я далек от того, чтобы видеть будущее политического руководства в его слиянии с научно-технической, в частности, социологической элитой. Но консультативная роль науки, и социологии в особенности, несомненно будет расти в течение ближайшего десятилетия.

По мере частных успехов социологии в предвидении, а следовательно и в направлении событий, — к ней будут предъявляться все большие и большие требования для разрешения больших задач и вопросов века. Эти разрешения едва ли мыслимы на пути простого суммирования частных результатов. Отсюда задачи и перспективы социологии, отсюда и требование более тесной кооперации *всех* социологов мира.

Еще недавно могла защищаться точка зрения, согласно которой *только* устранение национальных и идеологических перегородок может привести к удовлетворительному решению насущных вопросов мирового масштаба. Но это устранение заставляет себя долго ждать. Ни одна из сторон надвое разделенного мира

не хочет капитулировать, чтобы предоставить другой чаемую монополию. Больше того, в каждой из двух антагонистических сфер влияния процесс отнюдь не идет в сторону воинственной поляризации, которая в конечном счете сделала бы мировой конфликт неизбежным. Фактически мы наблюдаем обратную картину: мир дробится по обе стороны разделяющего его барьера. Крепнет и идет своими путями «третий мир», в целом отнюдь не склоняющийся в одну или другую сторону. Капиталистический мир и ранее не имел единства, а мир социалистический на глазах это единство теряет.

При этих условиях компромиссные соглашения, достигаемые в рамках кооперативных международных институций, все больше и больше становятся правилом, отражающим плюралистический характер современного мира. Правило это имеет и идейное оправдание с обеих сторон идеологического барьера, так как и там и там в кругах прогрессивной интеллигенции стали подчеркивать значение и роль неповторимой в своем своеобразии человеческой личности, а следовательно и любого социального коллектива.

Разрешение социальных вопросов в таком плюралистическом обществе требует соблюдения двух условий:

- 1) подробного и глубокого изучения каждого составного звена этого общества;
- 2) нахождения общих, согласованных и удовлетворительных решений для вопросов, касающихся всего общества.

Это же действительно и для международных масштабов.



Таковы глубинные корни отмеченных многими в Эвиане сдвигов. Что касается советских ученых, то, может быть, эти сдвиги вызваны очередной «оттепелью», которая легко может смениться очередным похолоданием?

Думается, что нет. Дело в том, что в Советском Союзе, в силу исключительно сурового климата, который царил в сфере социологии вплоть до 1960 года, не создалась ведущая группа социологов старшего поколения. Социологические кадры начали создаваться рывком на пустынной почве, почти лишенной традиций и авторитетов. Выше уже был отмечен юный возраст участников ленинградского симпозиума. Включение в эти кадры ученых старших поколений затруднительно, так как они все получили, как правило, философское или какое-либо гуманитарное образо-

вание и им трудно в преклонном возрасте осваивать довольно сложный математический аппарат, столь усердно применяемый в современной социологии. Кроме того, молодежь в СССР, как правило, лучше знает иностранные языки, причем не только пассивно, но и активно, что очень облегчает контакты с иностранными учеными. Для этих молодых кадров барьеры, созданные в предыдущую эпоху, не кажутся столь целесообразными или необходимыми, как для людей, — их отцов и дедов, — которые в создании этих барьеров порой активно участвовали.

На секции конгресса, посвященной вопросу взаимоотношения идеологии и социологии, я внес предложение, основанное на признаваемом и многими немарксистами марксистском положении об идеологической укорененности ученого в той среде, в которой он живет и действует. Это препятствует его объективности. Предложение заключалось в том, чтобы ученых, укорененных в социалистической среде, посылать для социологических исследований на Запад, и наоборот, ученых Запада — посылать в Советский Союз и другие социалистические страны. Чуждость среды позволила бы и тем и другим изучать ее более объективно. После короткой консультации со своими коллегами, профессор Д. И. Чесноков, не отклоняя, как мне показалось, этого предложения в принципе, указал, что для социологического исследования, пожалуй, прежде всего необходимо знание языка и обстановки, и что поэтому пока лучше обходиться обменом письменных материалов.

Но это, вероятно, пройденный этап. Некоторые молодые ленинградские ученые уже участвуют в проведении социологических исследований в тесном согласовании с английскими учеными, а в ноябре прошлого года Р. Мертон в Нью-Йорке сообщил мне о предстоящем создании смешанного советско-американского комитета по социологии. В его задачу будет, вероятно, входить не только обмен письменными материалами, но и вопрос о согласованном или совместном проведении тех или иных исследований.

Сам Эвианский конгресс был прекрасной иллюстрацией пользы личного общения и непосредственного обмена опытом.

И тут мы подходим к вопросу, который, собственно говоря, и является предметом настоящей статьи. Личное общение между учеными и работа экипами («тим-уорк») — важнейшее пред условие для успешного разрешения больших задач. Не только в области социологии, это — характерная черта всей современной науки.

И вот тут препятствием на пути к сотрудничеству могут стать личные черты ученых, их симпатии и антипатии, и влияние, порой отрицательное, той среды, в которой они живут и работают. Сов-

ременное общество лишь очень медленно созревает для понимания планетарных задач и методов их разрешения, понимания, без которого, однако, немислим дальнейший прогресс. Мешающие рамки и перегородки или догмы и предрассудки отмирают медленнее, чем следовало бы. Это делает теоретически желаемое и разумное и даже необходимое практически затруднительным.

Это особенно чувствуется в сфере социологии. Сила тяготения и закон Ома не зависят от социальных условий, в которых живут изучающие эти законы природы физики. Но даже в этой точной науке наблюдаемое на уровне атома явление искажается инструментом наблюдения, делая невозможным, например, одновременное определение двух, казалось бы, независимых параметров. В социологии наблюдатель, инструмент наблюдения и наблюдаемое явление находятся на одном уровне, и только статистическое перенесение на высший уровень (больших коллективов) делает социологическое заключение сколько-нибудь научно достоверным. Иными словами, личность социолога чрезвычайно трудно отделима от ведомого им исследования и его результатов.

Работа экипами позволяет в какой-то степени сгладить этот недостаток. Поэтому (и не только в социологии) так плодотворно сотрудничество ученых различного профиля, характера и стиля мышления.

При этом необходимым условием является наличие всеми одинаково понимаемой терминологии и применения единой или согласованной методологии.

После конгресса в Эвиане я посетил нескольких социологов в США, Японии, Англии, Швеции и в других странах. Многие из них, участники предыдущих конгрессов, горько жаловались мне на отсутствие у них общего языка (именно в обрисованном выше смысле) с советскими коллегами, с которыми они раньше на этих конгрессах встречались. Дело стало чуть лучше лишь начиная с конгресса в Вашингтоне в 1962 году. Многие были обрадованы дальнейшим улучшением атмосферы на конгрессе в Эвиане.

С другой стороны, из разговоров с некоторыми советскими участниками конгресса в Эвиане у меня создалось впечатление, что тяга к взаимопониманию — обоюдна. Но это — только впечатление. Как можно было бы его зафиксировать? Один из путей — чисто социологический — заключался бы в анкетном опросе. Если бы удалось установить наличие обоюдной тяги к взаимопониманию, то был бы сделан серьезный шаг к фактическому установлению этого взаимопонимания.

Проведение письменного анкетного опроса среди 2000 участ-

ников конгресса — дело трудное в организационном плане и дорогое в плане финансовом. Международная социологическая ассоциация, насколько мне известно, не располагает соответствующими средствами. Кроме того, такой опрос представлял бы и психологические трудности. Для установления взаимопонимания надо было бы поставить вопрос: в чем состоит непонимание, или проще — что западные ученые думают о своих советских коллегах и наоборот. Такая постановка вопроса помогла бы установить элементы взаимного непонимания, которые затем, при наличии желания, можно было бы попытаться устранить.

Но на такой вопрос, вероятно, многие не ответили бы по самым разным причинам: из деликатности, из-за недостаточной компетентности, из-за того, что тот или иной ответ мог бы некоторых ученых в известном плане и скомпрометировать в окружающей их среде. Наконец многие уклонились бы просто из-за недостатка времени. К этим последним можно было бы обратиться в порядке личного интервью, но это невероятно бы удорожило весь проект: ведь участники конгресса рассыпаны по всем странам и континентам.

Иными словами, большой анкетный опрос, даже если какая-либо инстанция на него решилась, едва ли дал бы полную картину.

Отсюда и родилась идея проведения анкеты в лабораторном масштабе, так сказать, в пробирке. Для этой цели, после ряда предварительных разговоров, я разослал около ста писем участникам конгресса в Эвиане. В них вопрос был сформулирован следующим образом: «Что Вы думаете о вкладе советских ученых в социологию, или более узко — в работу конгресса в Эвиане?» В тех случаях, когда я не был достаточно знаком с социологическим миром той или иной страны, я прибегал к консультации, выясняя, кто из участников конгресса имеет в данной стране вес ученого (на конгрессе было много студентов или лиц, имеющих к социологии лишь косвенное отношение).

На мой запрос я получил 29 ответов для публикации. Некоторые из опрошенных прислали свое мнение, но без санкции для опубликования, другие ссылались на устно высказанные соображения, но не дали их письменно (естественно, я не хочу приводить их в пересказе, хотя от некоторых ученых получил соответствующие полномочия), наконец остальные прямо или косвенно указали на одну из причин, перечисленных выше. В ряде случаев письма вернулись обратно, что свидетельствует о том, что я не всегда мог установить точный адрес запрашиваемого.

И все же, собранный материал мне кажется достойным внимания и интереса. Каждый, ознакомившийся с ним, может сделать свои собственные заключения. Если советские ученые найдут, что их деятельность и работы отражены в кривом зеркале, то приводимый ниже материал может позволить измерить кривизну этого зеркала и, при наличии желания, содействовать ее исправлению. В частности, было бы вполне закономерным запросить советских участников Эвиана, а что они думают о своих западных коллегах? Это позволило бы и западным социологам заняться той же процедурой по исправлению кривизны.

Предлагаемый вниманию материал, принадлежащий перу многих видных социологов, которым я здесь приношу свою глубокую благодарность, расположен, без всяких комментариев, в порядке поступления суждений.

Руне Перссон

5. I. 67.

Я думаю, что все участники конгресса согласятся с тем, что конгресс в Эвиане был организован плохо. Поэтому было чрезвычайно трудно составить себе ясное представление о том, что же, собственно говоря, происходит; эта трудность касается, естественно, и проблемы нахождения сравнительных заслуг советской и западной социологии.

Однако я лично был поражен тем фактом, что в настоящее время и советские и западные социологи говорят на одном языке. На неофициальных встречах употреблялись, в основном, те же понятия, и, что касается моего личного опыта, не было идеологических препятствий, мешающих общению. Лично я убежден, что в ближайшем будущем советские и западные социологи многое почерпнут друг у друга.

Prof. Rune Persson
Department of Sociology
University of Lund, Sweden

К. И. Ньюсс

6. I. 67.

Я ограничу свой ответ личными впечатлениями о вкладе, сделанном советскими участниками на пленарном заседании и на двух секциях по социологии религии на VI Международном социологическом конгрессе в Эвиане. Следует отметить, что я был и

на предыдущих конгрессах, на которых участвовали советские социологи — в Амстердаме в 1956 г. и в Вашингтоне в 1962 г.

Я так же, как, мне кажется, и многие другие западные социологи, рассматриваю в качестве препятствия в общении с советскими коллегами их явную потребность связывать все теоретические проблемы с положениями марксизма-ленинизма. Советские ученые, которые делали доклады на пленарном заседании, существенно отличались друг от друга по степени утонченности, с которой они справлялись со своей задачей. Меня очень заинтересовал доклад профессора Ф. В. Константинова «Идеология и социология». Что же касается доклада П. Н. Федосеева «Стратегия мира в атомную эпоху», то он мне показался столь же заостренно политическим, как и многое из того, что я слышал на конгрессе в Амстердаме в 1956 г., когда советские ученые впервые выступали на международном конгрессе.

Лично меня больше всего порадовали сообщения об эмпирических исследованиях, проведенных в Советском Союзе, и, как это ни странно, даже в сфере социологии религии, например. И хотя критическая оценка методологии изучения отношения к религии в изложенных исследованиях затруднительна — из-за отсутствия ли деталей или из-за языковых трудностей, — сам факт, что этот вид исследований развивается в Советском Союзе, позволяет надеяться на расширение сферы обмена мнений между советскими и западными социологами.

Prof. C. Joseph Nuesse
Head of the Department
The Catholic University of America
Washington D. C. 20017 USA

Дж. С. Сомервилль

Г. I. 67.

Едва ли могут возникать сомнения в том, что марксистский подход к основным проблемам социологии стал одним из центральных элементов в интеллектуальной жизни нашего времени. Независимо от того, согласны мы или нет с этим положением, следует отметить исключительный интерес, проявленный по отношению к сообщениям советских социологов, и значение, которое им было придано. В особенности мне бросилось в глаза, именно в Эвиане, не только продемонстрированное нам развитие техники, тематики работ и центров эмпирических социологических

исследований в Советском Союзе, но и та жизненная связь, которая поддерживается между этими эмпирическими факторами и факторами самой высшей теоретической значимости.

Prof. John Somerville Ph. D.
Hunter College of the University of
New York
695 Park Avenue, New York 21, N. Y. USA

С. Л. Андрески

11. I. 67.

Я не занимался специально изучением вопроса, который Вы поставили, но мое общее впечатление от советских участников в Эвиане сводится к тому, что они стали гораздо менее догматичными, чем они были на конгрессе в Стрезе. Поскольку я не являюсь специалистом по советским проблемам, я не слежу за советскими трудами, т. к. нахожу их весьма скучными и не представляющими общего интереса. Они, по-прежнему, еще очень далеки по своему уровню от утонченности и независимости мысли, достигнутой такими дореволюционными авторами, как Максим Ковалевский и Ключевский.

Prof. S. L. Andreski
Faculty of Letters
The University of Reading
Whiteknights Park
Reading
Great Britain

А. Этциони

13. I. 67.

Советская делегация на VI Международном социологическом конгрессе была наиболее впечатляющей из всех тех, которые принимали участие в международных социологических встречах. В составе делегации было много ученых крупного масштаба, внесших значительные вклады по широкому спектру проблем на самых различных сессиях. Большая часть сообщений была на уровне самых высоких требований, предъявляемых к социологической литературе в любой стране мира. Следует надеяться, что это является хорошим признаком для усиливающейся кооперации и сотрудничества между социологами всех стран.

Prof. Amitai Etzioni
Department of Sociology
Columbia University
New York, N. Y. 10027 USA

А. Жан**16. I. 67.**

Ваша инициатива мне кажется особенно удачной, так как, по-моему, отличительной чертой конгресса как раз и была безусловно плодотворная наметка диалога между социологами стран Востока и стран Запада. Этот диалог стал возможным, благодаря эволюции внутреннего содержания сообщений, представленных на конгрессе нашими советскими коллегами. Они не ограничивались теоретическими и жестко схематическими анализами, но дали и первые результаты эмпирических исследований.

В рабочей группе, в которой я был назначен докладчиком («Образ человека и выбор гипотез»; сессия 1-я: «Образ человека и наука о человеке»), мы не смогли использовать письменные советские доклады (И. Ф. Балакиной, В. А. Карпушина и Ю. А. Замошкина, несмотря на то, что они были заявлены: они не поступили к нам до открытия конгресса. Поэтому, к нашему великому сожалению, мы не смогли их принять во внимание при составлении нашего вводного доклада.

Но зато несколько устных выступлений, а именно Г. М. Андреевой и И. С. Кона, были прослушаны с особенным вниманием, отмечены и оценены. Как следствие этих выступлений многими участниками было выражено пожелание, чтобы в будущем сравнительные международные исследования велись в странах с разными экономическими и социальными режимами. Во всяком случае, это пожелание выражаю я лично.

Важнейший вклад советских социологов в Эвианский конгресс, мне кажется, может быть резюмирован в следующих пяти пунктах:

1) они познакомили нас со своими первыми результатами эмпирических исследований;

2) они показали, отчасти косвенно, влияние этих эмпирических исследований на их систему теоретических интерпретаций;

3) они интерпретировали свои результаты в рамках определенных теоретических положений, что не всегда делают западные социологи;

4) они показали более обширный объем компетентности в области западной социологии;

5) они занялись полезным критическим анализом этой западной социологии.

Таким образом, мне кажется, созданы в духе свободного рассмотрения необходимые условия для начала нужного и полезного научного диалога между социологами стран с различными экономическими структурами. Можно надеяться, что этот диалог послужит теоретическому обогащению социологии в целом.

Prof. H. Janne

Le Président du collège scientifique
Institut de Sociologie
Université Libre de Bruxelles
Parc Léopold, Bruxelles, Belgique

С. П. Силлиерс

16. I. 67.

Я присутствовал на нескольких международных социологических конгрессах. В этот раз на меня произвели впечатление следующие факты:

1) что на Эвианском конгрессе было больше ученых из Советского Союза и других коммунистических стран, чем на предыдущих. Может быть, частично это следует объяснить тем, что конгресс происходил в Эвиане, достаточно доступном для восточно-европейских стран;

2) что советские, так же, как и другие социалистические участники конгресса, держали себя более непринужденно и на формальных сессиях и в частных обсуждениях, чем на предыдущих конгрессах;

3) что язык по-прежнему является главным препятствием для эффективного общения, в особенности для социологов из стран, говорящих по-английски;

4) что социологи из социалистических стран все еще позволяют себе преследовать идеологические и политические цели в своих высказываниях на научные темы. В результате этого дискуссия постоянно грозит вылиться в политические обсуждения;

5) что советские ученые, кажется, по-настоящему заинтересованы в установлении более широких контактов и общении с другими учеными.

Prof. S. P. Cilliers

Department of Sociology
Die Universiteit van Stellenbosch
Stellenbosch
Republic of South Africa

Питер Маррис**18. I. 67.**

К сожалению, я встречал на конгрессе лишь немногих из советских участников. Но растущий интерес к социологическим исследованиям в СССР приветствуется всеми, а различия в идеологии, кажется, становятся всё меньшим препятствием для обмена идеями и сравнительного изучения.

Prof. Peter Marris
Institut for Development Studies
University College, Nairobi, Kenya

Дж. Вестергард**18. I. 67.**

Я, во всяком случае, считаю, что советские социологи приняли активное участие в сессии по социологии города, в организации которой участвовал наш Комитет как на Эвианском, так и на предыдущих конгрессах. Несколько наших советских коллег принимали участие в дискуссионных группах, организованных нашим Комитетом, и выступили с замечаниями, особенно по вопросу внутренней миграции и урбанизации в Советском Союзе.

Больше того, в состав нашего Комитета уже несколько лет входит и советский представитель.

Prof. John Westergaard
Centre for Urban Studies
University College London
Flaxman House, Flaxman Terrace,
London WC 1, Great Britain

М. Чибя**24. I. 67.**

Я ознакомился только с двумя сообщениями, сделанными русскими социологами на сессии, посвященной вопросам права на VI Международном социологическом конгрессе. И у меня создалось следующее впечатление от этих выступлений.

Я предполагал, что в СССР должна была существовать некая форма замечательной социальной техники, которая позволила руководителям государства и народу осуществить преобразование страны. На Западе такой социальной техникой является социология в широком понимании этого слова. И поэтому мне было особенно интересно познакомиться с социологией, получившей свое развитие в СССР.

Оба сообщения в Эвиане были интересны. С одной стороны, во-первых, они показали наличие и эффективность социологии в той же мере, как и на Западе. Во-вторых, сообщения эти были интересны тем, что они отразили определенный взгляд на природу социологии, а именно, что социология может служить средством для достижения цели, в данном случае — реализации законов материалистической диалектики. Этот взгляд достоин особого внимания, так как западная социология не всегда декларирует наличие цели, которой социология служит, или не определяет эту цель достаточно ясно.

С другой стороны, в сообщениях были рассуждения на тему о природе социологии права, и не было описания того, как социологическая методика применяется в данном случае. А хотелось бы знать, какие социологические исследования проводятся в настоящее время и каковы их результаты. Очень желательно было бы услышать от русских социологов права на эту тему как можно больше.

Я был бы рад, если бы эти мои соображения принесли какую-то пользу, хотя и не уверен, что сам могу быть отнесен к западным социологам.

Prof. Masaji Chiba

Law School

Tokyo Metropolitan University

1 - 1, Jakume, Meguro-ku, Tokyo, Japan

Дж. П. Неттл

24. I. 67.

На меня произвела большое впечатление решимость советских социологов, с которой они стремятся стать частью той международной среды, где происходит социологическое общение, и их стремление избегать таких дискуссий, которые позволили бы подчеркивать какой бы то ни было фундаментальный разрыв между ними и западными социологами. Но все же эта позиция еще недостаточна для того оптимистического прогноза о дальнейшей профессионализации, которую Талкотт Парсонс, например, считал обнаруженной. Хотя шаг в этом направлении сделан. Из всего этого следует, что советские ученые больше не уходят в философскую или макросоциологическую проблематику; вместо этого произошла заметная концентрация внимания на эмпирических проблемах и, прежде всего, на технике. Советские социологи как будто сильно заинтересованы в анализе своего собственного общества. Поразительно, что в то время, как молодые социологи

работают почти исключительно над внутренними проблемами, дискуссия по вопросам и анализу других стран по-прежнему ведется старшим поколением, натренированным прежде всего в области философии. Слово «империализм» употреблялось преимущественно возрастной группой от 45 лет и выше. Это — очевидный признак разрыва поколений.

Интересно также отметить те сферы, в которых советская социология быстро развивается: исследования по работе и досугу, проблемы молодежи, проблемы здравоохранения и образования. Мне кажется, что советские попытки привнести нечто в область изучения социологии международных отношений были гораздо менее интересными. Постоянные напоминания своим западным коллегам о преимущественном значении идеологии и философии, кажется, во всяком случае, в Эвиане, отошли в прошлое или вернее — перешли из советских рук в югославские. Анархическое внутреннее состояние Югославии как будто принуждает этих последних к упорному оспариванию основных положений всех других участников конгресса, как восточных, так и западных.

Вкратце: у меня создалось впечатление, что советские социологи всерьез применяют научные аспекты марксистского анализа. Они заинтересованы, главным образом, в освоении методологии и техники и совсем не заинтересованы в оспаривании лежащих в их основе положений, как это было раньше.

Prof. J. P. Nettl

Wharton School of Finance and Commerce
University of Pennsylvania — Philadelphia
19104 USA

У. Г. Ньюелл

24. I. 67.

Мои контакты с советской социологией ограничиваются двумя международными конференциями, на которых я присутствовал: съезд Международного совета этнологии и антропологии в Москве (1965 г.) и Международный социологический конгресс в Эвиане, во Франции в прошлом году. Хотя я не говорю и не читаю по-русски, я разговаривал о советской социологии со многими западными и восточно-европейскими коллегами и моими коллегами в Японии. И этими впечатлениями я хотел бы поделиться. Речь будет идти о моих впечатлениях о советской социологии только после XX съезда Коммунистической партии Советского Союза.

1. Структуры научного исследования в СССР и в Японии очень различны. Университеты в Советском Союзе являются как

будто исключительно учебными заведениями. Исследовательская работа ведется учеными по совместным заданиям Академии наук и университетов или других институций. Всё это отмечено большой степенью централизации. Как только значение какого-нибудь социологического исследования становится очевидным для русского народа и для ученых, — сразу же появляется возможность использовать значительные средства и лучшие умы для достижения намеченной цели. По сравнению с прошлыми годами, необычайно возросло в течение 1965-1966 гг. количество опубликованных исследований эмпирического характера. В 1965 г. русские социологи относились со вниманием не только к своим польским или восточно-германским коллегам, но и к коллегам западным. В 1966 г. они авторитетно касались проблем, интересующих Запад. Эта способность централизации исследований является предметом восхищения многих коллег в Японии, где каждый исследователь работает почти изолированно.

2. Ясны, однако, и огромные различия в интересах и качестве отдельных работ советских социологов в Эвиане. В тех случаях, когда обсуждение касалось обоюдно интересных для них и для западных или японских социологов тем — затраты на поездки на работу, урбанизация, идеология и т. п., — возникал плодотворный диалог. По другим темам, как, например, — религия, семья или «исследование мира», — обнаруживалась значительная доля взаимного непонимания.

Сила советской социологии заключается в едином взгляде на мир (марксизм-ленинизм), в ее организованности и в способности учиться у Запада без повторения его ошибок. Ее слабость лежит в ее нынешнем прагматическом подходе, в разделенности на ряд дисциплин, в ее молодости. Эти недостатки не являются, впрочем, коренными.

Поэтому мне кажется, что в будущем сотрудничество между советскими и иностранными социологами будет возрастать. Возможность для западных социологов изучать социалистическое общество имеет огромное значение, так как это разрешает заняться сравнительными исследованиями. Я твердо надеюсь, что будет расти количество японских студентов, изучающих русский язык в качестве третьего языка, что облегчит тем самым для японцев возможность сотрудничества.

Prof. William H. Newell
M. A., Ph. D.
International Christian University Mitaka,
Tokyo, Japan

Пиер де Би**26. I. 67.**

Со времени конгресса в Амстердаме в 1956 г., когда советские ученые впервые появились на международном социологическом конгрессе, их участие все время возрастало в количественном и в качественном отношении. Они постепенно выходили из своей первоначальной изоляции, становясь все более доступными, охотно вступали в диалог и недвусмысленно проявляли свою готовность к сотрудничеству и научному обмену. Эта готовность к сотрудничеству меня снова сильно поразила во время заседаний, на которых я председательствовал во время Эвианского конгресса.

Но нам не всегда удается организовывать это сотрудничество так, как мы бы хотели, так как структура наших организаций и, несомненно, характер наших ценностей продолжают быть различными во многих отношениях. Так, например, значительно заранее я пригласил одного профессора, члена Академии наук, представить доклад для моей рабочей группы, но так и не получил ответа, несмотря на два напоминания.

За несколько месяцев до конгресса, когда рабочая группа была уже составлена и с отдельными докладами ознакомились все участники, я получил через секретариат в Женеве список целой группы советских ученых, предложивших свои сообщения. Согласно установленным правилам, это было уже поздно, но я, тем не менее, ответил положительно и включил в программу некоторые сообщения. После чего... о них ни слуху, ни духу, вплоть до открытия конгресса. Во время первого заседания моей группы, когда уже все было организовано и был установлен порядок выступлений, вдруг настойчиво в то же утро требуют слова совершенно другие советские ученые, на присутствие которых я вообще не рассчитывал, требуют на том основании, что большинство из них завтра не будут присутствовать на конгрессе.

Вот в этом-то и заключается проблема. Наши представления и нормы в плане организации различны. Мы стараемся приглашать людей, которых мы знаем и которых мы выбираем в зависимости от определенной тематики, а советские ученые являются в качестве «делегатов» своих ассоциаций, своей страны и выступают сообщая по предписаниям своих организаций.

В этой связи можно было бы указать много других деталей, но я полагаю, что в данном случае важна общая картина.

Prof. Pierre de Bie
Université de Louvain
2, Chaussée de Namur
Blanden (Brabant),
Belgique

Джордж Г. Ридер

27. 1. 67.

В подкомиссии по исследованиям в области медицинской социологии Международной социологической ассоциации (МСА) состояли двое русских ученых: д-р Николай Гращенков и д-р Б. Смулевич. Д-р Гращенков представил свои работы на IV и V Международных социологических конгрессах. Он не мог присутствовать на собрании подкомиссии в Упсале (Швеция) в мае 1965 г., не смог присутствовать на нем и д-р Смулевич. Так как я рассчитывал, что улучшить взаимоотношения с социологами-медиками в Советском Союзе возможно, я направился после совещания в Упсале в Москву. Мне не удалось повидать ни д-ра Гращенкова, ни д-ра Смулевича, но зато удалось посетить Институт организации здравоохранения им. Семашко. Из обзора работы, ведущейся здесь под руководством д-ра Калью*), я вынес впечатление, что это очень богатый источник материала для будущей работы МСА.

Несколько позже умер д-р Гращенков. Я настойчиво пытался получить ответ на мое предложение предоставить материал для программы работ либо через д-ра Смулевича, либо непосредственно от Института организации здравоохранения им. Семашко. Но эти попытки не увенчались успехом. Д-р Смулевич прислал мне свою небольшую собственную работу, но сам не смог приехать в Эвиан, и мне пришлось прочитать работу вместо него.

Хотя на VI Международном социологическом конгрессе и присутствовала большая делегация русских социологов, никто из них на заседаниях по медицинской социологии не появился. Мне хотелось бы установить более тесные взаимоотношения между советскими исследователями и исследователями других стран в области медицинской социологии; я был бы рад любому совету, каким путем можно этого достичь.

Prof. G. Reader
The New York Hospital — Cornell Medical
Center. New York, N. Y. 10021 USA

*) Вероятно, Д. И. Калужный. — В. П.

Дж. С. Колман**28. I. 67.**

Я был приятно поражен составом русской делегации и качеством представленных ею работ. В Советском Союзе эмпирическая социология, очевидно, сильно развилась со времени последней встречи четыре года назад. Как результат этого развития на конгрессе был представлен ряд работ с определенными конкретными результатами исследований. А это — весьма обнадеживающий факт. Правда, были представлены и работы в раннем советском стиле — философские и отвлеченные, но значительное количество представляли собой результаты исследований по социальным проблемам, необходимым для ориентации политики. И те и другие отличаются повышенным интересом к развитию социологии на Западе. Мое общее впечатление: в советской социологии начинается период, явно отличный от прошлого и чрезвычайно продуктивный.

Prof. J. Coleman

The London School of Economics
Houghton St., Aldwych, London WC 2,
Great Britain

Лео П. Чалл**8. II. 67.**

Вклад, внесенный советскими социологами в социологию, с которым мне удалось познакомиться, вызвал в интеллектуальных кругах большой интерес. Поэтому я полагаю, что для улучшения дела общения западных коллег с советскими следовало бы предоставлять в распоряжение первых больше материала, появляющегося на русском языке, чем это было до сих пор. Его следовало бы направлять в такие органы по распространению информации, как «Сосиолоджикал Абстрактс». Это дало бы возможность ознакомиться с советской социологической мыслью тех коллег, которым это недоступно из-за языковых преград. «СА» был бы рад получить статьи, журналы и книги, издаваемые в СССР в области социологии, с тем, чтобы возможно шире распространить информацию о них по своим каналам.

Leo P. Chall

Editor

Sociological Abstracts

2315 Broadway, New York, N. Y. 10024 USA

Роберт К. Мертон**10. II. 67.**

На меня, как и на других американских социологов, произвели большое впечатление успехи, отраженные в докладах советских социологов на Международном социологическом конгрессе в Эвиане. За период, прошедший между двумя последними конгрессами, наши советские коллеги сделали большой шаг вперед в развитии серьезных эмпирических исследований, зачастую по вопросам, имеющим фундаментальный теоретический интерес. Этим, мне кажется, была создана солидная основа для продолжения интеллектуального общения между советскими социологами и их коллегами в Европе и США.

Prof. Robert K. Merton

Department of Sociology

Columbia University, New York, N. Y. 10027

USA

Салустiano дель Кампо**21. II. 67.**

По сравнению с впечатлениями на V Международном социологическом конгрессе, происходившем в Вашингтоне в 1962 г., теперь мне кажется, что технический язык советской социологии приблизился к языку западной социологии.

Главная причина этого лежит, несомненно, в применении техники социальных исследований, которая, будучи использованной на практике, вызывает известное отклонение от существующей теории.

Ведь в конечном счёте, главная методологическая предпосылка для применения техники социальных исследований заключается в том, что любое знание должно найти себе подтверждение в сопоставлении с действительностью. В этом смысле, я полагаю, оправдывается предсказание, сделанное несколько лет назад философом Нагелем, что научный язык может стать общим языком для разных идеологий.

Prof. Salustiano del Campo

Departamento de Sociologia

Centro de Estudios Economicos y Sociales

Egipcias, 15, Barcelona — 1, Espagna

Ж. Лотман**3. III. 67.**

К моему большому сожалению, я слишком мало общался с советскими учеными, чтобы сказать по этому поводу что-либо существенное.

У меня создалось впечатление, что я познакомился с 1) склеротическими чиновниками; 2) с очень хорошими исследователями, жаждущими познакомиться со всем тем, что делается на Западе, но неохотно показывающими то, что делают они сами, из-за недостаточного доверия к себе.

Что же касается письменных сообщений, то они носили более политический, нежели социологический характер: мирное сосуществование! Люди воспользовались этим, чтобы попасть на Запад, но без того, чтобы показать, что они сами делают. Так сказать, — двойная цель. Ни в коем случае не следует принимать всё это буквально.

J. Lautman

Centre National de la Recherche Scientifique
20, rue Pierre Curie, Paris 5e, France

Якко Бломберг**14. III. 67.**

Наиболее ценный вклад советской социологии в развитие социологии в целом заключается в том определенном интересе, который она проявляет к проблемам общества на макроуровне, и в научной обработке этих проблем. Некритическое отношение большинства западных социологов к фундаментальным проблемам общества указывает на отсутствие их интереса к ним. Однако этот вклад советской социологии — косвенный: она повлияла на западных социологов критикой их односторонности.

Однако парадоксален тот факт, что и сама советская социология страдает той же односторонностью: для советского общества социология была практически бесполезна. Советская социология приняла за данное некоторые политические и идеологические положения; она сочла разрешенными проблемы власти и равенства. Поэтому социология считала своей главной задачей защиту, без всякой критики, существующих институций.

Такая характеристика соответствует истине. Однако мы наблюдаем нарастание признаков того, что в современной советской социологии происходит крах этой идеологической ситуации, т. е. нечто подобное дифференциации, наблюдающейся в западной со-

циологии. В советской социологии происходит известная борьба между поколениями: конгресс в Эвиане был этому явной иллюстрацией. Однако старое поколение так называемых философов-академиков по-прежнему возглавляет советскую делегацию на международных конгрессах, как это было и ранее, в 50-х годах.

Но советская научная деятельность, как это можно было заметить в Эвиане, нашла свое отражение, главным образом, в трудах молодых социологов, получивших специальное социологическое образование. Смысл этой борьбы между поколениями заключается не в наличии различных идеологий, а в споре о том, нужна ли идеология или нет. Молодое поколение стремится к независимости и старается утвердить социологию в качестве источника социальной критики.

Эта дифференциация представляет собой наиболее интересную черту в развитии общественных наук в Советском Союзе. Она же окажется и проводником непосредственного влияния на социологию в целом. Быстрое развитие социологии в Восточной Европе, явно продемонстрированное в Эвиане, приведет к развитию социологии и в Советском Союзе.

В качестве фона для этих общих замечаний следует отметить сотрудничество между финскими и советскими социологами, сотрудничество, которое дает возможность финским социологам оценить свой социологический подход с точки зрения структурных проблем общества.

Jakko Blomberg

Institute of Sociology, University of Helsinki

А. Бопегамаре

14. III. 67.

На VI Международном социологическом конгрессе, состоявшемся в Эвиане, во Франции, в сентябре 1966 г., мне представилась возможность дважды встретиться с русскими делегатами. Одна встреча мне запомнилась хорошо. Это было на собрании исследовательского Комитета по социальной стратификации и социальной мобильности, где я тоже читал доклад о профессиональной мобильности и уровне устремлений представителей низших классов. Я заметил, что русские социологи были весьма заинтересованы ознакомиться с исследовательской работой, ведущейся за пределами Советского Союза, в других странах, особенно западных. Некоторые из них получили возможность частично осветить ха-

рактен собственных работ, проделанных по вопросу социальных классов в Советском Союзе. Среди них отмечу две интересные работы:

1) В. Колбановского, о внутриклассовых группах в среде советских рабочих, и 2) Н. Сониной, о методах исследования мобильности рабочих в СССР. Эти, так же как и некоторые другие сообщения, снабдили нас кое-какой полезной информацией, с которой мы ранее не были знакомы.

Dr. A. Boppegamage

Gokhale Institute Quarters

Agarkar Road, Poona — 4, India

Ханес Йонссон

14. III. 67.

На VI Международном социологическом конгрессе в Эвиане в 1966 г. была широко предоставлена возможность послушать наших советских коллег, наблюдать их отношение к социологии, знакомиться с их докладами и применяемыми ими методами. Судя по тому, что пришлось услышать, а затем и прочесть, я полагаю, что советский вклад в дело VI Международного социологического конгресса и в дело взаимопонимания был очень велик, особенно принимая во внимание участие таких видных фигур, как академики Ф. В. Константинов и П. Н. Федосеев.

Тем не менее, со всей откровенностью и искренностью я должен отметить, что их выступления скорее должны были бы быть отнесены к области социальной или политической философии, нежели к области социологии в прямом смысле этого слова. Рассуждения Ф. В. Константинова о трудностях социолога при его поисках истины в вопросах общества и общественных отношений, — поелику он сам является их продуктом, — очень справедливо и хорошо изложены, но ведь в этом нет ничего нового. Действительно, этот вопрос освещался в течение многих лет не только в книгах по социологической теории и исследованиях, как, например, в книге А. Лундберга «Социальное исследование» (первое издание 1924 г.) и Полины В. Юнг «Научные социологические опросы и исследования» (первое издание 1939 г.), но практически во всех хороших университетских учебниках по введению в социологию, изданных на Западе и особенно в США в течение последних 30-ти лет. Но, как говорится в исландской поговорке, «прослушать чтение хороших стихов никогда не бывает излишним».

Предыдущий абзац может быть воспринят в качестве суровой критики. Однако если принять во внимание юный возраст социологии и тот факт, что она в качестве самостоятельной дисциплины произошла из философии, то не покажется странным, что на данном этапе развития социологии в Советском Союзе она столь похожа на философию. Это тем более естественно, если принять во внимание степень насыщенности советских умов и советского общества учением марксизма-ленинизма в течение 50-ти лет построения коммунизма в Советском Союзе. Поэтому кажется нормальным, что советская социология и впредь будет продолжать отличаться сильным философским привкусом.

К этому следует, по всей справедливости, добавить, что на VI Международном социологическом конгрессе было ясно показано, что советская социология тоже развивается в сторону эмпирической научной дисциплины, применяющей научные методы исследования и объективную интерпретацию полученных в этих исследованиях результатов.

В заключение я хотел бы сказать, во-первых, что количество советских участников на VI Международном социологическом конгрессе само по себе было ценным вкладом в социологию и в дело взаимопонимания между народами. Во-вторых, констатация сильного философского привкуса советской социологии была поучительной, позволяющей легче понять наших советских коллег, и, в-третьих, продемонстрированная тенденция развития дела в Советском Союзе в сторону эмпирической социологии дает надежду на широкую и плодотворную кооперацию в будущем между советскими социологами и их коллегами из других национальных социологических организаций и институций как в плане обмена учеными и результатами исследований, так и в плане перевода и издания социологических трудов и сотрудничества в проведении сравнительных исследований.

Hannes Jonsson
Director of the Social Institute
Félagsmálastofnuin
Reykjavik, Iceland

Аллен Турен

17. III. 67.

Большинство международных социологических конгрессов посвящало значительную часть своих дебатов сравнению социологий на Западе и на Востоке и диалогу между ними. Такое проти-

вопоставление было не безынтересным для тех, кто старался лучше уяснить себе точку зрения другого. Но практически дело сводилось к противопоставлению идеологических документов, позволявших лишь лучше понять положение социологии в той или иной стране.

Поэтому было бы слишком смелым утверждать, что дело шло о сравнении социологических исследований, проводившихся в обществах с различными структурами — ведь исследования эти велись различными методами и инспирировались различными целями.

Встреча советских социологов с их западными коллегами, с моей точки зрения, начинает представлять интерес лишь с того момента, когда и те и другие начинают признавать — не столько в своих декларативных заявлениях, сколько в своей практической работе — элементарное единство интеллектуальной процедуры, т. е. соглашаются с тем, что эта процедура требует формулирования доказуемых положений и стремления представить необходимые доказательства.

Во время недавнего конгресса можно было обнаружить сближение между социологической продукцией Запада и Востока. По мере этого сближения становятся интересными и расхождения. Следует отметить два типа этих расхождений. Во-первых, тот, который проистекает из различий в наблюдаемой действительности, а, во-вторых, тот, который проистекает из различий в применяемых понятиях. Недавний конгресс, мне кажется, дал достаточный материал для изучения различий этих двух типов.

Мы начинаем получать информацию о таких вопросах, как отношение к труду, бюджет семьи, социальная мобильность и т. п. в условиях социалистических обществ. Мне хочется надеяться, что развитие метода анкетных вопросов в СССР не остановится на элементарном уровне собирания фактов. Мне бы хотелось, чтобы наблюдаемые различия в фактах привели и к выработке отличных понятий. Не отличных понятий в глобальном понимании истории, а в концепциях, позволявших бы лучше описать реальные конкретные особенности.

Мы ощущаем большую потребность в разработке таких теорий, как, например, теория предприятия, или бюрократизма, или системы принятия решений, или социальной роли образования, таких теорий, которые были бы построены на основании наблюдения реальных явлений в возможно большем количестве стран. Я думаю, что поиск и применение соответствующих концепций,

так сказать, среднего уровня поможет освободить современную социологию, почти исключительно построенную на опыте индустриальных стран Запада, от специфических особенностей, присущих социальной обстановке именно в этих странах.

Эпоха чисто идеологических споров несомненно уже прошла. И не хотелось бы, чтобы началась новая эпоха, в которой общение и общность были бы лишь внешними, сводящимися к ограниченному уровню вульгарного эмпиризма. Все мы, социологи, остро нуждаемся не только в конкретных результатах, но и в полете социологического воображения и в теоретической изобретательности советских социологов.

Prof. Alain Touraine

Laboratoire de Sociologie Industrielle
10, rue Monsieur-le-Prince, Paris 6e, France

Торге Агерснап и

Бритт-Мари Перссон Блегвад

(по поручению проф. Блегвада)

20. III. 67.

В качестве участников исследовательского Комитета по социологии труда и организации на VI Международном социологическом конгрессе в Эвиане мы хотели бы высказать следующее суждение.

С работами, ведущимися в Ленинградском университете, мы познакомились впервые. Наше внимание особенно привлёк доклад об исследовании отношения к труду (опубликованный на 38-м симпозиуме на XVIII Международном конгрессе по психологии: «Исследование об отношении к труду молодых рабочих», А. Здравомыслов и В. Ядов). Удовлетворенность работой — проблема, которую специально обсуждали в Дании в течение последних пяти лет, и поэтому мы с большим интересом ожидаем результатов исследований в странах с различными экономическими и социальными системами (см. упомянутый выше доклад, стр. 87). Применяемые в исследовании методы совпадают с датскими, сравнимы и результаты этих исследований. Поэтому датские социологи приветствовали бы совместные исследования в этой области.

Prof. M. Blegvad

Institut for Organisation og Arbejdssociologi
Jul. Thomsens Plads, 10, Kobenhavn
Denmark

Маттеи Доган**24. III. 67.**

Я вспоминаю, как на конгрессе в Амстердаме в 1956 г. «делегат СССР» представил доклад, в котором большое место было уделено пропаганде. На конгрессе в Стрезе уже не я один заметил изменение в поведении советских представителей. Дальнейший прогресс можно было наблюдать на конгрессе в Вашингтоне в 1962 г., особенно в области терминологии; но на конгрессе в Эвиане я впервые ощутил, что диалог с социологами из советских университетов не только возможен, но плодотворен и интересен.

В 1956 и 1959 гг. советские ученые, казалось, были скорее философами или историками, нежели социологами, в то время как в Эвиане я уже имел дело с замечательными социологами, владеющими труднейшими методами социологического исследования, осуществляемого ими с большой объективностью. Вместе с другими я разделяю радость по поводу этой эволюции.

Mattei Dogan

Membre du Comité National
de la Recherche scientifique
Centre d'Etudes Sociologiques
82, rue Cardinet, Paris 17e, France

Ренато Тревес**28. III. 67.**

Комитет исследований по социологии права, который я имею честь возглавлять, был основан в 1962 г. В его состав входят два советских ученых: В. Штейнберг и В. Туманов. Оба они внесли существенный вклад в работу нашего Комитета со времени его основания.

На конгрессе в Эвиане Комитет представил сборник, вышедший под моей редакцией по-итальянски, — «Социология права. Проблемы и исследования» (Издательство «Комунита», Милан 1966 г.). Этот сборник содержит двенадцать работ на тему о положении социологии права в следующих странах: Швеция, Норвегия и Дания, Голландия, Япония, Советский Союз, Венгрия, Польша, Испания, Португалия и Латинская Америка, США, Франция, Италия, Федеративная Республика Германии.

Работы по Советскому Союзу были написаны В. Казимирчуком, В. Тумановым и В. Штейнбергом. Все они очень интересны. С теоретической точки зрения социология права в Советском Союзе сильно отличается от социологии права в других странах, рассмотренных в сборнике, особенно от социологии права в за-

падных странах. В Советском Союзе эта дисциплина связана с марксистской теорией права и государства, точнее — она имманентна им и не обладает собственной автономией. Авторы считают, что марксистской теории права и государства не только принадлежит заслуга решительной критики юридического формализма и подчеркивания значения социально-юридических проблем, но также и заслуга объединения теоретических обобщений и эмпирических исследований; эта теория объясняет, каким образом метод диалектического материализма, на котором построены юридические и социальные науки, не отбрасывает, а наоборот предвещает частые методологические приемы, разработанные этими науками. В Советском Союзе социологические исследования права ведутся с 1920 г. в рамках марксистской теории права и государства. Они включают отдельные компактные работы по самым разнообразным темам: юридические проблемы рабочих и крестьян, деятельность депутатов Верховного Совета и местных советов, текучесть рабочей силы, проблемы брака и развода и т. п.

Во время Эвианского конгресса наш Комитет провел четыре совещания, на которых были заслушаны многочисленные сообщения, затем последовала очень оживленная дискуссия. Два советских ученых приняли активное участие в ней.

В. Штейнберг представил работу под названием «Предмет и методология социологии права». В этой работе автор предложил определение понятия социологии права согласно марксистской доктрине. Он утверждает, что «теория исторического материализма должна стать общей теорией для социологии права, а метод исторического материализма (т. е. диалектический метод) должен стать общим методом для этой дисциплины».

А. Герцензон представил работу под названием «Наука уголовного права и социология». В этой работе автор показывает, между прочим, насколько криминолог связан с социологией, как ему приходится усваивать и творчески применять методы конкретных социологических исследований в своей области.

Из всего этого видно, что вклад советских ученых в работу Комитета по социологии права был значительным и интересным. Я надеюсь, что сотрудничество между советскими и западными социологами в области социологии права в ближайшие годы будет все более и более тесным и плодотворным.

Prof. Renato Treves

Instituto di filosofia e sociologia del diritto
Università degli Studi di Milano
Via Festa del Perdono, 3, Milano, Italia

Ж. Дюмаздье**29. III. 67.**

Мы были рады отметить активное участие советских социологов на Международном социологическом конгрессе в Эвиане. Мы особенно оценили работы молодых социологов, проявляющих всё более и более глубокое знакомство с самыми современными методами научной социологии. Мы рассчитываем, что им удастся вывести из философской практики научные практические применения.

Prof. J. Dumazdier
Centre d'Etudes Sociologiques
82, rue Cardinet, Paris 17e, France

Карл-Эрик Вернерюд

Две вещи произвели на меня особенное впечатление в Эвиане.

Во-первых, мне кажется, что русские социологи в разработку социологических проблем включают свои субъективные оценки. Мне было очень интересно услышать, как русские социологи обсуждали вопросы массовой культуры и массовых средств коммуникаций с точки зрения известной системы ценностей. Дискуссия такого рода может быть поучительной, так как она вскрывает фундаментальные предпосылки, лежащие в основе работ социологов или социальных психологов, склонных к эмпиризму и применению количественных методов.

Во-вторых, я был очень огорчен тем обстоятельством, что в нашем распоряжении было слишком мало переводов русских материалов на английский и французский языки, по сравнению с переводами, предложенными нам поляками и румынами.

Prof. Karl-Erik Wärneryd
The Stockholm Scholl of Economics
Sveavägen, 65, Stockholm, Sweden

Магнус Хедберг**30. III. 67.**

Во время двух посещений СССР в течение последних лет я имел возможность познакомиться с социологическими исследованиями, ведущимися в русских институтах. Там очень большое значение приобретает растущий объем эмпирических социологи-

ческих изысканий. Для понимания достигнутых результатов и применяемых методов большую помощь мне оказали переводы работ и книги, изданные по-английски.

Встреча с русскими коллегами на таких международных конгрессах, как конгресс в Эвиане, дает возможность обсуждать достигнутые результаты. Мне кажется очень ценным тот факт, что в настоящее время многие программы социологических исследований в СССР ведутся сравнимыми методами и на базе схожих гипотез и целеполаганий. Благодаря этому легче понять различия, существующие между большими социальными системами современности.

Но проведение таких сравнительных работ все же наталкивается на трудности, и мне думается, что в будущем надо позаботиться о создании каналов, которые позволили бы усилить общение и обмен эмпирическими результатами. Усиленное сотрудничество между учеными разных стран, имеющими разную подготовку, несомненно послужит делу прогресса социальных наук.

Magnus Hedberg

The Swedish Council for Personnel
Administratio
Sturegatan, 58, Stockholm, Sweden

Информация редакции

Мировая печать о „Фениксе 1966“ и арестах молодых литераторов в Москве

Перед нами кипа газет и журналов — немецких, французских, английских, итальянских, швейцарских, австрийских, бельгийских, голландских, скандинавских и многих, многих других, откликнувшихся на появление на Западе подпольного журнала «Феникс 1966» (Москва, декабрь 1966) и на волну арестов среди независимой литературной молодежи.

Тут и передовицы, и большие статьи, с бросающимися в глаза заголовками на первых страницах газет, и лаконичные сообщения мировых информационных агентств, и отдельные материалы «Феникса» или выдержки из них, и их литературные и политические анализы, и заметки, и наконец целые страницы крупного формата переведенных на иностранные языки статей, очерков, дискуссий этого московского сборника.

Совершенно очевидно, что разосланное 25 января с. г. журналом «Грани», одновременно из Франкфурта и Парижа, сообщение для печати о «Фениксе 1966» и арестах редактора «Феникса» Юрия Галанкова и его сотрудников Алексея Добровольского, Веры Лашковой, Петра Родзиевского, составителя «Белой книги по делу Синявского и Даниэля» Александра Гинзбурга, целого ряда участников демонстрации протеста 22 января с. г. у памятника Пушкину в Москве и многих, многих других — получило сильнейший резонанс в мировой и особенно в европейской прессе.

Может быть, еще важнее другое: что появление «Феникса 1966» и жертвенная борьба за свободу слова и печати литературной молодежи в России, как и появление «Белой книги по делу Синявского и Даниэля»*), не оказались для Запада мимолетной сенсацией, сразу же забытой в потоке быстротекущих событий нашего беспокойного века, а стали интеллектуальным событием,

*) См. «Грани» № 62 и № 63, стр. 204. — Ред.

приковывающим к себе внимание и вызывающим в течение уже нескольких месяцев все новые и новые реакции.

На нескольких страницах невозможно не только пересказать все написанное о «Фениксе» и арестах оппозиционных литераторов, но даже привести названия всех писавших об этом газет или журналов и указать характер напечатанного ими материала. Поэтому мы остановимся лишь на наиболее влиятельных органах печати и на наиболее содержательных и интересных откликах.

Сообщение «Граней» о «Фениксе 1966» подхватили, распространив по всему миру, такие крупнейшие телеграфные агентства, как американское «Ассошиэтед Пресс», французское «Ажанс Франс Пресс» и английский «Рейтер».

Под заголовком «Грани» получили подпольный советский журнал, изданный четырьмя арестованными молодыми литераторами» «Ассошиэтед Пресс» в своей телеграмме от 26 января сообщает из Парижа, в частности, следующее:

«Известный публикациями запрещенных произведений советских писателей журнал «Грани» сообщил о получении подпольного периодического журнала, объемом в 376 страниц, изданного четырьмя молодыми литераторами, арест которых вызвал на прошлой неделе демонстрацию на улице Горького в Москве».

Далее депеша сообщает имена арестованных, говорит о еще нигде не опубликованной статье Синявского об Евтушенко и подчеркивает, что «Феникс» отличается, по мнению редакции «Граней», более сильной политической заостренностью, чем другие известные на Западе подпольные советские журналы.

«Ажанс Франс Пресс» дает свою депешу под заголовком «Подпольный литературный журнал из СССР» и указывает, что полученный «Гранями» «Феникс 1966» — самый большой сборник материалов, когда бы то ни было изданный советскими оппозиционными литераторами. Затем приводятся имена редактора и других арестованных и особенно выделяется, помимо статей Синявского и академика Варги, редакционная статья, в которой Галансков выступает в защиту Синявского и Даниэля и говорит руководителям партии и правительства: «...все равно вы проиграете эту войну. Войну за демократию и Россию».

Из влиятельных французских органов печати, помимо газеты «Фигаро», которая использовала в своей статье, в основном, материал депеши АФП и ряда других газет, особое внимание «Фениксу 1966» и процессам освобождения от коммунистического плена молодой, пока еще нелегальной литературы в Рос-

сии уделил широко известный в интеллектуальных кругах массовый еженедельник «Фигаро литтерер»: к этой теме еженедельник возвращался два раза — 2 февраля и 13 апреля с. г.

В предпосланном полному тексту письма Н. Бухарина будущему поколению руководителей партии (из «Феникса 1966») редакционном вступлении «Фигаро литтерер» от 2 февраля 1967 г. сперва подробно останавливается на Бухарине и его письме и затем пишет:

«Редактор «Феникса 1966» Юрий Галансков был арестован в середине прошлого месяца с тремя сотрудниками, в том числе поэтом Добровольским, поместившим в этом журнале статью о взаимоотношении знания и веры. Около пятидесяти московских студентов организовали 22 января у памятника Пушкина демонстрацию против этих арестов. Милиция разогнала демонстрантов, задержав организаторов.

Юрий Галансков — молодой поэт, известный еще своим участием в «Фениксе 1961», а также тем, что он единолично провел в 1965 году у американского посольства в Москве демонстрацию протеста против политики вмешательства США во внутренние дела Доминиканской республики. Об этом тогда писала газета «Вашингтон пост», отметившая, что Галансков себя называл представителем левой молодежи и свою манифестацию объяснил невозможностью писать в советской прессе».

Описав затем подробно оформление вывезенного из СССР экземпляра «Феникса 1966» и его содержание и охарактеризовав журнал как наиболее интересный сборник материалов оппозиционных писателей в СССР, парижский еженедельник заканчивает свое редакционное вступление следующими словами:

«Судьба, уготованная «Фениксу 1966» советскими органами, нас не удивляет, учитывая, например, их усилившееся давление на журнал «Новый мир» в литературе и возобновившееся наступление на абстрактное искусство, о котором пишет в своей статье в этом же номере наш московский корреспондент Саша Симон. Но судьба «Феникса 1966» показывает, что не следует слишком увлекаться надеждами, возникшими благодаря некоторой либерализации советского строя».

В номере от 13 апреля 1967 года тот же «Фигаро литтерер» дает с большим анонсом на заглавной странице на своих полурота страницах большого формата пространные выдержки из опубликованного в «Фениксе 1966» «Обсуждения макета 3 тома истории КПСС в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС с участием старых большевиков». Этот материал, представляющий исключительный интерес, редакция «Фигаро литтерер» сопровождает редакционным комментарием. Вот выдержки из него:

«Среди целого ряда мероприятий, связанных с предстоящим празднованием пятидесятилетия октябрьской революции, сердцу «старых большевиков» особенно дорого опубликование нового издания III тома «Истории КПСС», в котором описываются революционные события 1917 года и последующие годы.

Новое издание? Нет, не только, но и новая версия..., которая в принципе должна была восстановить историческую правду, извращенную Сталиным. Работа была поручена специальной комиссии партийных историков и идеологов под председательством академика Поспелова ...проект представили на обсуждение группы «старых большевиков», которые были участниками и свидетелями описываемых событий. В Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС состоялось несколько бурных заседаний, и «старые большевики» почти единодушно раскритиковали представленный им проект. Но Комиссия отказалась внести в него изменения. И хотя «старые большевики» его не приняли, авторы могут себя утешать тем, что они опубликуют III том, проведя консультации с участниками событий 1917 года, тем более, что дискуссия проходила при закрытых дверях.

Отметим, однако, шаг вперед по сравнению со сталинским временем: тогда факты не обсуждались в присутствии 250 человек, даже при закрытых дверях. И другой шаг вперед... стенограмма выступлений просочилась наружу. Эта стенограмма, подробные выдержки из которой мы здесь приводим, была напечатана впервые в Москве в подпольном журнале «Феникс 1966», распространение которого в западном мире обеспечил журнал «Грани». «Граням» же мы обязаны тем, что имели возможность опубликовать в нашем номере от 2 февраля с. г. письмо Н. Бухарина, взятое также из материалов «Феникса 1966».

Из крупных английских газет можно указать на «Дейли телеграф» и воскресную «Санди телеграф».

Первая поместила 28 января корреспонденцию своего специалиста по СССР Дэвида Флойда, приехавшего в Париж для ознакомления с содержанием «Феникса». Указав на то, что еще никогда из СССР не было в одном сборнике вывезено столько подпольных политических материалов, Флойд остановился на «Конспекте обсуждения макета 3-го тома Истории КПСС в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС с участием старых большевиков».

«Старые большевики, — пишет корреспондент, — единодушно осудили предложенный текст, главным образом за затушевывание подлинной роли Сталина. При выступлениях ораторов, пытавшихся защищать Сталина, в зале начиналось волнение, и по их адресу раздавались враждебные выкрики. Отчет об этом собрании показывает впервые, что не только молодежь, но и старое поколение русских коммунистов критикует режим».

Далее корреспонденция «Дейли телеграф» останавливается на помещенной в «Фениксе» статье из архива академика Варги, в которой говорится о возникновении в советском обществе «нового класса» бюрократов и о том, что при существующих тяжелых извращениях социалистической демократии коммунизм в СССР не будет построен ни через 20, ни даже через 100 лет.

На первой странице «Санди телеграф» от 12 февраля Кристофер Рассел подробно излагает переданный «Посевом» международной прессе протест видных представителей советской общественности против Указа от 16 сентября 1966 г., подчеркивая, что среди подписавших его — композитор Шостакович, впервые участвующий в выступлении такого рода. В заключение Рассел напоминает, что Юрий Галансков с четырьмя другими молодыми литераторами был арестован именно за борьбу против новых жестоких законов, и приводит становящийся боевым паролем нарастающего сопротивления слова Галанскова из вступительной редакционной статьи «Феникса»: «Вы можете начинать... Вы можете выиграть этот бой, но все равно вы проиграете эту войну. Войну за демократию и Россию».

Отметим также, что апрельский номер английского интеллектуального ежемесячного журнала «Энкаунтер» перепечатал из «Феникса 1966» полностью «В защиту пирамиды» (заметки о творчестве Евг. Евтушенко) Андрея Синявского.

В Италии о «Фениксе» и Юрии Галанскове, с его сотрудниками, и о новой волне ждановщины писала вся пресса. Достаточно указать на подробные статьи таких ведущих итальянских газет, как миланские «Коррьере делла сера» и «Джорно», римские «Темпо» и «Джорнале д'Италия», болоньская «Иль resto дель Карлино», чтобы не останавливаться на десятках менее видных органов печати, тоже осветивших это событие.

«Темпо» от 27 января 67 г. помещает сообщение своего специального корреспондента из Парижа, отмечающее получение журналом «Грани», опубликовавшим целый ряд произведений советских авторов, которые не печатались в СССР, запрещенного там «Феникса 1966». Остановившись затем довольно подробно на заметках Синявского о творчестве Евгения Евтушенко, «Темпо» говорит о нацеленности «Граней» с 1946 года на издание запрещенных в России произведений, дает общую характеристику «Феникса» и заканчивает описанием разогнанной милицией московской демонстрации 22 января и перечислением

ведущих молодых литераторов, арестованных в связи с выходом «Феникса 1966» и этой демонстрацией.

Корреспондент «Коррьере делла sera» в Бонне Витторио Брунелли поместил в номере от 29 января с. г. корреспонденцию о «Фениксе» и о «Белой книге» Александра Гинзбурга, в которой тоже сообщает об арестах последнего и редактора «Феникса 1966» Галанскова. Корреспондент отмечает, что и «Белая книга» и этот московский журнал были получены на Западе «Гранями», поддерживающими тесные контакты с оппозиционно настроенными московскими интеллектуальными кругами. Далее статья останавливается на напечатанном в «Фениксе» открытом письме Ю. Галанскова Шолохову, которое затрагивает, в частности, позицию секретаря Европейского сообщества писателей Вигорелли, и подробно излагает содержание открытого письма А. Гинзбурга Косыгину, вошедшего в «Белую книгу о деле Синявского и Даниэля».

«Джорно» от 2 февраля 1967 г. дает глубокий анализ духа и направления «Феникса 1966». Описав его объем, содержание, его получение издательством «Посев» во Франкфурте-на-Майне и предстоящий выход его статей в «Гранях», корреспондент газеты в Германии Гэтано Скардокия, среди прочего, пишет:

«Через весь журнал красной нитью проходит неприятие режима, возмущение против отсутствия свободы и против неограниченной власти идеологической цензуры КПСС. Редактор журнала поэт Юрий Галансков заплатил за свою смелость, вместе с тремя сотрудниками, арестом по обвинению в «нелегальной деятельности». Для группы «Феникс 1966» даже не столь характерна полемика с существующим строем, который эта группа отвергает априори, сколько яростная критика некоторых представителей советской культурной жизни (в частности, Евтушенко и Эренбурга), которые считаются либералами. Галансков и его друзья — эти бескомпромиссные и непреклонные оппозиционеры, афиширующие свое враждебное отношение к власти, — стараются вскрыть «полуправду, лукавый компромисс», на который идут Евтушенко или Эренбург. Их позиция предельно ясна: они отвергают существующий строй, стремятся к новому демократическому социализму, тогда как Эренбург или Евтушенко хотят подправить, улучшить, пересмотреть существующее, но сделать это без потрясений, не порывая с прошлым».

Приведя затем содержание ряда материалов «Феникса», корреспондент «Джорно» заканчивает свою статью следующим абзацем:

«Это второй сборник советских подпольных материалов, попавший на Запад. Первый из них уже вышел отдельными изданиями в целом ряде стран, в том числе в Италии. В них важное место занимает поэзия, вдохновленная мотивами протеста поборников свободы против тоталитарного ее подавления. На обложке старого номера журнала «Феникс» приведены следующие слова: «Пишите правду, чтобы слово жило; чтоб под вуалью покрывала мысль, закрученная, как пружина, вдруг прикоснувшихся — убивала».

Из ведущих австрийских газет укажем на интересную статью Герберта Недоманского «Положение определяет холодная волна» в венской «Прессе» от 1 февраля 1967 г. Недоманский полемизирует с организаторами проведенной в Вене дискуссии круглого стола по вопросу о «Литературе и политике», которая пыталась чисто академически подходить к явлениям, не поддающимся бесстрастному анализу, и которую от советской реальности, ярко характеризуемой делом Синявского и Даниэля и его последствиями, отделяет целая пропасть. Он опровергает выдвинутый на этой дискуссии тезис о лишь незначительных заморозках при прогрессирующей весенней оттепели. В СССР, говорит он,

«главнокомандующим остается генерал Мороз. Положение там определяет холодная волна, подтверждаемая сообщениями о новых арестах. Ее жертвами стали составитель «Белой книги по делу Синявского и Даниэля» Александр Гинзбург и редактор журнала «Феникс 1966» Юрий Галансков с его сотрудниками А. Добровольским, В. Лашковой и П. Родзиевским».

Охарактеризовав далее советское бесправие и методы шемякина суда, автор статьи высказывает опасения, что арестованных ожидает судьба Синявского и Даниэля, говорит, что в Австрии, после опубликования «Любимова» Синявского, знают, с каким упорством новое поколение русских литераторов, превратившееся из глашатаев советской идеологии в противников любой диктатуры, ведет политическую борьбу. В подтверждение этого тезиса Недоманский подробно рассказывает о содержании опубликованной «Гранями» и готовящейся к изданию во Франции и Италии «Белой книги» Гинзбурга, дает пространные выдержки из нее и заканчивает свою статью в «Прессе» так:

«Свои страстные обвинения советскому бесправию Гинзбург (здесь имеется в виду его открытое письмо Косыгину — Ред.) закончил словами: «Я люблю русскую литературу и не хочу, чтобы еще два ее представителя отравились под конвоем валить лес». Под этими словами он расписался и указал свой адрес. Там теперь его и арестовали. Арестовали, как и Юрия

Галанскова, заявившего в открытом письме, что «Союз советских писателей и официальная публикация произведений в современной России умерщвляет литераторов и литературу, портит вкусы и оглупляет читателей»... И в редактировавшемся Галансковым «Фениксе», когда процессы демократизации были снова заторможены, прозвучали сильные и смелые слова: «Вы можете выиграть этот бой, но все равно вы проиграете эту войну. Войну за демократию и Россию. Войну, которая уже началась и в которой справедливость победит неотвратно»...

Ведущая бельгийская газета «С у а р» от 11 февраля с. г. поместила особенно характерную для бельгийской прессы статью Веры Фости «Нарушенное равновесие в советской культурной жизни».

«Уже более года в культурной жизни СССР что-то не ладится. Ее можно сравнить с тряской экипажа, который бросает из стороны в сторону, то вправо, то влево. Чуть ли не каждый день на этом фронте происходят события, вызывающие то чувство восхищения смелостью и мужеством, то сожаление в связи с мероприятиями реакционного характера».

Описав затем, что происходило в связи с процессом Синявского и Даниэля и его последствия, остановившись на демонстрациях молодежи и протестах советской интеллигенции и приведя содержание ряда обращений к органам власти и в официальную печать, Вера Фости продолжает:

«Само собой разумеется, что все эти документы, так же, как и письмо Гинзбурга Косыгину, не были опубликованы в СССР, а были получены нами через иностранную прессу, в особенности же благодаря франкфуртскому журналу «Г р а н и».

Остановившись на различных культурных и идеологических тенденциях, наблюдаемых в СССР, автор статьи в «С у а р» указывает на особое течение, для которого характерны подпольные или неофициальные издания, число которых за последние годы в крупных городах России непрерывно росло. Последний из них — «Феникс 1966» — носит особенно ярко выраженный политический характер. Приведя ряд статей журнала и процитировав из редакционных примечаний «Феникса» слова о том, что советская интеллигенция считает необходимым условием зарождения демократического духа право на свободу информации и свободу слова и печати, Вера Фости пишет, что выход журнала вызвал немедленный арест Галанскова и трех его сотрудников, а организованная вслед за этим манифестация протеста была разогнана милицией.

«Совершенно ясно, что большинство ведущей интеллигенции и, в особенности, молодежь стремятся завоевать свободу в культурной жизни, а

власть напрасно пытается пресечь эти попытки», — заканчивает статью брюссельская «Суар».

Немало о «Фениксе 1966» писала и швейцарская печать. Недостаток места заставляет, однако, ограничиться лишь перечнем некоторых ведущих швейцарских газет, а именно: «Газет де Лозанн», «Журналь де Женев», «Журналь де Монтре» — все от 27 января с. г., «Трибун де Женев» — во французской Швейцарии, «Нее цюрхер цейтунг» от 1 февраля и ряд других газет — в немецкой Швейцарии.

Широко на сопротивление молодежи в СССР, на «Белую книгу» Гинзбурга и на «Феникс 1966», откликнулась скандинавская пресса, в особенности норвежская и шведская, но и тут приходится лишь указать, что в Норвегии об этих явлениях писали все ведущие газеты, а в Швеции подробные статьи им посвятили, в частности, «Свенска дагбладет» от 14 февраля и 11 апреля с. г., «Афтонбладет» от 17 марта и 13 апреля, «Экспрессен» от 31 марта, «Гётеборгс хандельс-ок Шёфартс-тиднинг» от 15 апреля.

Серьезное внимание на сопротивление молодежи, распространение антиправительственной литературы, на «Феникс 1966», «Белую книгу» Гинзбурга, на протесты либеральных кругов нашей интеллигенции и репрессии власти обратило немецкое радио и печать, в частности, на страницах ряда ведущих своих органов.

Отметим, прежде всего, что многие немецкие радиостанции посвятили свои передачи «Фениксу 1966» и борьбе молодежи за свободу России. Так, Гессенское радио, кроме коротких сообщений на эту тему, 15 февраля и 19 апреля с. г. дало по получасовой программе исключительно по этому вопросу. Передача 19 апреля уделила особое внимание взятому из «Феникса» материалу академика Варги «Российский путь перехода к социализму и его результаты». Укажем также на передачи берлинской радиостанции «РИАС», Западногерманского и Баварского радио и др.

Особенно следует выделить обширные материалы, посвященные этим вопросам ведущей газетой Германии «Франкфуртер альгемейне цейтунг». 28 января с. г. «ФАЦ» напечатала полный текст письма составителя «Белой книги по делу Синявского и Даниэля» А. Гинзбурга к Косыгину (см. «Грани» № 62), где автор, протестуя против осуждения писателей, подвергает беспощадной критике содержание понятия «антисоветская пропаганда», обрисовывает роль КГБ в жизни страны и отмечает несоблюдение советской властью Всеобщей декларации прав

человека. Далее газета дала выдержку из напечатанного в «Фениксе 1966» открытого письма Ю. Галанскова о М. Шолохове, в которой говорится, что подлинная литература ходит по России неофициально. А этим письмам газета предпослала редакционный комментарий, в котором подробно остановилась на арестах Александра Гинзбурга и Юрия Галанскова, на их роли, на значении «Феникса» и «Белой книги», отметив, что «Граням» удалось вывезти единственный находящийся на Западе экземпляр благодаря давно установленным контактам в среде ведущей советской интеллигенции.

Сильное впечатление производит разнообразный материал, помещенный в номере «Франкфуртер альгемейне цейтунг» от 10 февраля с. г. со ссылкой на «Грани» и на издательство «Посев» под заголовком «Борьба за демократию и Россию — Протест молодой советской интеллигенции продолжается». Подробно рассказать о его содержании в кратком обзоре нет возможности; приходится ограничиться простым перечнем напечатанного. Это, кроме подробного редакционного вступления, прежде всего, текст указа Президиума Верховного совета РСФСР от 16 сентября 1966 г. и протест 21 деятеля культуры и старых партийцев против его принятия. Затем, в качестве комментария к этим двум документам, дается полный текст вступительной редакционной статьи «Феникса», заканчивающейся уже процитированными выше словами Галанскова. И наконец из «Феникса» же взяты вопросы, заданные писателю Эрнсту Генри на лекции о неофашизме в МГУ, причем «ФАЦ» отмечает силу их критической агрессивности и приходит к заключению, что в такой атмосфере требования кругов молодежи, представленных «Фениксом», отражают настроения всей молодой интеллигенции Советского Союза.

Влиятельная мюнхенская газета «Зюддейче цейтунг» от 22 февраля посвятила «Фениксу» статью Манфреда Грунерта «Московское подполье». Он пишет:

«Молодую советскую интеллигенцию, после того, как ей угрожает уже не «высшая мера наказания», а «только» тюрьма или заключение в трудовом лагере, власти никак не удается заставить замолчать. Не удастся, конечно, этого добиться и при помощи Указа Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1966 г., который был издан, чтобы остановить «угрожающую», в первую очередь столицам страны, демократизацию духовной жизни, и чтобы повернуть вспять этот процесс.

Но на эту пощечину законодательных органов те, против кого Указ был направлен, ответили еще более звонкой пощечиной власти: вскоре

после Указа вышел уже на 376 страницах второй номер подпольного «Феникса» под редакцией поэта Юрия Галанскова. Он и его товарищи на пощечину ответили ударом кулака — той фразой, которая передает суть «Феникса 1966» — «Вы можете выиграть этот бой, но все равно вы проиграете эту войну. Войну за демократию и Россию».

«Галансков, — продолжает «Зюддейче цейтунг», — ...был вместе с Александром Гинзбургом и другими подпольными литераторами арестован. Но арестовать «Феникс 1966» не удалось, и он циркулирует в неизвестном количестве экземпляров не только в Москве. Один экземпляр попал во Франкфурт и воскреснет здесь в мартовском номере русского журнала «Грани».

Далее Грунерт отмечает политическую многогранность «Феникса», говорит об обоснованности и зрелости, но вместе с тем и спорности некоторых его материалов, а также о необходимости внимательного литературного анализа его произведений. Это особенно важная задача, учитывая утверждение Галанскова, что «настоящие литературные ценности в СССР будут возникать, минуя организации вроде Союза советских писателей», т. е. неофициально. Если это действительно так, — заканчивает «Зюддейче цейтунг», то

«представления, существующие на Западе в связи с официально публикуемыми произведениями современной советской литературы, должны быть подвергнуты серьезному пересмотру».

В номере от 20 февраля с. г. известный немецкий еженедельный журнал «Шпигель» дает обзорную статью о последних преследованиях молодежи и борьбе власти против свободы творчества в СССР. Журнал под заголовком «Только пародия» (имеются в виду слова Варги в статье из «Феникса», что при нынешнем подавлении демократии в СССР возможна только пародия на коммунизм) описывает разгон демонстрации 22 января с. г., закрытие выставки абстрактного искусства и дает подробные сведения об арестах демонстрантов и «фениксовцев», отмечая, что они, как до них Валерий Тарсис, переданы под наблюдение психиатров. Из «Феникса» приводится ряд выдержек — боевой клич Галанскова «Вы все равно проиграете эту войну...», цитаты из конспекта академика Варги, ссылка на статью Синявского о Евтушенко.

А роли «Граней» в опубликовании замалчиваемых в СССР произведений и возвращении их читателю в нашей стране тот же немецкий журнал «Шпигель» в номере от 24 апреля 1967 г. посвящает следующую статью под названием «Неспетая песня»:

«Ценные произведения русской литературы печатаются не в Москве или Ленинграде, а во Франкфурте-на-Майне.

21 год назад русские литераторы в изгнании выпустили на русском языке первый номер журнала «Г р а н и».

После смерти Сталина «Г р а н и» стали проникать в Советский Союз. Выходящий раз в три месяца журнал печатал подпольные произведения из СССР и отправлял их обратно в страну, где они были написаны.

Запрещенные материалы, ходившие в России по рукам, перепечатанные на машинке рукописи романов, выученные наизусть стихи и этюды доставлялись тайно во Франкфурт, готовились к печати в издательстве «П о с е в», печатались в его типографии во Франкфурте-Зосенхейме и попадали контрабандным путем обратно в Советский Союз.

В 1957 г. «Г р а н и» опубликовали стихотворения неизвестного автора, которые позже оказались поэтическим эпилогом к роману Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В 1960 г. скульптор Михаил Нарица обратился на улице в Ленинграде к одному немецкому коммерсанту и попросил его вывезти написанный им автобиографический роман «Неспетая песня» на Запад. Один экземпляр этого романа Нарица послал Хрущеву. Но напечатало его не советское издательство, а «Г р а н и».

В том же году в «Г р а н я х» появились стихи неизвестного автора, перепечатанные «Литературной газетой» 24 ноября 1962 г. за подписью автора Бориса Слуцкого. «Г р а н и» вызвали у советского читателя интерес к молодому*) поэту.

Валерий Тарсис, выехавший позже (в 1966 г.) на Запад, переслал в редакцию «Г р а н е й» свои произведения «Сказание о синей мухе» и «Палата № 7». (Советское правительство посадило за это строптивого Тарсиса в психиатрическую больницу).

Франкфуртский интеллектуальный журнал стал для многих интеллигентов интереснее партийной прессы. Он напечатал стихи Иосифа Бродского, который был осужден как «тунеядец» на каторжные работы, опубликовал запрещенный «Реквием» Анны Ахматовой и 15 этюдов и крошечных рассказов Александра Солженицына.

«Г р а н и» стали выпускать целые написанные в России от руки или напечатанные на машинке нелегальные журналы: «Феникс», «Синтаксис», «Сфинксы», лирические стихотворения и прозу подпольного объединения литераторов СМОГ, составленную Александром Гинзбургом «Велую книгу по делу Синявского и Даниэля». Гинзбург был в январе арестован.

Шесть раз в год редакция посылает через своих читателей восьмистраничные «Письма друзьям» «Граней» членам Союза советских писателей.

*) В. Слуцкий принадлежит к среднему поколению и назван в статье молодым по недоразумению. — Р е д.

Примерно половина весящих 20 граммов писем проникает через цензуру. Последняя страница их написана от руки, и письма складываются так, что рукописная страница оказывается в конверте сверху. При просвечивании создается впечатление, что это простое письмо, а не печатный материал.

Идущих на риск путешественников, направляющихся в Россию, работники «Г р а н е й» снабжают миниатюрным изданием журнала, величиной с папиросную коробку. Массовое издание «Ф е н и к с 1966» такого формата распространяется среди любителей литературы в Советском Союзе.

Власти стараются перехватывать контрабанду. Гейдельбергский студент-славист Шаффхаузер, которого на прошлой неделе судили в Ленинграде за «нелегальный ввоз антисоветских материалов», вез с собою миниатюрные «Г р а н и», отправляясь на празднование Нового года в Москву.

Борьба молодежи за свободу в коммунистическом государстве, подпольная литература в СССР, произведения, не увидевшие света при советской власти, «Ф е н и к с 1966», «Белая книга» Гинзбурга, роль «П о с е в а», «Г р а н е й» и их русских и иностранных друзей оказываются всё больше и больше в центре внимания западной общественности.

Из переписки с Россией

Ниже мы приводим отрывки из писем, полученных сотрудниками редакции и самой редакцией от читателей и друзей из России. Не все знакомы с нашим журналом, но многие интересуются теми же проблемами, которые поднимаются на страницах «Г р а н е й». Это и оправдывает, как мы полагаем, нашу публикацию. Подписи мы заменяем инициалами, а даты на письмах опускаем из предосторожности. — Р е д.

«...Молодежь требует больше свободы, хочет писать то, что желает, следовать экзистенциализму, романтизму, даже социалистическому реализму, но по своему выбору следовать по тому пути, который нравится. Если можно так выразиться, молодежь презирает официальное искусство, интересуется новым искусством Запада. Ее интересует искусство, которое позволяет мысли свободно развиваться. Причина, по-видимому, в том, что молодежь не удовлетворяется только материальной стороной жизни и хочет найти какой-то новый мир, не связанный с материальным положением.

О Сальвадоре Дали я узнал впервые из изящной советской книжицы «Искусство в цепях» — там его хаяли, на чем свет стоит, и была лишь одна подслеповатая фотография с «Мягких часов». А тут — смотри, какая прелесть! Какая магическая глубина!

Большое спасибо за журнал. «Сказание о синей мухе» произвело самое отрадное впечатление...

Москва

Е. П.

«...Достать «Тарусские страницы» не могу. Они изъяты из библиотек. Изъятие книг производится по спискам, присылаемым из центра. Выполнение зависит от «степени мракобесия» местных руководителей».

Симферополь

С. Ю.

«...Издательские планы настраивают пессимистически. Из прозаиков, которых вообще стоит читать, выйдут только Казаков и Быков. О Солженицыне и не заикаются. Сам он, кажется, потерял всякую надежду на то, что его роман, который еще в 1964 году должен был появиться в «Новом мире», когда-либо вообще будет напечатан. Наверное, повторится та же история, которая была в театре «Современник», сделавшем попытку поставить на сцене «Один день Ивана Денисовича».

Во всяком случае, новая книга Солженицына сейчас ходит по рукам в рукописном виде. Говорят, она посвящена современным «Наследникам Сталина». Одним из действующих лиц этой книги является Ларионов — секретарь рязан-

ского обкома, покончивший самоубийством после провала его авантюры с выполнением его плана мясозаготовок на 300 %. Речь идет о «сталинских нравах» в партии, сохранившихся и после смерти Сталина.

Советую обратить внимание на писателя Платонова. Говорят, что наиболее выдающееся его произведение — роман «Котлован» — до сих пор нигде не напечатан, а ходит по рукам в копиях, отпечатанных на пишущей машинке. Его произведение «Происхождение мастера» появилось якобы в печати в Москве в 1929 году, а какой-то его рассказ опубликован в журнале «Простор» в 64 году.

Хотел бы еще отметить большой интерес к Ходасевичу и Аверченко. Интересно, что небольшой одноминутный рассказ Аверченко, изданный пару лет назад, был распродан в течение одного дня.

Москва

Ф. П.

«...В Томске своего журнала нет, печатают у нас, в «Сибирских огнях», хотя там есть хорошие писатели, поэты. Томск — это город студентов, говорят, их более 50-ти тысяч. Это талантливая и интересная молодежь. Вообще студенчество представляет большой интерес. Оно против ярлыков и условностей. Против излишних формальностей, против бюрократизма, против «торжественности» сталинских времен, выражавшейся в бесконечных бессодержательных речах. Оно хочет упростить жизнь, сделать её более искренней.

Я бы очень хотел получить тот номер «Граней», в котором была напечатана первая часть «1984» Орвелла».

Новосибирск

Н. Н.

«...Вы, наверно, помните выступление Демичева на собрании работников культуры. Он признал тогда, что жизненный уровень в СССР составляет одну четверть

американского, что производительность сельского хозяйства ниже довоенного уровня, что оно на краю пропасти. В деревне наблюдается напряжение и недовольство. Поэтому, дескать, у власти хватает забот, и ей некогда заниматься вопросами культуры. Культурная жизнь должна самоуправляться. Демичев обещал, что в будущем не надо бояться травли и шельмования тех или иных деятелей культуры. Не предполагается также устройства «встреч деятелей партии и правительства» с работниками культуры для их поучений. Не должно быть публичных покаяний. Будет облегчен доступ к произведениям западной культуры. Далее он заявлял, что отрицательное влияние западной культуры на советскую молодежь нельзя объяснять одними только свойствами этой западной культуры, а прежде всего тем, что в советской культуре нет ничего, что привлекло бы к себе молодежь, что уравновесило бы влияние Запада. Он призывал творческую интеллигенцию сосредоточить свои усилия на создании культурных ценностей, привлекательных для молодежи.

Можете сами судить, насколько выполнены эти обещания и каковы результаты этого призыва.

Буду Вам очень благодарен, если Вы сможете передать мне 58-й номер журнала и очередные «Письма» «Граней».

Москва

Р. С.

«...Как делается подкуп интеллигенции? Дай им приличную квартиру, хорошую зарплату, может быть, еще машину, время от времени поездку за границу, более легкие условия для издания произведений — и все, за исключением самых радикальных, временно более или менее довольны...»

Ленинград

Д. К.

«...Пастернака «восстанавливают в правах» очень стремительно. В

начале апреля намечается в «Эстрадном театре» вечер лирики, где, помимо Симонова, будут читать Пастернака и Цветаеву. Стихотворения Пастернака и Цветаевой появились в стенгазете МГУ. Говорят, что эта тенденция будет нарастать, и что скоро издадут даже «Доктора Живаго».

Реакция публики на «Антимиры» Вознесенского была, конечно, очень положительной. Билеты достать было очень трудно. Постановщики не выпячивали «смелых» моментов. Напротив, подбор стихотворений, а также их исполнение были в высшей степени дипломатичны.

В «Современнике» была генеральная репетиция новой пьесы Аксенова «Всё для продажи». Присутствовали представители ЦК. Пьеса более интеллектуальна, чем прежние произведения Аксенова. В первом действии проказывают «будни»: сцена разделена на множество московских квартир. Второе действие: фантазия, жизнь на другой планете, но слишком явные намеки на сегодняшнюю действительность. Все недостатки так завуалированы, что посетители с других планет их не видят.

Самым примечательным явлением в области литературы за прошедший год был рост «республиканской» литературы. Москва же и Ленинград не только не показали роста, а скорее выявили даже некоторый спад. Киев и Харьков выделяются не столько ростом, как наличием старых культурных традиций. Особенно это относится к Харькову — он своего рода академический город, и более украинский город, чем Киев».

Москва

Т. Ю.

«...Мне хочется разделить Вашу любовь к Виктору Некрасову. Я знаю три его книги: «В окопах Сталинграда», «Кира Георгиевна» и «По обе стороны океана». Последнее — самое совершенное по искренности. Помните ли, как он

смело говорит о всем том, что у нас, к сожалению, пользуется «не той» репутацией. А его совет — смотреть андреевского Гоголя! Как человек чувствует психологию произведения искусства! Меня, откровенно говоря, приводит в недоумение то, что, казалось бы, умные люди поддерживают разных прокофьевых. Я никогда не переносил его гнусную физиономию. И в этом у меня есть сторонники».

Киев

Т. Ш.

«...«Феникс» 1962 г. издан, по-моему, неплохо. Оригинал его небольшой компактный размер, да и с точки зрения полиграфии он выполнен хорошо: очень четкий шрифт, хотя и довольно мелкий. Это, конечно, сильно затрудняет чтение, утомляет. Поэтому я долго с ним знакомился, хотелось как следует разобраться. Не могу сказать, что я хорошо разобрался во всем, но кое о чем хочу с Вами поделиться».

Дело в том, что я очень люблю стихи. Пушкин, Лермонтов, Блок, Брюсов, Симонов и ряд других русских и советских поэтов, если можно так сказать, «избаловали» меня чудесными стихами. И у меня сложился некий критерий, а лучше сказать эталон, с которым я подхожу к стихам. Я много думал над этим сборником. Его художественные качества, как я это чувствую, невысокие. Произведения Стефанова, Хромова, Красовицкого, по-моему, слабы. Если же говорить о содержании, то в большинстве стихов такой туман, что и за день не разберешься».

Москва

А. С.

«...Вы просите описать, как проходят литературные вечера в Доме литераторов. Я был на одном таком вечере.

С чтением стихов выступали Левитанский, Новелла Матвеева, Валин (рабочий, пишет стихи), Булат Окуджава. Председательствовал

Лев Ошанин, который внешне выглядит, как буржуй.

После чтения стихов на вопросы отвечал только Окуджава. Его спросили: запрещено ли ему выступать с гитарой? Он ответил: «Ну как же, товарищи. Конечно, мне не запрещено выступать с гитарой... просто есть какие-то люди, которые предпочитают, чтобы я не выступал с гитарой». Затем его спросили: почему тиражи его произведений такие маленькие. Окуджава ответил, что это не под его контролем, ему и самому хотелось бы, чтобы тиражи были побольше. Извинился, что не может никому подарить сборника, так как купить ему не под силу: стоят очень дорого. Этим он намекнул, что его сборники продаются из-под полы.

В этот вечер Окуджаву больше всего вызывали на бис за его стихотворение, посвященное догматике Владимиру Фирсову. В стихотворении Окуджава говорит, что в метро он всегда замечал Фирсова на правой стороне эскалатора, в то время как все передовые люди держатся левой стороны, т. е. по движению эскалатора, выходя из метро.

Живой была реакция слушателей и на чтение стихов Н. Матвеевой, особенно на её короткие стихи с гражданским содержанием. Запомнилась пародия на «Культ народа»: была игра слов — Матвеева говорит, что она «вышла из народа» и «мне приказали войти в народ».

Москва

Т. В.

«...Евтушенко и Вознесенскому на Россию наплевать. Они продадут всё на свете за нейлоновую рубашку. Меня не интересуют все эти мальчишки с претензиями, им дай только парижское кафе, а до России им дела нет. «Синяя муха» — это голое отрицание, а что с этим сделаешь? Надо бороться за Россию! Что вы о них пишете, поднимаете их на щит? Разве право-славные русские люди должны об

этом писать? Надо спасать русскую культуру, памятники старины. Почему вы не пишете, сколько уничтожается памятников старины? Ведь хотя бы стереть с лица земли прошлое России, а тогда исчезнет из памяти народа и история. Потом придет народ к власти и спросит: А где же вы были?..»

Москва

М. П.

«...Когда вышла автобиография Норберта Винера «Я — математик», то она была распродана в один день. Мне всё же удалось купить её. Она очень интересна. Я не берусь говорить за «весь народ», но мне кажется, что повышение интереса к таким книгам у нас стало уже если не всеобщим, повсеместным явлением, то довольно четко намечившейся уже тенденцией. Во всяком случае, это относится к людям, с которыми мне приходится сталкиваться, и что интересно — это повышение спроса на этот сорт литературы идет за счет других сортов, в частности, за счет художественной литературы.

Я бы очень просил прислать мне в вырезках те статьи из журнала (имеются в виду «Грани» — Ред.), которые посвящены науке».

Ростов-на-Дону

Г. П

«...Черный рынок для покупки книг находится на улице Горького. По воскресениям по всей улице можно заметить людей, которые стоят и ждут покупателя. Обычно они не держат товара при себе, а хранят его в квартирах неподалеку от улицы Горького. Обычно эти спекулянты этим только и живут. Приобретают они книги через продавщиц магазинов, давая им какой-то процент. Время от времени устраиваются комсомольские рейды, и после этого торговля ведется более осторожно. В провинции редкие книги можно выменивать на джазовые пластинки, которые в провинции трудно достать. В Москве же джазовые

пластинки можно доставать сравнительно легко. На этом построенная система товарообмена между Москвой и провинцией. В результате — много интересных книг попадает в Москву».

Москва

С. П.

«...Недавно приятель дал мне почитать томик стихов Сергея Есенина, и я заразился им. Теперь я знаю около двух десятков его стихотворений наизусть. Хотел приобрести его стихи, но оказалось, что легче достать звезду с неба, чем стихи Есенина. А ведь эти стихи любят у нас».

Краснодар

С. П.

«...Что читает молодежь? Прежде всего, поэзию. В один миг расходятся стихи Винокурова, Солоухина, Друниной, Ахмадулиной, Мартынова и др.

Сильно возрос спрос на художественные издания. Если не попадешь вовремя в магазин, то можно остаться и без Гогена, и без Мезерееля, и без Родена. Нужно заходить в магазин ежедневно, а то и по несколько раз в день. Раскупается все, даже письма любого из этих художников, на любом языке изданные.

У многих появляется интерес к древнерусскому искусству. Репродукции или открытки икон Андрея Рублева, Феофана Грека невозможно купить. Также раскупаются монографии о них.

Что касается прозы, то преимущество имеют такие писатели, как Казаков, Тендряков, Гладили, Аксенов. Очень много и охотно читают книги современных зарубежных писателей, прежде всего, Стейнбека, Олдриджа, Ремарка, Селенджера.

Очень много слушают музыку, причем особенно любимы симфоническая и настоящая джазовая — традиционный джаз и прогрессивный джаз; у настоящих любителей музыки коммерческий джаз

серьезного отношения не вызывает.

...О Бродском я слышал, хотя его стихи нигде не печатались. Одни говорят — ничего особенного, другим он очень нравится. Если судить на основании тех стихов, которые мне удалось прочесть, он кажется путанным и усложненным, но должен признать, что попадаются хорошие настоящие строчки. Мне кажется, что у него есть будущее...

Виктора Соснору знаю лучше, он — ленинградец, в прошлом, помоему, токарь. Хороший поэт, хотя и недавно работает. Насколько знаю, пока вышел только один его сборник».

Ленинград

К. В.

«...«Феникс» даже и не подпольный журнал, его открыто передают из рук в руки. Это, скорее, неразрешенный журнал. А есть, действительно, подпольные, но в них уже не поэзия, а проза, но какая!..»

Москва

И. Д.

«...Не могу читать Чехова: слишком больно каждый раз узнавать, что еще так недавно жили такие замечательные люди. Читаешь Чехова, и хочется покончить самоубийством. Наша жизнь становится все гадже. Боже мой, как жалко, что я не родилась лет 60 тому назад...»

Москва

А. В.

«...Переводами с иностранных языков ведают издательства, причем руководствуются какой-то инструкцией. При решении вопроса о переводе на русский язык произведения того или иного писателя решающую роль играет характеристика писателя, качество произведения не так важно. По сути, монополию на переводы получили два издательства: Гослитиздат и Издательство иностранной литературы. В принципе другие издательства

имеют такие же права, но на практике они редко занимаются переводами. Вообще же, с 1960 или 61-го года резко сократили переводы из-за «недостатка бумаги». В этой области, как, впрочем, и во всем, нет никакого порядка. Выбор произведений для перевода предоставлен, в известном плане, самотеку. Иногда прислушиваются к голосу партийных органов. Например, побывал в СССР какой-нибудь писатель, — и «нужно напечатать что-нибудь из его произведений». Всё же, в принципе стараются свестись с картотекой.

Издание иностранных произведений организуется разными методами.

Первый метод: переводчики подают заявку в любое издательство. Они пишут справку о писателе и художественных достоинствах книги. Если переводчик — неизвестное лицо, издательство может дать произведение другому переводчику. Заявки на переводы подают многие, но этот путь для переводчика рискован: он может остаться без заказа.

Или: сверху откуда-то спускается рекомендация — перевести такого-то. Издательство дает книгу переводчику для отзыва. Потом книгу печатают или не печатают. Переводчика выбирает издательство.

Но если план издательства не выполнен (что-то изъяли, место не заполнено и т. п.), то начинается аврал. Дают спешно перевести что-либо более или менее сносное ради плана. Иногда дают книгу по частям нескольким переводчикам, а потом «причисляют перевод». Если у какого-нибудь переводчика уже есть что-нибудь готовое и он узнал о прорыве в плане издательства, то легко может тогда протолкнуть свой перевод.

Уже после смерти Сталина при Союзе писателей была создана Иностранная комиссия. Эта комиссия имеет полужагребистский харак-

тер. В ее руках достаточно большая власть. Например, в Иностранном доме литераторов иностранцы не могут явиться без санкции комиссии. Если советского писателя приглашают на официальный прием, это тоже идет через комиссию. Когда приезжают из-за границы писательские делегации, то комиссия снимает для них гостиницы — «штатные номера». Иностранная комиссия требует, чтобы любой советский писатель, вступивший в переписку с коллегами писателями за границей, связь с ними поддерживал через комиссию. Он приносит в комиссию всё, что хочет послать, и получает от комиссии в раскрытом виде всё, что для него поступает из-за границы.

В комиссии есть картотека всех иностранных писателей. Если в СССР приезжает группа иностранных писателей, то гид получает от Иностранной комиссии на каждого характеристику: имя, фамилия, политическое направление, связи, общественное положение. Это называется «предварительным знакомством с группой». О каждом, примерно, с полстранички. Кроме гида есть еще сопровождающий. Он обязан писать отчет о группе. Обычно он пишет в своих интересах, — чтобы всё прошло гладко и хорошо. Гид обязан писать параллельный отчет, для сверки КГБ.

Сейчас комиссию возглавляет, кажется, Б. Полевой. Комиссия имеет разные отделы. Отделами заведуют: Брейбург (раньше итальянским, а теперь, кажется, немецким), Зонина, бывший личный секретарь Эрэнбурга (французским отделом), Фрида Лурье (отделом США), Морозова — скандинавские страны, Елена Михайловна Колчина (Латинская Америка), Борисов (кажется, ведает польским отделом). Все они в той или иной степени связаны с КГБ.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Наша редакция весьма заинтересована в получении отзывов иностранной прессы как о самих «Г р а н я х», так и об отдельных публикуемых в них материалах. Пользоваться услугами специальных бюро, поставляющих вырезки из печати, очень трудно по материальным обстоятельствам. Поэтому мы разрешаем себе обратиться ко всем нашим читателям и подписчикам со следующей просьбой:

При чтении местной иностранной прессы (газет, журналов), делать для нас вырезки, отмечая на каждой вырезке дату и название печатного органа, и пересылать в адрес редакции

(Grani — Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim, Flurscheideweg 15).

Можно делать еще проще, — отчеркивая статьи, посылать газеты или журналы целиком.

Исполнением этой просьбы каждый оказал бы «Г р а н я м» большую услугу.

С лучшими пожеланиями

Редакция журнала «Г р а н и»

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Необходимо повысить тираж нашего журнала. Наш журнал — трибуна для писателей, не могущих печататься в России. Наш журнал знакомит Запад с получаемыми нами из России материалами.

Мы обращаемся к Вам с покорнейшей просьбой — расширять круг подписчиков журнала среди Ваших друзей и знакомых. Мы очень просим присылать редакции адреса тех лиц, к кому мы могли бы обратиться с предложением о подписке на наш журнал.

С искренним приветом

Редакция журнала «Г р а н и»

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Напиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Романы, повести, рассказы и стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи будут напечатаны в журнале «Г р а н и». Кроме того, художественные произведения и научные труды, сборники стихотворений и сборники статей могут быть изданы также и отдельными книгами.

В журнале «Г р а н и» уже было напечатано много произведений, вывезенных из России: Борис Пастернак — стихотворения из романа «Доктор Живаго»; Анна Ахматова — «Реквием»; М. Нарича — «Неспетая песня»; О. Мандельштам — «Четвертая проза»; В. Тарсис — «Сказание о синей мухе», «Палата № 7»; стихи молодых поэтов, в их числе — Ю. Галансков, И. Бродский, А. Михайлов и др., журналы московской и ленинградской молодежи — «Синтаксис» №№ 1-3, «Феникс 1961», «Сфинксы», «Феникс 1966»; стихи В. Окуджавы, Б. Слуцкого, П. Антокольского; стихи многих поэтов из группы «СМОГ», материалы из «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля», составленной А. Гинзбургом. Некоторые из этих произведений были изданы также отдельными книгами на русском и на иностранных языках.

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

Издательство «Посев» принимает рукописи, подписанные не только фамилией автора, но и псевдонимом.

Издательство «Посев» обязуется рукописи, подписанные псевдонимами, немедленно перепечатывать, чтобы исключить возможность установления личности автора по почерку или по шрифту его машинки. Издательство «Посев» гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Передавая рукописи, авторы передают издательству «Посев» и все права на них, включая разрешение переводить рукописи на иностранные языки и печатать в любых странах за рубежом.

Издательство «Посев» обязуется откладывать авторский гонорар в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. Деньги

будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Семьдесят процентов авторского дохода поступают в распоряжение автора. Остальные тридцать процентов используются для покрытия расходов по распространению в СССР журнала «Г р а н и» и книг, в том числе и произведений данного автора.

Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в издательстве «Посев», издательство берет обязательство передавать рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства и защищать авторские права.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»?

Через членов различных научных и общественных делегаций; спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за границу. Через туристов, посещающих государства свободного мира. Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах. Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иностранных артистов, спортсменов, ученых, моряков.

На передаваемой рукописи необходимо указать следующий адрес:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt am Main, Flurscheideweg 15.

Издательство «Посев», 623 Франкфурт-на-Майне, Флюршайдевег 15.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Тот, кто привезет рукопись за границу, может послать её по указанному выше адресу, сдав пакет на почту, а, в случае необходимости, — опустить его в почтовый ящик и без марок.

Если приехавший найдет возможность связаться непосредственно с представителем «Посева» или «Граней», то может тогда передать рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возлагается историей ответственной задачей — в свободном творчестве правдиво описывать жизнь нашего народа, выражать его стремления и духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

КНИГИ ВАЛЕРИЯ ТАРСИСА

Из отзывов иностранной прессы о В. ТАРСИСЕ:

Эдуард Крэнкшоу, «Обзервер», Лондон: «...Запрещая его произведения, принуждая его тайно писать и тяжело размышлять, изолируя его от внешнего мира, советское правительство лишает Россию великого критика и сатирика мирового масштаба».

Леонард Шапиро, «Нью Стэйтсмен», Лондон: «...Сатира его остра, горька, пылка, но трагична, чем-то схожа с Достоевским, — Колумбом духовного мира, как сам автор его называет...»

**В КНИЖНОМ МАГАЗИНЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
ПРОДАЮТСЯ:**

КОМБИНАТ НАСЛАЖДЕНИЙ

Трилогия

Твердый холщевый переплет с золотым тиснением. Суперобложка работы художника А. В. Русака. 1967. Стр. 564. Цена 29.80 немецких марок; в США, Канаде и Австралии — 8 долларов.

СКАЗАНИЕ О СИНЕЙ МУХЕ

КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ

Твердый холщевый переплет с золотым тиснением. Суперобложка работы художника А. В. Русака. 1966. Стр. 168. Цена 14.00 немецких марок; в США, Канаде и Австралии — 4 доллара.

ПАЛАТА № 7

В книге — биография В. Я. Тарсиса и предисловие самого автора: «Три года спустя...». Твердый коленкорový переплет с золотым тиснением. Суперобложка работы художника А. В. Русака. 1966. Стр. 152. Цена 17.00 немецких марок; в США, Канаде и Австралии 4,25 долларов.

Палата № 7 — в немецком переводе

BOTSCHAFT AUS DEM IRRENHAUS

Aus dem Russischen übersetzt von **Elimar Schubbe**. Possev-Verlag 1965.
Umschlagentwurf: J. Truschnowitsch. 182 Seiten. Preis DM 10.80.

Для всех подписчиков «ГРАНЕЙ», при заказе книг непосредственно в издательстве, — 10% скидки.

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Г Р А Н И

Журнал выходит четыре раза в год.

В ближайших номерах журнала будут опубликованы новые художественные произведения (проза, стихи), статьи, документы и другие материалы, полученные из России, в частности:

**ВИКТОР ВЕЛЬСКИЙ — ОТКРОВЕНИЕ ВИКТОРА ВЕЛЬСКОГО
Ю. ГАЛАНСКОВ — ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ШОЛОХОВУ
Е. С. ВАРГА — РОССИЙСКИЙ ПУТЬ ПЕРЕХОДА К
СОЦИАЛИЗМУ
СТИХИ: Ю. ГАЛАНСКОВ, И. БРОДСКИЙ, А. МИХАЙЛОВ,
Н. ГОРБАНЕВСКАЯ**

А также новые произведения В. Я. ТАРСИСА, неопубликованная работа Н. О. ЛОССКОГО и др.

**Стоимость подписки на четыре номера журнала, включая пересылку:
в Германии — 25 немецких марок; в США и Канаде — 7 американ-
ских долларов; во всех остальных странах — 26 немецких марок.**

Подписную плату следует посылать:

**почтовым заграничным переводом или личным чеком в письме по
адресу:**

**Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheldeweg 15,
а также банковским переводом:**

Dresdner Bank, Frankfurt/M. Konto № 215 640.

**Из Германии подписную плату можно переводить и на
Konto № 33 461, Postscheckamt Frankfurt/Main.**

**Отдельные номера журнала можно выписывать непосредственно из
издательства по указанному выше адресу, а также через книжные
магазины.**

**Цена отдельного номера: в США и Канаде — 2 американских долла-
ра, в Германии и во всех остальных странах — 7 немецких марок.**

**КАТАЛОГ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ.**